

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

январь—февраль

" НА У К А "

МОСКВА - 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Н.В. Перцов (Москва). К проблеме инварианта грамматического значения. I. (Глагольное время в русском языке)	3
В.В. Гуревич (Москва). О "субъективном" компоненте языковой семантики	27
А.В. Циммерлинг (Москва). Древнеисландские предикативы и гипотеза о категории состояния	36
С.Г. Татевосов, Т.А. Майсак (Москва). Кодирование эпистемического статуса средствами морфосинтаксиса (на материале цахурского языка)	60
К.Лернер, В. Куперман (Иерусалим). Категория "сравнения и оценки" с точки зрения гипотезы о "типах языкового движения"	89
Ю.В. Монич (Москва). Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий	97
Т.А. Михайлова, Н.А. Николаева (Москва). Номинация смерти в гойдельских языках: к проблеме реконструкции кельтской эсхатологии	121

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

М.К. Сабанеева (С.-Петербург). Histoire. Épistémologie. Langage	140
М.А. Даниэль (Москва). Double case: Agreement by suffixaufnahme	146
О.Н. Ляшевская (Москва). <i>L.A. Janda. A Geography of case semantics: The Czech dative and the Russian instrumental</i>	151

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	157
----------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев,
Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
М.М. Маковский (отв. секретарь), Т.М. Николаева (зам. главного редактора),
Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев,
О.Н. Трубачев (главный редактор), А.М. Щербак*

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-74-42

© 1998 г. Н.В. ПЕРЦОВ

К ПРОБЛЕМЕ ИНВАРИАНТА ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. I.

(Глагольное время в русском языке)

В настоящей работе речь пойдет о граммемах времени, на примере содержательного анализа которых будет продемонстрирована плодотворность постулирования семантического инварианта для грамлемы. Данному анализу будет предпослано общее обсуждение проблемы семантического инварианта значимой единицы языка. В последнем разделе статьи высказываются некоторые соображения по поводу эвристического характера лингвистических рассуждений.

I. О понятии семантического инварианта языковой единицы

Одной из характерных черт естественного языка, отличающих его от формальных искусственных языков (языков программирования, языков математических дисциплин, языка химии и т.п.), является неоднозначность его единиц на разных уровнях: неоднозначность аффиксов, корней, основ, синтаксическая неоднозначность предложения, множественность интерпретации одной и той же интонационной конструкции. Ярче всего неоднозначность проявляется в словарях, раскрывая которые, мы обнаруживаем лишь в редких случаях словарные статьи, содержащие одно значение описываемой вокабулы. При этом в подавляющем большинстве случаев при чтении словарной статьи неоднозначной вокабулы мы интуитивно воспринимаем некую общность, свойственную разным ее значениям и при этом зачастую не поддающуюся экспликации. Собственно, именно эта интуитивно воспринимаемая общность и служит оправданием описания разных лексических значений в рамках одной словарной статьи. В массовых словарях она не выступает в качестве объекта специального внимания лексикографа: вопрос об основаниях включения словарных фрагментов, соответствующих отдельным лексическим значениям, в единую словарную статью просто не ставится. Что касается теоретической лингвистики, автору настоящей работы известны только две концепции, в которых предусмотрены явные средства отображения общности разных единиц в составе вокабулы: концепция толково-комбинаторного словаря в модели "Смысл – Текст" И.А. Мельчука и Московская семантическая школа Ю.Д. Апресяна (см., например, [Mel'čuk et al. 1995; Мельчук 1995; СпИ–32 1991]): предполагается, что любые две единицы, входящие в одну вокабулу, должны быть связаны – непосредственно или посредством промежуточной цепи переходов – так называемых "семантических мостов" – общими нетривиальными семантическими компонентами, принадлежащими толкованиям или коннотациям соответствующих единиц.

Тем самым, в области лексики в теоретической лексикологии и лексикографии обнаруживаются определенные средства фиксации единства членов одной вокабулы¹. По-другому обстоит дело в области описания содержания грамматических единиц, в

¹ При этом семантические мосты, фиксируя принадлежность некоторого множества толкований к одной вокабуле, все же не задают в явном виде то, что нам хотелось бы считать семантическим инвариантом вокабулы, т.е. такой смысловый компонент, который распространяется на все единицы вокабулы и тем самым характеризует вокабулу как таковую.

частности – словоизменительных значений – (квази)граммем². Так, характерно то обстоятельство, что в работе [Апресян 1985], посвященной теоретическому осмыслению значений граммем, среди задач, встающих при исследовании этих значений (с. 63), задача выявления семантического инварианта граммемы не указывается вовсе, а граммема мыслится просто как совокупность частных значений.

Как правило, при описании семантики граммемы указывается некоторое исходное – ядерное – значение и ряд других частных значений, так или иначе соотносящихся с исходным. Исходное значение может пониматься как общее или как основное [Бондарко 1996]. В случае общего значения предполагается, что частные значения тем или иным образом связаны с исходным, т.е. либо выводятся из него по некоторым правилам, либо разделяют с ним некоторый общий смысловой компонент; в случае основного значения наличие обязательной связи между исходным значением и произвольным частным не предполагается, а основное значение признается таковым на основании его большей употребительности, большей (психо)лингвистической значимости для носителей языка, его приоритетного статуса с точки зрения категориальной значимости данной граммемы и т.п. Даже в случае признания у граммемы общего значения каких-либо конструктивных средств отображения единства ее частных семантических интерпретаций, как правило, не предлагается, и в этом отношении исследования по грамматической семантике отстают от лексикологических исследований (в которых, как сказано было выше, некоторые средства фиксации единства вокабулы в виде семантических мостов уже были введены).

Проблема семантического инварианта в лингвистике имеет давнюю историю, как и вообще проблема инвариантности языковых единиц. В последнее десятилетие в отечественной лингвистике наблюдается оживление интереса к этой проблеме. В работе [Перцова 1988] она осмыслена с точки зрения сопоставления с жестким, дискретным подходом к семантике, и в этой же работе намечены некоторые инструменты инвариантного описания семантики лексических единиц. Проблема инварианта грамматического значения актуальна в рамках недавних публикаций [Падучева 1996; Кошелев 1996; Шагуновский 1996; ГПРЯ 1997]. Обзор "с птичьего полета" дан в [Перцов 1996б: 25–28]. В этой же работе (с. 24) нами предложено рассматривать понятие семантического инварианта в сильном и слабом аспекте. Под сильным инвариантом языковой единицы, понимаемой в самом общем смысле (в частности, вокабула вполне может считаться языковой единицей в широком смысле), понимается некоторый теоретический конструкт, из которого по определенным правилам могут быть выведены все частные манифестации данной единицы (в случае вокабулы – все входящие в нее лексические значения, в случае граммемы – все ее частные интерпретации). Таким образом, понятие сильного инварианта, помимо собственно исходной семантической сущности, предполагает наличие заранее заданной совокупности правил вывода (о проблеме выводимости частных значений из инварианта см. [Новак 1983; Гловинская 1989: 77–78]). Под слабым инвариантом языковой единицы, имеющей ряд частных интерпретаций, предлагается понимать некоторый нетривиальный компонент (смысловой или концептуальный), присущий каждой из этих интерпретаций (в случае вокабулы это либо непосредственно входящий в толкование фрагмент, либо коннотация). Понятие слабого инварианта "слабее" понятия сильного инварианта как в содержательном, так и в чисто формальном отношении: для задания слабого инварианта требуется лишь указание исходной семантической сущности, а для сильного инварианта требуются еще правила вывода.

²Словоизменительные значения подразделяются на два класса: (1) граммемы – входящие в состав словоизменительных категорий, обязательных в некоторых смысле для определенных классов языковых знаков; (2) квазиграммемы – изолированные значения, внеположные категориям (например, показатель множественности-*мэнь* в китайском языке). Понятие квазиграммемы, чрезвычайно важное для общей теории грамматики, было введено И.А. Мельчуком [Мельчук 1997: 286 и сл.]; иллюстрации этого понятия на конкретном языковом материале (в том числе, на русском) см. в [Перцов 1996а: 44 и сл.].

Статус и природа понятия "инвариант" в его сильной и слабой ипостаси еще неясны и непрочны, особенно в отношении сильного инварианта. В настоящее время относительно этого последнего пока преждевременно делать сколько-нибудь надежные утверждения. Поскольку в нашей науке мы оперируем по преимуществу инструментами описания, которые базируются на самом естественном языке (подробнее см. раздел III ниже), в рамках такого подхода трудно ожидать каких-либо существенных успехов в формулировании сильных инвариантов для массовых языковых единиц: для этого необходимы внеположные языку средства описания. Формулируя ниже инварианты для русских глагольных граммем, мы, естественно, претендуем лишь на выявление слабых инвариантов.

Общую проблему инварианта можно подразделить на ряд частных проблем, которые ниже формулируются в виде отдельных пунктов – четырех вопросов об инварианте: (ВИ1) – (ВИ4).

(ВИ1) Если некоторые разные конкретные значения объединяются вместе по наличию у них общего означающего в некоторую объемлющую их единицу, то существует ли между ними некоторая другая общность, помимо формальной?

Ответ на этот вопрос должен быть положительным: в противном случае мы имеем дело с омонимией, а не с полисемией, а ведь именно относительно полисемичных единиц может вообще вставать вопрос о семантическом инварианте. Относительно конкретной совокупности значений $M = \{ 'm_1', 'm_2', \dots, 'm_n' \}$ в случае возможности постулирования для нее некоторой сущности 'Г', присущей каждому значению m_i , естественно назвать 'Г' семантическим инвариантом для M.

Тогда проблему семантического инварианта можно развить следующим образом:

(ВИ2) Все ли полисемичные языковые единицы обладают семантическим инвариантом?

Если в общем случае ответ на этот вопрос окажется отрицательным, естественно задаться следующим вопросом:

(ВИ3) Какие полисемичные единицы обладают семантическим инвариантом, а какие не обладают?

Наконец, последний вопрос, затрагивающий те единицы, для которых удастся инвариант выявить, относится непосредственно к самому семантическому инварианту:

(ВИ4) Каков вид (способ задания) семантического инварианта для полисемичных единиц разных типов?

Мы полагаем, что лингвистика еще не нашла ответы на последние три вопроса, т.е. в общем виде проблема семантического инварианта остается неразрешенной и открытой. Поиски инварианта имеют своих противников и сторонников, и автор причисляет себя к сторонникам. Если иметь в виду сужение этой проблемы применительно к частным случаям полисемичных единиц, то представляется эвристически ценной установка на поиск и формулировку инвариантов. Такую установку в большом числе случаев подкрепляют данные языковой интроспекции и свидетельства неискушенных носителей языка.

Не давая здесь сколько-нибудь развернутой истории освещения проблемы семантического инварианта в лингвистике, мы обозначим лишь отдельные известные автору "точки" на линии развития концепции инварианта. Для современной лингвистики существенное значение имеет исследование Р.О. Якобсона, посвященное общим значениям русских падежей [Jakobson 1936], на которое часто ссылаются в связи с проблемой семантического инварианта вообще и инвариантов русских падежных значений в частности (концепция общих значений Якобсона составила предмет статьи [Бондарко

1996]). Следует признать, что формулировки инвариантов падежных значений, предложенные Якобсоном, не привились в русистике и не получили сколько-нибудь масштабного развития – думается, вследствие чрезмерной абстрактности этих формулировок и их слабого соотношения с конкретными употреблениями падежных форм. В связи с опытом Якобсона упомянем работу [Вежбицкая 1985]³ о русском творительном падеже. Перспективными представляются нам поиски инварианта русских видовых значений, предпринятые в последние годы в работах [Падучева 1996; Кошелев 1988; 1996: 152 и сл.; Шатуновский 1996: гл. 8], и инвариантов значений русских приставок в некоторых статьях сборника [ГПРЯ 1997].

Эти исследования трактуют проблему инварианта применительно к грамматическим значениям; что же касается лексической семантики, то в соответствующей литературе мы также находим довольно мало примеров описаний лексических значений с опорой на семантический инвариант: [Перцова 1988; Кибрик, Богданова 1995; Бибок 1996; Перцов 1996; Кошелев 1996; Плунгян, Рахилина 1996]. В модели "Смысл – Текст" и Московской семантической школе – при уже упоминавшейся установке на фиксацию объединения лексических значений в составе одной вокабулы – семантический инвариант не выявляется, и в схеме словарной статьи место для него вообще не предусмотрено. Если в качестве мерила отношения к семантическому инварианту принять способ лексикографического или семантического описания слова – указывается при таком описании общность, объединяющая разные частные значения, или нет, – то придется признать, что установка на выявление инварианта имеет больше противников, чем сторонников: в подавляющем большинстве случаев полисемичная единица описывается в виде ряда частных значений без указания их общности. Приведем высказанное четверть века назад мнение С.Д. Кацнельсона [Кацнельсон 1972: 74], к которому присоединятся многие современные исследователи:

"Общих значений", за которыми охотятся сторонники принципа изоморфизма формы и содержания в языке, в реальности не существует. Все попытки свести конкретные функции родительного падежа к общей функции "генитивности" или конкретные функции форм совершенного вида – к общей категории "совершенности" окончились неудачей.

В работе, впервые изданной в 1980 г., идею инварианта грамматического значения решительно отверг Ю.Д. Апресян [Апресян 1995: 33]:

Главным свойством разных значений одной граммемы следует считать, вопреки широко распространенному, если не общепринятому мнению, отсутствие у них семантического инварианта. Нельзя, например, считать семантическими инвариантами граммем НАСТ, ПРОШ и БУД значения 'совпадение с моментом речи', 'предшествование моменту речи' и 'следование за моментом речи' соответственно⁴.

Далее Апресян говорит об "условности большинства грамматических ярлыков". Ср. также мнение П. Новака [Новак 1983: 64]: "... универсальной значимости за ней [концепцией общего значения] признать нельзя, что особенно проявляется на примере категории падежа". Более лояльна к инварианту точка зрения А.В. Бондарко [Бондарко 1978: 163]: "... принцип общих значений имеет право на существование, но не как единственный, а лишь как один из принципов, определяющих способы существования категориальных значений грамматических форм". В книге В.Г. Адмони

³Фамилия Анны Вежбицкой в отечественной традиции обычно предстает в именительном падеже как *Вежбицка* – в "субстантивном" облике; в косвенных же падежах эта фамилия склоняется по "адъективному" типу: *Вежбицкой, Вежбицкую* (а не **Вежбицки, *Вежбицку*), что приводит к образованию некоего промежуточного типа склонения, не свойственного русскому языку ни в какой другой области. Автору больше импонирует обычная русская традиция передачи польских фамилий, в соответствии с которой эту фамилию в именительном падеже следует передавать как *Вежбицкая*, а не как *Вежбицка*; ср. [Каролина] *Собаньская, [Мария] Склодовская-Кюри*. В сборнике переводов [Вежбицкая 1996] принято именно такое решение, к которому мы присоединяемся.

⁴В такой редакции приведенные формулировки действительно не задают инвариантов временных граммем; см., впрочем, формулировки соответствующих инвариантов в разделе II настоящей работы.

[Адмони 1988: 29–30] приводится следующее психолингвистическое обоснование "наличия обобщенных значений у грамматических форм":

... само коммуникативное назначение языка заставляет предполагать, что образование какой-то сложной, разветвленной системы языковых форм не может быть случайным, а должно служить осуществлению этой коммуникативной задачи, т.е. нести какую-то информацию. Что же касается самого характера этой информации, то она должна быть обобщенной в силу следующего соображения. При большом числе грамматических форм во флективных и флективно-аналитических языках и при сложной системе правил их употребления чистая формальность этих форм, т.е. лишенность обобщенного грамматического значения, повела бы к чрезвычайной перегрузке механической памяти говорящего... Между тем, при наличии у грамматических форм обобщенного значения помагать говорящего и слушающего может двигаться ступенчато, как бы от одного более обобщенного узла к другому, менее обобщенному (или в обратном порядке), создавая, таким образом, большую маневренную возможность для оперативной памяти.

Безусловной сторонницей поисков инвариантов грамматических значений выступает Е.В. Падучева. – Как видим, точки зрения Кацнельсона, Апресяна, Новака, Бондарко, Адмони, Падучевой создают широкий диапазон возможных отношений к проблеме инварианта в современной лингвистике.

Отвергая принцип "изоморфизма формы и содержания в языке", автор настоящей работы, тем не менее, не смотрит столь пессимистично на перспективы выявления семантического инварианта для большой совокупности языковых единиц, в том числе – для грамматических значений. Такие перспективы окажутся весьма ограниченными, если наука о языке будет постоянно оставаться в рамках, налагаемых на нее самим естественным языком, и если он останется основным средством описания собственных единиц, метаязыком для самого себя. Семантический инвариант, формулируемый исключительно естественноязыковыми средствами, неизбежно страдает всеми недостатками естественного языка (неоднозначностью, синонимией), которые оказываются безоговорочными достоинствами в аспекте его массового функционирования. В этом смысле настоящая работа не выходит за указанные рамки: в ней инварианты, частные значения граммем и связи между первыми и вторыми заданы средствами естественного языка, которые представляются автору недостаточными для подлинного и окончательного обоснования наличия семантического инварианта у той или иной единицы. Столь же недостаточны данные языковой интуиции, на основе которых мы строим здесь свои рассуждения и выводы. Эти последние следует рассматривать как некие эвристические соображения – для одних правдоподобные, для других – нет, посредством которых автор предпринимает попытку нащупать ощущаемую им смысловую общность между разнообразными частными значениями конкретных граммем. Для подкрепления предварительных выводов автора или для демонстрации иллюзорности ощущаемой автором и другими носителями языка смысловой общности в конкретных случаях требуются внеположные чисто лингвистическому подходу данные и эксперименты (психолингвистические, собственно психологические, нейролингвистические, нейрофизиологические и т.п.), которыми мы не располагаем. (К эвристической природе собственно лингвистических построений мы вернемся в разделе III.)

Скажем несколько слов о природе семантического инварианта словоизменительного значения. Нам представляется, что для разных граммем инвариант может в их частных интерпретациях проявляться по-разному: как смысл, входящий в экспликацию содержания (толкование) частной интерпретации граммемы или получаемый из такой экспликации в результате прагматического вывода (см. ниже, в разделе II, описание настоящего гномического, постоянного и abituального – пп. (Н1.1) и (Н1.2)); как смысл, характеризующий базисную интерпретацию граммемы и при этом обладающий коннотациями, входящими в экспликацию содержания частных интерпретаций (так, по-видимому, обстоит дело с некоторыми частными интерпретациями русского императива, инвариант которого будет рассмотрен в отдельной работе). Вполне возможно, что для некоторых граммем (или языковых единиц другой природы) инвариант

окажется внеположен собственно лингвистическим средствам описания, т.е. смысловым компонентам, будет иметь концептуальный статус и относиться скорее не к описанию языковых значений, а к стоящей за ними действительности⁵. Как представляется, для установления общего статуса инварианта требуется большая эмпирическая работа по выявлению инвариантов для конкретных языковых единиц (лексических и грамматических), одним из опытов которой призвана служить настоящая статья.

Остановимся на вопросе появления инварианта в случае обусловленности частного значения граммы определенной синтаксической конструкцией. Подобного рода случаи вполне обычны: частное значение граммы бывает привязано к конкретной синтаксической конструкции, включающей при этом определенные "грамматические" лексемы, т.е. к синтаксической фразе [Mel'čuk 1995: 341]. Например, значение угрозы у будущего времени (*Ты у меня погуляешь по ночам! Он у Катю будет шалиться по улицам!*) – см. п. (Б1.6) в разделе II – проявляется только в составе определенной синтаксической конструкции (фраземы), характеризующейся специфически жестким порядком компонентов и специфическим интонационным контуром. Вообще говоря, фразеологическая синтаксическая связанность частного значения граммы может снимать вопрос о проявлении в этом частном значении инварианта данной граммы – аналогично употреблению лексем в составе лексических фразем, в которых может ничего не оставаться от лексических значений их компонентов (как во фраземе *съесть собаку* нет ни 'съедания', ни 'собаки'). В случае вхождения глагольной формы с частным словоизменительным значением граммы в синтаксическую фразему соответствующее значение нельзя отнести только на счет этой граммы: оно выражается всей конструкцией. Однако мы предполагаем, что здесь нет полного параллелизма между грамматическими и лексическими значениями и что в большинстве случаев частное грамматическое значение и в составе фраземы обнаруживает связь с инвариантом граммы⁶. Поэтому, отмечая в разделе II фразеологическую синтаксическую обусловленность тех или иных частных значений, мы стремимся и для таких значений выявить связь с инвариантом (иногда подобного рода связи выглядят не очень убедительно и несколько туманны; таково, например, значение проницательного отрицания у прошедшего совершенного в конструкции типа *Так он тебе и поверил!* см. (П. 1.3) в разделе II).

Частное словоизменительное значение может быть также обусловлено лексически, т.е. проявляться только у определенных лексем. Таков, например, статус у прошедшего времени в выражениях *Плевал (чихал) я (он) на это!*, где усмотреть смысл 'предшествование', ключевой для инварианта прошедшего времени, непросто. У стативных глаголов типа *знать, считать* ('полагать'), *думать (что Р)* не видно связи форм императива (*Знай, что он тебя предал; Считай, что ты уже выиграл!; Думай что хочешь!*) с инвариантом императива (с его ключевым смыслом 'побуждение'). Впрочем, автор не уверен в невозможности найти подобные связи частного значения и инварианта для двух приведенных примеров употребления глагольных форм (прошедшего времени и императива). На чем автор хотел бы настаивать, так это на том, что невозможность или трудность установления связей между частным значением граммы и ее инвариантом в случае синтаксической или лексической обусловленности соответствующего значения идею инварианта не дискредитирует (аналогично ситуации в области лексической фразеологии).

⁵Думается, в случае подобного рода "экстралингвистических" инвариантов мы покидаем пределы традиционной проблематики собственно лингвистической семантики, однако не выходим за рамки науки о языке в широком плане. Описание действительности с ориентацией на ее отражение в языковых значениях, по-видимому, должно быть составной частью науки о языке.

⁶Впрочем, и у компонентов лексических фразем связь с собственным лексическим значением обнаруживается весьма часто; например, означаемое фраземы *сойти с ума* 'вести себя глупо и нелепо' ассоциативно связано со смыслом 'ум'.

Далее мы рассмотрим сужение проблемы семантического инварианта на область словоизменятельных значений русского языка, из которых в качестве объекта описания мы выбираем три граммы глагольного времени. Само формулирование соответствующих инвариантов особых затруднений не представляет. Гораздо труднее соотносить все употребления граммы с гипотетическим инвариантом. На примерах нацупывания связей между инвариантом и частными значениями для грамм времени мы хотели бы продемонстрировать плодотворность установки на выявление инварианта для семантического описания.

II. ИНВАРИАНТ И ЧАСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РУССКОГО ГЛАГОЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Мы будем рассматривать только время личных форм глагола в русском языке, оставляя в стороне причастия и деепричастия⁷.

Обычно значения временных грамм определяются с точки зрения отношения времени сообщаемого факта к моменту речи.

В широко принятом термине "момент речи" автор видит некоторую теневую сторону. Слово "момент" в обычном языке соотносится скорее с очень коротким отрезком времени или с таким отрезком, который достаточно мал в сопоставлении с другими подразумеваемыми отрезками соответствующего временного фона. – Что является "моментом речи" для конкретной глагольной формы в составе устного высказывания? – Отрезок времени ее произнесения? Отрезок времени произнесения данного высказывания? Отрезок времени произнесения объемлющей его речи? – Во втором и третьем случае этот отрезок вполне может быть разрывным (прерываться отрезком молчания говорящего) и достаточно пространным. – Думается, более адекватно выражение "время [данной] речи", тоже часто используемое в работах о глагольном времени. Однако в формулировках содержания некоторых частных интерпретаций грамм мы сохраняем здесь традиционный термин "момент речи", более привычный, клишированный, чаще используемый, удаляя из его содержания компонент "мгновенности".

В специальной монографии, посвященной глагольному времени, – [Comrie 1985] – базисные значения абсолютных времен – present, past, future – эксплицируются, соответственно, как "localisation of a situation at the present moment" (с. 36 и сл.), "location in time prior to the present moment" (с. 41), "locating a situation at a time subsequent to the present moment" (с. 43), хотя автор в других местах говорит о возможных смещениях соответствующей точки отсчета с позиции текущего момента речи. Можно сказать, что момент речи является прототипической точкой отсчета для глагольного времени, но допустимы и другие точки отсчета, перенесенные в прошлое или будущее относительно реального времени соответствующего речевого акта. Разумеется, в большинстве случаев такая ориентация времени сообщаемого факта относительно момента речи действительно имеет место, но все же не всегда; например, как отмечается в соответствующих разделах грамматик, в случае, когда личная глагольная форма X попадает в сферу действия информационного глагола Y (в частности, глагола речи) в прошедшем или будущем времени, время соответствующего факта ориентировано не относительно момента речи, а относительно времени факта, выражаемого соответствующим информационным глаголом:

⁷Время русских причастий и деепричастий носит в большей мере относительный характер, нежели время личных глагольных форм, будучи ориентировано относительно времени некоего факта, указанного или подразумеваемого в соответствующем высказывании. (Противопоставление абсолютного и относительного времени подробно рассматривается в главах 2 и 3 монографии [Comrie 1985: 36–82]. Во втором томе "Курса общей морфологии" И.А. Мельчука абсолютное и относительное время определяются как разные словоизменятельные категории – [Mel'čuk 1994: 50–60].)

Иван тогда им сказал (скажет) [Y], что он работал (работает, будет работать) [X] над новой пьесой.

Здесь время факта X – время работы Ивана – ориентировано не относительно времени произнесения высказывания, т.е. не относительно момента речи, а относительно времени факта Y – времени высказывания Ивана, на которое ссылается словоформа Y в главном предложении.

Уже один этот хорошо известный и упоминаемый в грамматиках круг употреблений глагольных форм препятствует формулировке инварианта временных граммем с ориентацией на момент речи. Другим аргументом против такой формулировки служит сам спектр частных интерпретаций временных граммем: обнаруживается, что в тех или иных конкретных случаях употребления личных глагольных форм каждая из трех граммем времени в русском языке может относиться к факту "претеритному" (предшествующему моменту речи), "презентному" (одновременному или перекрывающемуся по времени с моментом речи) или "футуральному" (следующему за моментом речи) [Гловинская 1989]. Примеры таких интерпретаций глагольного времени читатель найдет в последующем изложении. Итак, мы отказываемся от абсолютной ориентации формулировки инварианта времени в русском языке в пользу ориентации относительной, для чего требуется обращение к относительному понятию – понятию "точки отсчета", восходящему к главе о глагольном времени в известной книге [Reichenbach 1947]. Это понятие проникло даже в академическую грамматику [РГ 1980]), оно широко используется в большом числе исследований глагольного времени и вида (например, в [Падучева 1996]). Точка отсчета для времени факта F, обозначенного личной глагольной формой F, – это некоторое подразумеваемое в соответствующем речевом акте время, относительно которого ориентирован факт F; в большом числе случаев точка отсчета совпадает с временем исходного речевого акта, т.е. с моментом речи, но может отличаться от него, например, совпадать с временем факта, обозначенного другой глагольной формой в главном предложении.

Свободному использованию понятия и термина "точка отсчета" для автора настоящей работы препятствуют следующие два обстоятельства.

Во-первых, в русском термине "точка отсчета" (и в английском "reference point") присутствует, как и в термине "момент речи", обыденная языковая коннотация точечности соответствующего временного интервала, т.е. его "мгновенности" или относительно малой продолжительности; ср. понятие точечного (punctual) – мгновенного – вида в теории грамматических значений. Точечность в общем случае не присуща реальным "точкам отсчета" в конкретных случаях употребления глагольного времени; ср. *Иван весь день помнил [Y], что отец ждет [F] его на вокзале*, где временной период факта хранения в памяти Y – "точка отсчета" для факта ожидания F – отнюдь не носит "точечно-мгновенного" характера.

Во-вторых, само содержание понятия "точка отсчета" предстает не столь отчетливо и определено для наших целей в настоящем изложении: вообще говоря, с видо-временной глагольной формой в конкретном употреблении и осмыслении можно связывать более одной "точки отсчета". Возьмем пример, уже использовавшийся в литературе [Апресян 1995; Падучева 1996], – *На стене справа висела картина*. В интерпретации "с синхронной точкой отсчета" [Падучева 1996: 12] – с привязкой пишываемого факта к конкретному моменту наблюдения в прошлом, – например, *Я вошел в комнату и увидел [Y], что на стене справа висела [F] картина*, – факт F с точки зрения употребления прошедшего времени ориентирован относительно текущего момента – как предшествующий ему, а с точки зрения привязки его к определенному моменту в прошлом – относительно факта Y – как синхронный ему. Это предложение может интерпретироваться и "с ретроспективной точкой отсчета" – с подразумеванием отсутствия в некий момент некоторого факта, имевшего место в прошлом: предположим, ваш знакомый входит к вам в комнату и говорит *На стене права висела [F] картина, а сейчас ее нет [Y]*; тогда факт F – "висение картины" –

ориентирован только относительно Y-a – ее отсутствия в момент речи, и в этом случае мы имеем единую точку отсчета – момент речи (вашего знакомого). Итак, в первом случае, факт "висела" имеет две точки отсчета, а во втором одну.

Двойственность точки отсчета в первом случае обусловлена сложным взаимодействием значений времени и вида, а также контекста. Однако относительно употребления глагольного времени – прошедшего в данном случае – точка отсчета все же остается единой: в приведенной фразе – *Я вошел в комнату и увидел [Y], что на стене справа висела [F] картина* – время глагола *увидел* задает предшествование этого факта – факта "видения" – текущему моменту высказывания. Тем самым, с точки зрения выбора глагольного времени первый и второй случай друг от друга не отличаются.

Вообще говоря, вполне можно представить себе такую ситуацию в языке: в нем имеется более одной категории видо-временного характера, и глагольная форма в конкретном употреблении ориентируется по этим категориям относительно разных фактов, явно выраженных или подразумеваемых в высказывании, т.е. обладает несколькими точками отсчета, для каждой из которых может потребоваться особое терминологическое обозначение.

Возможность множественных точек отсчета ярко демонстрируется в [Comrie 1985: 75–78], где говорится о "цепочках точек отсчета" для конкретных глагольных форм в целом ряде языков (приведены примеры из английского, французского, мальтийского). Б. Комри приводит эффектный пример цепочки точек отсчета в следующей английской фразе: *John left for the front; by the time he should return, the fields would have been burnt to stubble* 'Джон уехал на фронт; ко времени его возвращения поля будут полностью сожжены'. Первичной точкой отсчета здесь следует считать момент речи, относительно которого ориентирован претерит глагольной формы первого предложения *left*, каковая создает вторичную точку отсчета в прошлом, относительно которой ориентирована форма *should return* – будущее в прошедшем. Эта последняя форма создает третичную точку отсчета, относительно которой ориентирована форма перфектного будущего в прошедшем *would have been burnt*. Итак, последняя форма в качестве непосредственной точки отсчета имеет третичную, а в качестве косвенных еще две предшествующие. Факт "сожжение полей" помещен между некоторым фактом прошлого ("отъезд Джона на фронт") и некоторым последующим фактом ("возвращение Джона"), причем временная локализация "сожжения полей" и "возвращения Джона" относительно момента речи во фразе не прояснена. В любом случае "сожжение полей" отстоит от момента речи как первичного ориентира на две промежуточные точки отсчета. В другом месте книги (в главе 6, намекающей возможные способы формализации метаязыка для описания категории времени) Б. Комри приводит формулу, задающую содержание перфектного будущего в прошедшем (с. 128):

$E \text{ before } R_1 \text{ after } R_2 \text{ before } S$

[E – сообщаемый факт; R_1 и R_2 – две дополнительные, относительные, точки отсчета; S – момент речи как исходная точка отсчета].

В этой формуле множественность точек отсчета проявляется весьма наглядно. Общая формула выглядит следующим образом:

$E \text{ (relative } R)^n \text{ (relative } S)$

[*relative* – обозначение любого допустимого отношения из множества {*simul*, *before*, *after*, *not-before*, *not-after*}].

Понятие точки отсчета является видовым по отношению к понятию "временной ориентир", охватывающему также момент речи и время факта, обозначенного личной глагольной формой, – ср. словоупотребление в [Богуславский 1996], где для описания темпоральных адverbials используется термин "временной ориентир" (с. 76), но при этом в другом месте – с. 243 и сл. – обсуждается проблема соотнесения этого понятия

с понятием точки отсчета и говорится о необходимости рассматривать точки отсчета применительно к определенным элементам предложения, а не ко всему высказыванию в целом (единой точки отсчета у высказывания может и не быть).

Как и в случае "момента речи", мы сохраняем ходовой термин "точка отсчета", надеясь при этом, что сделанные оговорки относительно недостатков этих терминов окажутся достаточными для предотвращения недоразумений. (Впрочем, отметим, что выбор терминов для обсуждаемых понятий и их интерпретация принципиального значения для нашей текущей цели не имеют.)

В данном изложении мы рассматриваем метаязыковое понятие "точка отсчета" только применительно к глагольному времени – в отвлечении от смысловых компонентов, привносимых видом. Мы полагаем, что подобная абстракция допустима – при установке на выявление инварианта именно глагольного времени.

Для формулировки инварианта настоящего времени нам понадобится понятие гомотронности. Мы будем говорить, что некоторый факт F гомотронен некоторому временному отрезку T (в частном случае – точке на оси времени), если:

- (1) факт F имеет место на отрезке T , или
- (2) реализации факта F имели место до отрезка T , и при этом: либо после отрезка T реализации F будут иметь место, либо на отрезке T существуют условия для повторных реализаций факта F после отрезка T^8 .

Первый член данной дизъюнкции – условие (1) – можно назвать условием синхронности (факта F и отрезка T), второй член – условие (2) – условием потенциальной реализуемости (факта F после отрезка T). (Последнее название нас не вполне удовлетворяет, но более удачного придумать не удалось.)

Теперь инварианты глагольных граммем в русском языке можно представить следующим образом (в формулировках инвариантов ключевые компоненты выделены):

- настоящее время : данный факт гомотронен некоторой точке отсчета
- прошедшее время : время данного факта предшествует некоторой точке отсчета
- будущее время : время данного факта следует за некоторой точкой отсчета

Встает вопрос, почему, формулируя инвариант настоящего времени, мы отказались от привычного понятия "одновременность". Обыденное языковое осмысление слова "одновременный" не вполне отвечает разнообразным реальным случаям соотнесения времени реализации факта, обозначаемого формой наст. времени, и времени его точки отсчета. В обычном языке F одновременно Y -у понимается следующим образом: 'время факта F [= временной отрезок, заполняемый фактом F] существенно пересекается с временем факта Y '. Компонент 'существенно' необходим в связи с тем, что вряд ли естественно назвать одновременными два факта, времена реализации которых пересекаются в области относительно малого временного отрезка, – например, два доклада в разных секциях конференции, один из которых начинается за две минуты до окончания другого. Если в качестве точки отсчета конкретной формы наст. времени выступает момент речи (наиболее типичный случай), то зачастую непосредственное языковое чутье противится обыденной языковой характеристике соответствующего глагольного факта как о д н о в р е м е н н о г о моменту речи, ср. разные случаи "неактуального" наст. времени: *Он по пятницам с двух до трех*

⁸ Ср. в [Кошелев 1996: 173] требование сохранения условий для "своевременного порождения очередного текущего процесса", входящее в формулировку "семантического ядра актуального значения целенаправленного глагола"; в соответствии с данным требованием референция *Вера читает* в ситуации, когда Вера с книгой стоит у окна и смотрит в даль, корректна, если в соответствующей ситуации ожидается в относительно близком будущем продолжение чтения. Понятие гомотронности охватывает – наряду со случаями актуальной одновременности разворачивающегося события и точки отсчета (пункт (1) в формулировке гомотронности) – также и те случаи употребления настоящего времени, когда нет непосредственного пересечения реализации сообщаемого факта и точки отсчета.

плавает в бассейне [в ситуации произнесения этой фразы, скажем, вечером в четверг]; *Девушки поэтов любят* (Маяковский); *Этот металл легко плавится*, и т.п.

Из предложенных выше формулировок инвариантов необычна только формулировка инварианта настоящего времени; формулировки для прошедшего и будущего времени, сводящиеся к идеям предшествования и следования соответственно, выглядят довольно тривиальными; они повторяются – с теми или иными вариациями – практически в любой русской грамматике и во многих описаниях семантики глагольных граммем. Нетривиальной представляется задача мотивировки различных интерпретаций граммемы глагольного времени посредством установления связи между этими интерпретациями и инвариантом. Автору этих строк неизвестны опыты глобального соотнесения ВСЕХ выделяемых интерпретаций – частных значений – граммем времени с их инвариантами. Попыткой решения такой задачи и служит следующее изложение.

Суть наших поисков можно пояснить цитатой из [Бондарко 1971а: 120]: "Говорящий (пишущий) покидает ту позицию, с которой он обычно оценивает время действий, – момент речи, – и занимает иную позицию для временной ориентации". Для каждого избираемого для анализа частного временного значения мы будем стремиться выявить эту новую позицию говорящего, т.е. новую точку отсчета.

Ниже при описании частных интерпретаций граммем сначала дается – в качестве заголовка – краткая характеристика соответствующего значения, затем – иллюстративный языковой материал; далее приводится – в марровских кавычках (лапках) – экспликация данного значения, в подавляющем большинстве случаев содержащая ключевой компонент семантического инварианта граммемы, выделенный в формулировке инварианта (исключения – настоящее гномическое, постоянное и абитуальное, пп. (Н1.1) и (Н1.2)), после чего следуют комментарии. Мы отказались от термина "толкование" для наименования эксплицитной формулировки значения граммемы в пользу слова "экспликация". Дело в том, что во многих семантических описаниях термин "толкование" используется таким образом, как если бы наличествовал строгий формальный аппарат и формальный метаязык описания. В другом месте – [Перцов 1996б: 13 и сл.] – нам приходилось уже указывать на неправомочность трактовки многих современных семантических описаний как подлинно формальных. В нашем описании словоизменительных значений мы не претендуем на формальность и на обладание строгим семантическим метаязыком; наши формулировки содержания частных интерпретаций граммем нужны лишь для явного установления связи между интерпретациями и инвариантом. Поэтому мы и предпочли не вызывающее нежелательных ассоциаций слово "экспликация" концептуально нагруженному термину "толкование".

Мы исходим из того, что для демонстрации связи частного значения с инвариантом достаточно указать ключевой компонент инварианта либо в экспликации частного значения, либо в прагматическом выводе из экспликации.

В последующем обзоре частных значений мы не будем рассматривать первичные значения глагольного времени, т.е. случаи непосредственной, очевидной связи глагольной формы с инвариантом, поскольку именно такие первичные значения и дают основания для постулирования инвариантов. Так, если взять граммему настоящего времени и ее инвариант – 'гомохронность факта точке отсчета', – мы не будем отдельно комментировать связь с этим инвариантом прямых употреблений форм наст. времени – настоящего актуального факта [*Посмотрите, он уж заряжает* (Лермонтов)]: в указанных случаях факт F имеет место непосредственно в момент речи, т.е. для F и момента речи выполняется пункт (1) в условии гомохронности, составляющей инвариант наст. времени. За пределами нашего обзора остаются, например, частные значения, объединенные в работе [Гловинская 1989: 134 и сл.] в разделе "Грамматические способы обозначения действия при повторной дескрипции (пересказе текстов)", куда включены, помимо собственно пересказов, заголовки, подзаголовки, предваряющие краткие изложения фрагмента текста (главы, части) и т.п.; из частных значений

этого раздела работы Гловинской в наш обзор включено лишь наст. время сценических ремарок – см. п. (Н1.4) ниже. Как представляется, в текстах такого рода связи временных форм с инвариантами времен весьма прозрачны, что демонстрирует приведенный Гловинской материал и его интерпретация.

Мы не претендуем здесь на охват всей совокупности частных грамматических значений, упоминаемых в соответствующей литературе; вполне возможно, что какие-либо конкретные специфические употребления были нами упущены, хотя мы и стремились учесть все частные значения, связь которых с инвариантом не очевидна, т.е. случаи переносного (метафорического) употребления грамматических форм (так называемой транспозиции форм – [Бондарко 1971а: гл. III; 1971б: гл. II, с. 94 и сл.; Широкова 1983]).

При отборе частных интерпретаций в основном был использован материал [РГ 1980], откуда заимствованы многие характеристики употреблений глагольных форм и большинство примеров; существенно привлекался материал работ [Бондарко 1971а] и [Гловинская 1989]⁹.

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Для демонстрации проявления инварианта наст. времени в частном значении требуется обеспечить наличие компонента 'гомохронность' в экспликации значения или в прагматическом выводе из нее. Экспликация понятия гомохронности представляет собой дизъюнкцию двух условий – синхронности и потенциальной реализуемости, поэтому проявление какого-либо одного из них в экспликации или выводе имплицитно гомохронность.

(Н1) Настоящее при обозначении фактов, актуальных для периода, включающего текущий момент высказывания

(Н1.1) Настоящее гномическое и настоящее постоянное:

Вода кипит при ста градусах. Земля вращается вокруг Солнца. Этот металл плавится. Смелость города берет. Для записи партий существует шахматная нотация.

'Общее свойство, присущее некоторому объекту; общая истина, справедливая в произвольный момент времени'.

Прагматический вывод: 'реализации факта F имели место до текущего момента, возможно, имеют место в текущий момент и будут иметь место после него'.

Экспликация отражает известный вневременной характер настоящего гномического и постоянного, отмечаемый в лингвистической литературе и словарях лингвистической терминологии. Непосредственно в экспликации нет компонентов, соотносимых с предложенным инвариантом наст. времени, однако этот инвариант проявляется в прагматическом выводе из экспликации: факт F, обозначенный глагольной формой, относится и к прошлому, и к текущему моменту, и к будущему; тем самым, выполняется условие потенциальной реализуемости факта F в текущий момент, а, значит, его гомохронность текущему моменту, который и естественно выбрать в качестве точки отсчета.

(Н1.2) Настоящее абитуальное, обозначающее обычный, повторяющийся факт:

Девушки часто плачут беспричинно (М. Горький).

⁹ В [Гловинская 1989] многие частные видовые и видо-временные значения эксплицируются посредством полных толкований на естественном метаязыке. Правда, не во всех случаях предложенные толкования дают возможность соотнести частное значение с инвариантом соответствующей граммеы времени (Гловинская и не ставила перед собой такой задачи).

‘Реализации факта F обычно имеют место’.

Прагматический вывод тождествен выводу в предшествующем пункте.

И в этом случае в экспликации нет непосредственной соотнесенности с инвариантом, каковая проявляется только в прагматическом выводе из экспликации. Точкой отсчета здесь также служит текущий момент высказывания.

(Н1.3) Настоящее изобразительное (особенно характерное для литературно-художественных описаний):

*Дробясь о мрачные скалы, / Шумят и пенятся валы, /
И надо мной кричат орлы, / И ропщет бор...* (Пушкин)

‘Факт F имеет место в некоторый условный момент M его восприятия’.

Эта экспликация, задающая гомохронность (синхронность) факта и условного момента M, тем самым непосредственно соотносится с инвариантом наст. времени.

В чем различие между настоящим и прошедшим временем в подобных описаниях? Попробуем изменить время глаголов в приведенной цитате – ... шумели и пенились валы, и надо мной кричали орлы, и роптал бор – и мы почувствуем разницу между оригиналом и его модификацией: в первом случае мы как бы присутствуем в соответствующем месте в соответствующее время и непосредственно вместе с автором воспринимаем изображаемый пейзаж; во втором случае прошедшее время отстраняет нас от этого пейзажа и от автора, задает предшествование изображаемой картины некоторому условному моменту восприятия данного текста.

(Н1.4) Настоящее комментирующее (характерное, в частности, для сценических ремарок):

Лука (входит и подает воду). Барыня больны и не принимают (Чехов).
Сальери. Ты думаешь? (Бросает яд в стакан Моцарта.) Ну, пей же (Пушкин).

‘Факт F имеет место в некоторый условный момент M сценического действия’.

Аналогично предшествующему случаю, гомохронность, а тем самым – соотнесенность данного частного значения наст. времени с инвариантом, задана непосредственно в экспликации. Точкой отсчета служит здесь некоторый подразумеваемый момент совершения называемого глагольной формой факта: автор текста как бы помещает свое сознание и сознание адресата в соответствующее время совершения сообщаемого факта.

(Н2) Настоящее при обозначении предшествующих фактов

(Н2.1) Настоящее историческое:

В прошлом году как-то встречаю я его на одной конференции и говорю...

‘(1) Факт F предшествует моменту речи; (2) говорящий представляет факт F так, как если бы он имел место в момент M непосредственного восприятия данного факта говорящим и адресатом’.

Пункт (2) данной экспликации задает гомохронность факта F и момента M, т.е. соотнесенность с инвариантом.

Как отмечается в работе [Гловинская 1996: 451], для настоящего исторического характерна “ментальная синхронизация действия и наблюдения”. Указанный выше инвариант настоящего времени как раз и состоит в такой синхронизации; ее проявление в случае настоящего исторического очевидно. При этом для нашей цели – соотнесения частного значения с инвариантом – не существенно решение вопроса, который ставится в упомянутой работе: переносит говорящий себя в прошлое или “подтягивает” прошлое к моменту речи. М.Я. Гловинская выбирает перенесение в

прошлое, опираясь на факт сочетаемости наст. исторического с обстоятельствами предшествования: *Встречаю вчера (недавно, три дня назад) я его по пути на работу...*, и этот выбор представляется вполне правдоподобным¹⁰. Однако из перенесения говорящего в прошлое делается вывод об отсутствии проявления инварианта в настоящем историческом, а это уже вызывает возражение. Такой вывод был бы оправдан, если бы инвариант был жестко привязан к моменту речи, но в нашей формулировке инварианта наст. времени (и в "ментальной синхронизации") такой привязки нет.

З а м е ч а н и е. Наша экспликация согласуется с обстоятельным толкованием настоящего исторического в [Гловинская 1996: 456]. Это толкование содержит три вхождения компонента 'действие как бы происходит на глазах [говорящего или адресата]'. Здесь мы усматриваем две неточности: факт. описываемый глагольной формой в случае настоящего исторического, не обязан быть действием (*Вошел я вчера в кабинет начальника, а он спит себе*); восприятие факта не обязательно носит зрительный характер (*Только я заснул, как на дворе истошно заорали: ссорятся, кричат, ругаются...*). Соответствующий компонент следует заменить чем-то вроде: 'факт как бы воспринимается непосредственно', как это сделано в нашей экспликации.

В следующих трех случаях близкий моменту речи факт подается как синхронный ему.

(Н2.2) Настоящее непосредственно предшествующего факта:

Ребята приглашают нас в поход [реплика сразу после телефонного звонка].

'Факт F предшествует моменту речи; говорящий представляет F так, как если бы он имел место в момент речи'.

Здесь мы видим гомохронность подачи факта F и момента речи.

(Н2.3) Настоящее интерпретационное:

– Теперь я буду обязан, – сказал я. – Это похоже на взятку. – Ха, разве взятки такие бывают? – сказала Жанна. – Вы нас обижаете (Д. Гранин).

'Факт F предшествует моменту речи; в момент речи имеет место интерпретация говорящим факта F как типа поведения'.

Экспликация задает гомохронность интерпретации факта F моменту речи. Формулировка данной экспликации существенно опирается на толкование интерпретационного значения настоящего НСВ в [Гловинская 1989: 113].

(Н2.4) Настоящее эмоциональной актуализация [Бондарко 1971а: 150]:

Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял. ... Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться ... (Пушкин).

'Факт F предшествует моменту речи; в момент речи имеет место демонстрация факта F и его подача как обычного поведения'.

Здесь гомохронность связывает демонстрацию и подачу факта F с моментом речи.

Наша экспликация согласуется со следующим описанием данного временного значения: "Факт прошлого подчеркивается, ему придается в данном высказывании принципиальное значение. ... Действие предлагается на рассмотрение, демонстриру-

¹⁰ Впрочем, к этому собственно лингвистическому аргументу было бы желательно добавить какие-либо психолингвистические: ведь мы мало знаем о том, как воспринимают настоящее историческое носители языка – с точки зрения ментальной локализации соответствующего факта относительно текущего времени говорящего.

ется. Прошедшее событие переживается и оценивается в настоящем" [Бондарко 1971а. 151].

(Н2.5) Настоящее экспозиционное:

Дарвин учит, что эволюция видов определяется тремя факторами.

‘Факт F предшествует моменту речи; в момент речи имеет место сохранение актуальности факта F’.

Здесь гомохронность связывает сохранение актуальности F с моментом речи. Экспликация построена на основе описания настоящего экспозиционного в [Гловинская 1989: 115], опирающегося, в свою очередь, на проведенную Г. Галтоном [Galton 1976: 17–18] демонстрацию смыслового отличия настоящего экспозиционного от форм прошедшего времени.

(Н3) Настоящее при обозначении предстоящих фактов

(Н3.1) Настоящее намеченного действия ("praesens propheticum"):

Он будущей зимой уезжает за границу.

‘Факт F следует за моментом речи; F запланирован; говорящий представляет F так, как если бы F имел место в момент M непосредственного восприятия этого факта со стороны говорящего и адресата’.

Гомохронность связывает представление факта F с M.

(Н3.2) Настоящее воображаемого факта:

А потом будут сумерки, освещенная церковь, суeta около паперти...

Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии... И церемония совершается в образцовом порядке! [Бунин].

‘Говорящий представляет будущий воображаемый факт F так, как если бы он имел место в некоторый условный момент M его восприятия’.

Последние два случая – "футуральные" – аналогичны случаям группы (Н2) – "претеритной" интерпретации презенса: говорящий синхронизирует сообщаемый факт и время его воображаемого восприятия, которое естественно счесть в этих случаях точкой отсчета. Будучи в одном аспекте аналогичными случаям (Н2), случаи (Н3) в другом аспекте им зеркально противоположны: в обоих типах случаев точка отсчета (восприятие факта) синхронизирована с сообщаемым фактом, но в (Н2) она предшествует исходной точке отсчета, а в (Н3) следует за ним. При этом исходная точка отсчета чаще всего совпадает с моментом речи, но все же не всегда. Для "футуральных" случаев (Н3) примеры такого несоответствия найти нетрудно – *Он решил, что завтра трогается в путь*. Что-то аналогичное можно придумать и для "претеритных" случаев (Н2): *Илья сидел и мучительно вспоминал подробности вчерашней встречи* [исходная точка отсчета]. *Вот он видит ее на противоположной стороне улицы и окликает ее...*

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

(П1) Прош. время глаголов при обозначении будущих фактов

(П1.1) Прош. сов. вида для выражения уверенности в осуществлении действия:

Если ты не укрепил королевский фланг, ты проиграл партию.

Если он не вернется, мы погубили (пропали).

Ну все, мы опоздали на поезд [в ситуации спешки, когда опоздание еще не наступило, но высоковероятно].

‘Факт F следует за моментом речи; F неминуем; говорящий мысленно фиксирует некоторый момент M после момента речи, как бы переносит свое сознание и сознание адресата в момент M и представляет факт F как **предшествующий** моменту M’.

Здесь не исключена следующая альтернативная экспликация:

‘Факт F следует за моментом речи; F неминуем; говорящий представляет факт F как **предшествующий** моменту речи [как уже совершившийся к моменту речи]’.

Первая экспликация предполагает, что говорящий как бы забегает вперед относительно предстоящего неминуемого факта F, и этот будущий факт представлен так, как если бы он уже имел место до некоторого будущего момента M, т.е. выражена идея его предшествования точке отсчета M. В случае второй экспликации в качестве точки отсчета берется момент речи, а будущий факт F подан как совершившийся до момента речи, т.е. мысленно перемещается в прошлое. Поскольку нам важно проявление в данном случае идеи предшествования, выбор той или иной из этих двух экспликаций для наших целей не слишком существен. Автору представляется более предпочтительной первая – “футуральная” – экспликация. Проанализируем, например, речевую ситуацию произнесения первой фразы из серии примеров (П1.1): слушающий еще не проиграл партию; говорящий говорит о неминуемости проигрыша партии и как бы фиксирует в предстоящем недалеком будущем тот момент M, в который проигрыш партии – факт F – станет совершившимся фактом; проигрыш партии подан как предшествующий моменту M. Правда, против первой – “футуральной” – экспликации как будто говорит затрудненность (или невозможность?) постановки при глагольной форме F обстоятельственного модификатора со значением следования: *‘Если ты не укрепить королевский фланг, ты через час проиграл партию; ‘Если он не вернется, мы завтра погибли* (ср. соображения в [Гловинская 1996: 453–454] о перенесении момента наблюдения в прошлое в случае настоящего исторического именно вследствие возможности постановки при глаголе модификаторов со значением предшествования: *Вчера он хватает меня за рукав...*).

(П1.2) Прош. сов. вида для сообщения о некотором действии в ближайшем будущем (“praeteritum propheticum”):

Ну, я пошел (мы побежали).

‘Говорящий сообщает о намерении совершить действие F в самом ближайшем будущем; говорящий мысленно фиксирует некоторый момент M после момента речи, как бы переносит свое сознание и сознание адресата в момент M и рассматривает факт F как **предшествующий** моменту M’.

Как и в предшествующем случае, здесь возможна альтернативная экспликация: ‘... говорящий представляет факт F как **предшествующий** моменту речи [как уже совершившийся]’.

Вторые части первой и второй экспликации тождественны концовкам первой и второй экспликации в (П1.1) соответственно.

Аналогично предшествующему случаю, непосредственно последующее действие подано как предшествующее точке отсчета – некоторому подразумеваемому моменту, который, как и в случае (П1.1), допускает неоднозначную интерпретацию – либо как некоторый момент в самом ближайшем будущем после момента речи (в первой экспликации), либо как момент речи (во второй).

(П1.3) Прош. сов. вида для эмоционально-экспрессивного иронического отрицания под видом утверждения:

*Так я и поверил <побежал>! Как же, испугался я!
Так он тебе и сказал!*

‘Говорящий категорически отрицает факт F, относящийся к периоду начиная с момента речи; говорящий, выражая иронию по поводу возможности реализации факта F, представляет факт F как совершившийся и предшествующий некоторому моменту M’.

Под видом утверждения говорящий выражает ироническое отрицание факта F, которое может относиться не только к последующему моменту, но и к моменту наблюдения (в частности, к моменту речи). В зависимости от отнесенности этого отрицания в качестве точки отсчета может выступать момент речи или некоторый подразумеваемый момент в будущем; в обоих случаях подразумевается воображаемое предшествование отрицания сообщаемого факта этому моменту. В самом деле, чем отличается ироническое восклицание *Так я ему и поверил!* от тоже иронического *Так я ему и поверю!* Во втором случае отрицаемый факт F жестко привязывается к будущему и очевидным образом ориентирован относительно момента речи; в первом случае факт недоверия подается как уже имевший место до некоторого другого факта¹¹.

Отметим, что предложенная экспликация данного частного значения прош. времени автора не вполне удовлетворяет. Она приведена в качестве эвристического материала, который, возможно, окажется полезен для будущих поисков связи данного частного значения с инвариантом прош. времени. Однако даже если в данном случае придется признать отсутствие связи частного значения с инвариантом, это не подрывает идею инварианта в общем и предложенный инвариант прош. времени в частности: здесь мы имеем очевидный случай синтаксической фраземы. Как указывалось выше, в случае фразеологической синтаксической обусловленности частного значения граммы проявления в нем инварианта может и не быть.

(П. 4) Прош. несов. для выражения предстоящего факта в рамках прошлого:

Все мы расставались: Олег ехал в Крым учительствовать, Ваня отправлялся в экспедицию, я оставался в Москве.

‘Факт F, предшествующий текущему моменту, запланирован и следует после некоторого момента в прошлом’.

Здесь мы имеем своего рода “будущее в прошедшем”. Как отмечено в [Гловинская 1989: 93], “действие должно относиться к достаточно близкому для данной ситуации будущему, если считать от выделенного момента в прошлом”. Тем не менее, для этих форм прошедшего времени как таковых – в аспекте выбора именно граммы прошедшего времени – существенно не отнесение соответствующих действий к будущему [в прошедшем], а предшествование этих действий точке отсчета (скорее всего, моменту речи). Здесь идея предстоящего, в сущности говоря, не составляет собственное частное значение данной видо-временной формы, а, наведенная общим контекстом, является имплицатурой формы и контекста (ср. раздел “Значение и имплицатура” в [Comrie 1985: 23 ff.]).

З а м е ч а н и е. В [ГСРЛЯ 1970: 358] указывается еще одна возможность “транспозиции форм прош. времени глаголов в сферу значений буд. времени”, которая иллюстрируется следующим примером: *И вот представь, завтра ты узнал, что твой друг тебя обманул*¹². Такого рода маргинальные случаи также сохраняют идею предшествования: рассматривается некоторая гипотетическая ситуация, которой предшествует определенный факт (в процитированной фразе гипотетическая ситуация – это определенное состояние адресата, которому непосредственно предшествует “узнавание об обмане, совершенном другом”).

¹¹ “Отрицание факта в будущем эмоционально выражается как ироническое признание его уже осуществившимся” [Бондарко 1971а: 134].

¹² Для автора эта фраза находится на грани приемлемости, но ее легко исправить, опустив слово *завтра* или заменив его, скажем, на *летом* (в предположении, что разговор происходит весной).

(П2) Прощ. время при обозначении обычных повторяющихся фактов:

В этом архиве обслуживают быстро: вы пришли, сделали заказ, и через час получаете рукописи.

‘Факт F обычен в период P, включающий текущий момент; говорящий демонстрирует единичную реализацию факта F как **предшествующую** некоторому произвольно фиксированному моменту M в составе P [как уже совершившуюся]’.

Единичный факт F, характеризующий обычную ситуацию, относящуюся “к широкому плану настоящего” [РГ 1980: 633], представлен как предшествующий некоторому фиксируемому моменту в этом широком плане. В приведенном примере описываемая обычная ситуация прихода и заказа рукописей рассматривается с точки зрения ее единичного проявления и предствования некоторой точкой отсчета, например, моменту в течение того же дня. В нашем примере таким моментом можно считать момент получения рукописей; если заменить в этом примере форму наст. времени несов. вида *получаете* на форму прош. времени сов. вида *получили*, точка отсчета меняется: это уже некоторый момент, следующий за получением рукописей, с точки зрения которого рассматривается единичная реализация обычных фактов прихода, заказа и получения рукописей¹³.

(П3) Прощ. время сов. вида для выражения побуждения:

Немедленно занялись делами! А ну лег и пополз! [На занятии лечебной физкультурой] Руки подняли над головой, развели в стороны, делаем вдох; руки протянули вдоль тела, выдох – и отдыхаем.

‘Говорящий побуждает адресата к совершению действия F; говорящий фиксирует некоторый момент M в ближайшем будущем и представляет факт F как **предшествующий** этому моменту’.

Здесь, как и в случаях (П1. 1) и (П1. 2), также возможна альтернативная экспликация, отличающаяся от приведенной своей концовкой: ‘... говорящий представляет факт F как **предшествующий** моменту речи’.

Побуждение выражено таким образом, что соответствующее действие подается как совершившееся, т.е. как предшествующее некоторой желательной ситуации.

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

(Б1) Будущее простое

(Б1. 1) Для обозначения обычной ситуации:

Бывает так, что судьба обрушится, и ударам ее нет конца.

‘Факт F обычен в период P, включающий текущий момент; говорящий демонстрирует единичную реализацию факта F как **следующую** за некоторым произвольно фиксированным моментом M в составе P’.

Обычная, характерная для человеческого существования ситуация подается с точки зрения некоторого произвольно фиксированного момента – точки отсчета, вслед за которой можно ожидать реализации этой ситуации.

¹³ Можно согласиться со следующими мыслями А.В. Бондарко [1971а: 135], высказанными в связи с данным частным значением прош. времени: “Важным результатом столкновения временного значения грамматической формы и значения контекста является ослабление значения отнесенности действия к прошлому, превращение этого значения в слабый, иногда едва заметный оттенок. Значение грамматической формы становится коннотативным оттенком, сопутствующим, как своего рода обертоном, основному денотативному значению, исходящему от контекста”. Для нас, однако, существенно то, что это значение все же не исчезает полностью; тем самым, инвариант сохраняется.

(Б1. 2) Для обозначения повторяющихся фактов ("наглядно-примерное значение"):

(а) ... *В кухарке толку / Довольно мало: то переварит, / То пережарит, то с посудой полку / Уронит: вечно все пересолит. – / Шить сядет – не умеет взять иголку... Везде, во всем уж как-нибудь подгадит* (Пушкин).

(б) *Денег даже давал, когда под пьяную руку придет. Придет под пьяную руку – и щедро все раздает.*

‘Факт F обычен для некоторого периода P; говорящий демонстрирует единичную реализацию факта F с точки зрения некоторого произвольно фиксированного момента M в P; имели место реализации F, предшествовавшие M; говорящий уверен в возможности реализаций F, следующих за M; говорящий эмоционально относится к F’¹⁴.

Обычный повторяющийся факт рассматривается как бы из некоторой временной точки, расположенной внутри периода, содержащего различные реализации этого факта; эта точка и составляет точку отсчета M, за которой следуют последующие реализации факта. M может совпадать с моментом речи, а может быть перенесена в прошлое. Так, отрывок (а) в "Домике в Коломне" имеет "претеритное" осмысление, но допускает и "презентное"; первая фраза в (б) осмысливается только в плане прошлого, а вторая допускает оба осмысления (разумеется, исключаящие друг друга).

(Б1. 3) Со значением невозможности осуществления действия в текущий момент (с отрицанием) ("настоящее напрасного ожидания" по [Зализняк 1990]):

Кепки не найду никак.

Как его зовут, сейчас, пожалуй, не вспомню.

‘Говорящий отрицает факт F в текущий момент и предполагает, что в ближайшем будущем реализация факта F не последует за текущим моментом’.

Говорящий не только констатирует отсутствие некоторого факта в текущий момент (не обязательно совпадающий с моментом речи, ср. *Параши бьется, а никак не сладит* (Пушкин), где текущий момент перенесен в прошлое), но и как бы прогнозирует сохранение данного положения вещей на протяжении некоторого последующего периода (пусть и кратковременного). В данном употреблении простого будущего, как представляется, дополнительно присутствует идея затрудненности осуществления соответствующего действия, чем и вызван указанный прогноз говорящего.

(Б1. 4) О прошлом единичном факте как удивительном, неожиданным, но при этом характерном:

Они... смотрели в глаза друг другу, смотрели так любовно и пылко, что от зависти морщины пошли к сердцу. Привалил же людям такое счастье! (Вс. Иванов)

(Глядя на рисунок) *Нарисуют же такое!*

‘Имела место единичная реализация факта F до момента речи; говорящий, считая F неожиданным и удивительным в момент речи, в то же время считает его типичным и утверждает, что за моментом речи последуют другие реализации факта F; говорящий или участник ситуации равнодушно относится к F’¹⁵.

Факт, выражаемый глагольной формой, оценивается говорящим как типичный (ср. компонент: ‘говорящий обобщает событие как характерное’ в толковании, предло-

¹⁴ Данная экспликация опирается на предложенное в [Гловинская 1989: 125–126] описание смысла "будущего СВ в узуальном значении".

¹⁵ Экспликация построена с существенной опорой на описание "будущего СВ о прошлом единичном факте как удивительном, неожиданным" в [Гловинская 1989: 117].

женным в [Гловинская 1989: 117]); наступление типичного события возможно в произвольный момент текущего периода на временной оси, в частности в момент речи, вслед за которым можно ожидать очередной реализацию соответствующего факта.

Данный случай употребления будущего совершенного иллюстрирует вхождение глагольной формы в синтаксическую фразу.

(Б1. 5) Для обозначения внезапных, интенсивных фактов в прошлом:

Стою, слушаю – и вдруг что-то как польхнет через все небо.

‘Факт F предшествует текущему моменту; F внезапен и интенсивен; внезапность и интенсивность факта F оценивается с точки зрения некоторого момента M, за которым F следует’.

Неожиданность, резкость факта F (в нашем примере *польхнет*) оценивается с точки зрения некоторого другого факта M (*стою, слушаю*), служащего для F точкой отсчета; F (непосредственно) следует за M. Употребление футуральной формы в контексте прошлого делает неожиданность и интенсивность последующего события еще более рельефной.

(Б1. 6) Для выражения угрозы:

Ты у меня поговоришь <достукаешься>! Вы у нас поиграете еще на детской площадке! Я тебе поработаю еще на моем компьютере! Ты у меня полежишь на ковре!

‘Говорящий высказывает угрозу, обращенную к адресату, реализация которой состоится в том случае, если за моментом речи последует действие F адресата’.

Говорящий грозным тоном называет возможное будущее действие адресата (адресатов), совершение которого чревато реализацией некоторой угрозы говорящего, которая может быть указана явно (*Ты у меня еще прогуляешь – премии лишишься!*) или подразумеваться. Значение угрозы выражается здесь всей синтаксической конструкцией, компонентом которой является глагольная форма будущего совершенного; таким образом, в данном случае мы имеем синтаксическую фразу (строгое описание которой дано в [Mel’čuk 1995: 332 ff.]).

(Б1. 7) Переносное разговорно-просторечное употребление глагола *быть* в будущем времени в вопросительных предложениях в значении настоящего:

Вы кто будете? Вы откуда будете? Вы ему не сестра будете?

‘Говорящий задает адресату вопрос относительно некоторого факта, характеризующего адресата в момент речи или в предшествующий период; говорящий имеет в сознании образ ответа, который должен последовать непосредственно за моментом речи’.

Как указывается в [РГ 1980: 635], подобного рода употребления выражают “оттенок еще не распознанного факта”. Говорящий ориентирует запрашиваемый, еще не известный ему факт F относительно момента, непосредственно следующего за моментом речи, когда будет получен ответ и факт F станет говорящему известен.

(Б1. 8) Переносное употребление глагола *быть* в будущем времени для неуверенного обозначения приблизительного количества:

Ему лет 50 будет.

В этой цистерне литров двести бензина будет.

‘Говорящий неуверенно называет приблизительное число, характеризующее значение некоторого параметра для некоторого объекта; говорящий имеет в виду уточнение, которое последует за моментом речи’.

Это случай родствен предьдущему, с тем отличием, что здесь мы имеем – вместо нераспознанного факта – факт неточный, который говорящий как бы проецирует относительно текущего момента в будущее, когда предстоит его уточнить.

В последних двух пунктах мы имеем случаи синтаксических фразем, для которых, вообще говоря, демонстрация связи с инвариантом не обязательна.

(Б2) Будущее сложное

(Б2. 1) Употребления, обозначающие обычный, повторяющийся факт:

(а) Предположение, допущение:

Этого зверя здесь никакому охотнику выследить не удастся. Хоть месяц будет ходить, а не убьет.

(б) Уверенность в постоянной готовности:

Если его прижать к стенке, он будет клясться, что все сделает, и все равно подведет.

(в) Уверенность в осуществлении обычного факта:

Он ужасно хвастлив. Вернувшись из далекого путешествия, обязательно будет хвастаться...

(г) Обычная, повторяющаяся ситуация в прошлом:

[Он и считать не умел, зато любил финтить.] Целое утро будет сидеть и не пошевелится...

‘Факт F обычен для некоторого периода P; говорящий рассматривает реализации факта F с точки зрения некоторого произвольно фиксированного момента M в P; имели место реализации F, предшествовавшие M; говорящий уверен в возможности реализаций F, следующих за M’.

Во всех четырех случаях (а) – (г) выражается нечто закономерное, происходящее время от времени постоянно, соответствующее самой сути вещей или сути данной ситуации. Экспликация аналогична экспликации для употреблений будущего простого в пункте (Б1. 2): здесь также серия реализаций обычного факта рассматривается внутри ее самой, из некоторой временной точки отсчета, за которой следуют другие реализации данного факта. С подобными случаями употребления будущего сложного “может быть связан модальный оттенок уверенности в том, что обычное, типичное действие обязательно должно (или не должно) осуществляться” [Бондарко 1971а: 166].

(Б2. 2) Экспрессивно-модальное употребление с выражением возмущения говорящего:

Огромный будочник... гаркнул: "Всякая сволочь по ночам будет беспокоить" (В. Гиляровский).

Еще секретариши будут мне указывать (И. Меттер).

‘Говорящий выражает возмущение по поводу факта F, имея в виду реализации этого факта, которые могут последовать за моментом речи’.

“В модальном и вместе с тем экспрессивном оттенке “посягательства” (злой воли) можно видеть следы связи с категориальным значением рассматриваемой формы, однако значение будущего времени четко не выражено” [Бондарко 1996: 15]. С этим, пожалуй, можно согласиться, однако в чем же состоят “следы связи”? Говорящий, выражая свое возмущение по поводу некоторого совершившегося и/или совершающегося факта F, имеет в виду возможность реализаций этого факта, следующих за моментом речи. Тем самым, здесь также, аналогично (Б1. 2) и (Б2. 1), выстраивается серия реализаций факта, рассматриваемая изнутри в рамках объемлющего периода.

Замечания о шифтерном статусе русского глагольного времени.

В соответствии с известным пониманием шифтеров как значений, целиком обусловленных ситуацией текущего речевого акта [Якобсон 1972], грамемы времени – вместе с местоимениями *я, ты, здесь, сейчас*, наречиями *вчера, сегодня, завтра* – считаются классическими шифтерами. Как показывают рассмотренные

примеры частных временных значений, глагольное время не во всех случаях ориентировано относительно текущего речевого акта. Время лишь ПРОТОТИПИЧЕСКИ ориентировано относительно момента речи. В конкретных случаях употребления временных форм соответствующая точка отсчета может переноситься и в прошлое, и в будущее; или же в качестве точки отсчета может фиксироваться вообще некий произвольный момент (отрезок) на временной оси – вне какой-либо связи с прошлым, настоящим или будущим. Среди случаев, когда глагольное время ориентировано не относительно момента речи, укажем, например, следующие:

- для настоящего времени: (Н2. 1) настоящее историческое; (Н3. 1) настоящее намеренного действия (*Я завтра уезжаю*); (Н3. 2) настоящее воображаемого факта (*Представь: приглашают тебя на собеседование*);
- для прошедшего времени: (П1. 1) уверенность в осуществлении действия (*Ну все, мы проиграли!*); (П2) обозначение обычного действия (*Утром пришли – днем получили рукописи*);
- для будущего времени: (Б1. 1) в значении обычной ситуации (*Бывает так, что судьба обрушится, и ударам ее нет конца*); (Б1. 2)/(Б2. 1) для обозначения повторяющихся фактов (*Всегда она настроение испортит; В подобной ситуации всякий будет пласти небылицы*); (Б1. 5) для обозначения внезапных, интенсивных фактов в прошлом (*Повернулся – и как заорет во все горло*).

Количество подобных случаев можно было бы умножить. Все это говорит о том, что категория времени носит не столь безусловно шифтерный характер, как подлинные шифтеры типа *я, ты, здесь, сейчас*: глагольное время является шифтером лишь в прототипическом употреблении, поскольку его ориентация относительно момента речи носит лишь прототипический характер.

III. О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭВРИСТИКЕ

Автор хотел бы критически оценить предложенные выше описания связей между частными значениями конкретных глагольных граммем русского языка и слабыми инвариантами этих граммем. И частные значения, и инварианты, и формулировки связей между частными значениями и инвариантами были даны на естественном языке, с его неоднозначностью и развитой синонимией – свойствами, препятствующими научному описанию этого сложнейшего феномена существования человека. В лингвистике самым эффективным и самым распространенным средством описания естественного языка является он сам; естественный язык служит собственным метаязыком, довольно далеко отстоящим от общеметодологических требований, предъявляемых к формальному языку. Редко можно встретить лингвистическую работу, в которой естественные языковые единицы описывались бы средствами, внеположными естественному языку; математические, нейрофизиологические, психологические и прочие инструменты наук о человеке, плохо освоенные лингвистами, пока почти ничего не могут дать в поддержку или в опровержение лингвистических построений, опирающихся на языковую интроспекцию исследователей или опрос информантов. Подобные построения составляют подавляющее большинство в лингвистической практике.

В этом отношении настоящая работа не является исключением. Автору хотелось бы найти какие-нибудь дополнительные свидетельства в поддержку сформулированных здесь на естественном языке инвариантов граммем и описаний связи между этими инвариантами и частными значениями граммем – такие свидетельства, которые выходили бы за пределы языка и были бы почерпнуты из областей, внеположных современной лингвистике. Такое сложное образование человеческой психики, как естественный язык, должен изучаться и моделироваться целым комплексом наук о человеке, и, думается, лингвистика не должна заявлять на него свои безоговорочные права. Автор не вышел в настоящей работе из оков, налагаемых на него лингвистикой, не получил внеположные языку данные в пользу предложенных сугубо лингвистических построений. Собственно, подобная задача и не ставилась, хотя она представляется чрезвычайно важной. Можно предположить, что ее реализация потребует комплексных усилий специалистов из разных областей науки о человеке или приобретения лингвистами специальных основательных знаний, умений, навыков, образа мышления из внемарксистических дисциплин. Пока этого нет, собственно лингвисти-

ческим построениям суждено оставаться на относительно низком уровне обоснованности.

Поэтому следует без особых иллюзий воспринимать данные, полученные сугубо лингвистическим путем, т.е., грубо говоря, исключительно с опорой на языковую интроспекцию, – в частности, формулировки, предложенные в настоящей работе. Это не более чем поисковые, отчасти несколько спекулятивные, рассуждения; они приводят к сугубо предварительным формулировкам, которым наука о языке еще должна дать интерпретацию во внелингвистических областях. Если обратиться в поисках аналогии к математической практике, то можно сказать, что рассуждения, представленные здесь и им подобные, относятся не к собственно решению некоторой задачи, а к способам поиска решения задач; тем самым, такие рассуждения носят ЭВРИСТИЧЕСКИЙ характер*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адмони В.Г.* 1988 – Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.
- Апресян Ю.Д.* 1985 – Принципы описания значений граммем // Храковский В.С. (ред.). Типология конструкций с предикатными актангами. Л., 1985.
- Апресян Ю.Д.* 1995 (1980) – Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "Смысл ↔ Текст" // *Апресян Ю.Д.* Избранные труды, том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Бибок К.* 1996 – Проблема концептуальной семантики русского и венгерского языков // *ВЯ.* 1996. № 2.
- Бодуэлавский И.М.* 1996 – Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Бондарко А.В.* 1971а – Вид и время русского глагола. М., 1971.
- Бондарко А.В.* 1971б – Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.
- Бондарко А.В.* 1978 – Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
- Бондарко А.В.* 1996 – Теория инвариантности Р.О. Якобсона и вопрос об общих значениях грамматических форм // *ВЯ.* 1996. № 4.
- Везжицкая А.* 1985 (1980) – Дело о поверхностном падеже // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. XV. М., 1985.
- Везжицкая А.* 1996 – Язык. Культура. Познание. Пер. с англ. / Отв. ред. – М.А. Кронгауз, вступ. ст. – Е.В. Падучева. М., 1996.
- Гловинская М.Я.* 1989 – Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // *Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект.* М., 1989.
- Гловинская М.Я.* 1996 – Две загадки praesens historicum // *Русистика. Славистика. Индоевропеистика* (К 60-летию А.А. Зализняка). М., 1996.
- ГПРЯ* 1997 – Глагольная префиксация в русском языке. Сборник статей. М., 1997.
- ГСРЛЯ* 1970 – Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
- Зализняк А.А.* 1990 – Об одном употреблении презенса совершенного вида ("презенс напрасного ожидания") // *Metody formalne w opisie języków słowiańskich.* Białystok, 1990.
- Кибрик А.Е., Богданова Е.А.* 1995 – Сам как оператор коррекции ожиданий адресата // *ВЯ.* 1995. № 3.
- Кошелев А.Д.* 1988 – О референциальном подходе к изучению семантики вида // *Референция и проблемы текстообразования.* М., 1988.
- Кошелев А.Д.* 1996 – Референциальный подход к анализу языковых значений // *Московский лингвистический альманах.* Вып. I (Спорное в лингвистике). М., 1996.
- Мельчук И.А.* 1995 – Толково-комбинаторный словарь русского языка // *Мельчук И.А.* Русский язык в модели "Смысл ↔ Текст". Москва – Вена, 1995.
- Мельчук И.А.* 1997 – Курс общей морфологии. Том I. Введение и Часть первая: Слово. М., 1997.
- Новак П.* 1983 – О несостоятельности основных положений концепции общего значения в грамматике //

* Я благодарен Л.Н. Иорданской, А.Е. Кибрику, А.Д. Кошелеву, И.А. Мельчуку, а также рецензентам редколлегии "Вопросов языкознания" за чрезвычайно ценные и важные замечания к первоначальному варианту данной работы. Некоторые замечания были столь серьезны, что сначала я решил отложить работу в долгий ящик – в надежде когда-нибудь довести ее до полностью удовлетворяющего меня вида, однако в силу "экстраординарных" обстоятельств вынужден был отменить свое решение. Таким образом, при доработке статьи я сумел учесть не все из принятых мной замечаний читателей первоначального варианта.

Я признателен также Н.Н. Перцову за помощь в выработке формулировок некоторых частных значений граммем.

- Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. М., 1983.
- Падучева Е В* 1996 – Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996.
- Перцов Н В* 1996а – Грамматическое и обязательное в языке // ВЯ. 1996. № 4.
- Перцов Н В* 1996б – О некоторых проблемах современной семантики и компьютерной лингвистики // Московский лингвистический альманах. Вып. 1 (Спорное в лингвистике). М., 1996
- Перцова Н Н* 1988 – Формализация толкования слова. М., 1988.
- Плаунгян В.А., Рахилина Е.В* 1996 – Полисемия служебных слов: предлоги *через* и *сквозь* // Русистика сегодня. 1996. № 3.
- РГ 1980 – Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
- СяИ–32 1991 – Семиотика и информатика. Вып. 32 (Материалы к Интегральному словарю современного русского литературного языка) / Ред. Апресян Ю.Д. М., 1991.
- Шатуновский И Б* 1996 – Семантика предложения и нерелевантные слова. М., 1996
- Широкова А Г* 1983 – Проблематика транспозиции форм наклонений в славянских языках // Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. М., 1983.
- Якобсон Р О* 1972 – Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Comrie B* 1985 – Tense. London, 1985.
- Galton H* 1976 – The main functions of the Slavic verbal aspect. Skopje, 1976.
- Haiman J* 1985 – Natural syntax: iconicity and erosion. Cambridge, 1985.
- Jakobson R* 1936 – Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der russischen Kasus // TCLP. VI. 1936.
- Meščuk I A* 1994 – Cours de morphologie générale. V 2. Pt. 2. Significations morphologiques. Montréal, 1994.
- Meščuk I A* 1995 – Un affixe dérivationnel et un phrasème syntaxique du russe moderne // Мельчук И.А. Русский язык в модели "Смысл ↔ Текст". Москва, Вена, 1995.
- Meščuk I A, Clas A, Poîguère A* 1995 – Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire. Louvain-la-Neuve, 1995
- Reichenbach H* 1947 – Elements of symbolic logic. N.Y., 1947.

© 1998 г. В.В. ГУРЕВИЧ

О "СУБЪЕКТИВНОМ" КОМПОНЕНТЕ
ЯЗЫКОВОЙ СЕМАНТИКИ

Термином "субъективный" мы обозначаем семантический компонент, указывающий на говорящего и на сам акт речи, – явление, обычно рассматриваемое при исследовании сферы дейксиса (системы координат "я – здесь – сейчас") и шире – языковой прагматики [Бюлер 1993; Бенвенист 1974; Падучева, Крылов 1984]. Ниже представлена попытка выявить наличие этого семантического компонента в содержании самых разных грамматических категорий.

Помимо системы личных и указательных местоимений, подобная ориентировка на говорящего вполне очевидным способом представлена также в содержании грамматического времени, всегда в конечном счете соотносящего время события с моментом речи. Представляется, однако, что этот же дейктический (прагматический) компонент можно обнаружить в любом грамматическом значении.

Весьма нетрудно установить наличие этого элемента в содержании **модальных значений**. В частности, коммуникативная модальность предложения – вопросительная, утвердительная, отрицательная, побудительная – отражает, как известно, ту цель, которую ставит перед собой говорящий, строя свое высказывание. Уже из этого огрубленного описания модальности высказывания видно, что в содержание данных модальных значений несомненно включено указание на говорящего и производимый в данный момент речевой акт: скрытая модальная рамка любого предложения обязательно содержит компонент типа 'я утверждаю, что... (спрашиваю)' и т.д. Отсылка к говорящему входит и в содержание модальных значений, выражаемых формами наклонения глагола, которые характеризуют действие не как "объективно" реальное (или нереальное, проблематичное и т.д.), а лишь как представляющееся таковым с точки зрения говорящего. Так, предложение в изъявительном наклонении *Петр уже приехал* сообщает не об истинности факта "приезда Петра", а лишь о том, что таково утверждение автора высказывания. Предложение в условном наклонении *Если бы Петр приехал, то...* выражает некоторое предположение со стороны говорящего, которое он же сам при этом представляет как несоответствующее реальности (глагольная форма содержит скрытое "косвенное отрицание" реальности события [Шендельс 1959] и т.д. Подчеркнем, что все указанные смыслы типа 'говорящий утверждает (предполагает, считает нереальным и т.д.)' непосредственно входят в качестве компонента в содержание грамматического значения модальности.

Рассматриваемый компонент включен также и в значение разнообразных модальных лексем, выражающих так называемую "субъективную" модальность (отношение между действием и его семантическим субъектом). Вводно-модальные слова (*возможно, по-видимому, несомненно* и т.д.) вполне очевидно выражают различные степени уверенности **говорящего** в существовании того, о чем он сообщает. Слова со значением 'необходимости', 'запрета', 'разрешения' и т.п. представляют ту же отсылку к говорящему лишь в более скрытом виде. Так, предложение *А необходимо для того, чтобы было Б* означает 'если не будет А, то, несомненно, не будет желаемого Б'; *А запрещено (недопустимо)* означает 'если будет А, то не будет желаемого

результата' (или: 'то произойдет нежелательное событие'). Семантические элементы 'если' (= 'неуверенное предположение говорящего о возможности события') и 'желаемое событие' обозначают в данных толкованиях не что иное, как некоторое отношение к называемым событиям со стороны субъекта речи (подробнее см. [Гуревич 1988]).

Обратимся к явлению **актуального членения** высказывания. В предложении *Куда уехал Петр?* вопросительная модальность охватывает лишь местоимение, представляющее рему данного высказывания. Тематическая же часть предложения (*Петр уехал*) стоит вне этой вопросительной модальной рамки: сообщение об отъезде Петра не подвергается вопросу, а представлено в виде пресуппозиции, т.е. как некоторое предшествующее утверждение, принятое говорящим за истинное и используемое в качестве "отправной точки" для построения собственно вопроса. Таким образом, актуальное членение указывает, какая часть предложения охватывается его модальной рамкой, а какая образует особую (пресуппозитивную) рамку; поскольку в содержание "темы" и "ремы" явным образом включен компонент "модальность предложения", в него тем самым входит и скрытое в этом компоненте указание на говорящего и производимый им речевой акт.

Границы актуального членения, как известно, могут проходить и внутри значения слова, входящего в состав высказывания. Достаточно известны примеры ограниченности сферы действия отрицания в выражениях типа *не холостяк*, где лишь один из компонентов значения существительного ('неженатый') охватывается модальностью отрицания, тогда как другие компоненты ('взрослый человек мужского пола') образуют пресуппозицию [Fillmore 1969]. Ниже мы рассмотрим возможности различных вариантов членения внутри глагольного значения, что позволит нам перейти далее к содержанию грамматической категории глагольного вида.

Еще Г. Пауль подметил возможности разной интерпретации предложения типа *Петр завтра едет в Берлин*, которое в зависимости от акцентировки содержательных элементов может означать: 1) 'едет, а не остается в том же месте' (здесь утвердительная модальная рамка охватывает компонент 'перемещения') или 2) 'едет, а не идет пешком' (в этом случае в модальную рамку попадает компонент 'способ перемещения') [Пауль 1960: 339]. Ср. еще примеры, где скобками отмечаются пресуппозитивные компоненты: *Птицы не плавают, а летают* = '(передвигаются) не по воде, а по воздуху' и *Что же ты не плаваешь* = 'не передвигаешься, (находясь в воде)'. В некоторых случаях такие различия в акцентировке компонентов могут закрепляться в лексической системе языка как разные "оттенки значения" ("подзначения") слова: ср. *Цветы стоят в вазе* = 'находятся там, (сохраняя при этом вертикальное положение)' и *Ты ему щей налей, чтобы ложка стояла* = 'чтобы ложка имела вертикальное положение, (находясь в щаж)' [Гуревич 1988: 27].

Если обратиться теперь к противопоставлению **видовых значений глагола**, то нетрудно заметить, что оно также связано с различиями в рематической акцентировке некоторых (аспектуально значимых) компонентов лексического значения глагола. Так *Строишь ли ты себе дом?* означает 'производишь ли действия (с целью, чтобы возник дом?)'. При этом варианте в рему попадает компонент 'производить действия в указанный момент'; как модальная рамка высказывания (вопросительная), так и его временная рамка (настоящее время) охватывают лишь эту часть значения глагола. Второй же семантический компонент – 'возникновение дома', включающий аспектуально значимый элемент 'начало некоторого состояния', оказывается вне модальной рамки высказывания (вследствие чего в предложении нет утверждения о возникновении объекта), а также и вне его временной рамки: возникновение объекта относится не к настоящему, а к будущему времени, включенному в содержание целевой модальности ('с целью, чтобы возник дом').

Предложение с совершенным видом *Построил ли ты себе дом?* означает: 'Возник ли дом (в результате целенаправленных действий)?'. Здесь в рему попадает компонент

‘возникновение’ (= ‘начало некоторого состояния’): именно он охватывается модальной и временной рамками, тогда как компонент ‘производить действия’ стоит вне обеих этих рамок. В результате такой модальной актуализации компонента ‘начало состояния’ создается представление о завершенности действия, достижении предела, переходе к новому состоянию и т.д. Глагольный вид, таким образом, представляет собой особую разновидность актуального членения, проходящего внутри глагольного значения; выбирая видовую форму глагола, говорящий сообщает о том, какой из семантических компонентов он включает в модальную рамку высказывания (подробней см. [Гуревич 1988: гл. 3]). Из сказанного следует, что эта грамматическая категория (как и актуальное членение в целом) в своей глубинной семантике несомненно содержит отсылку к речевому акту и говорящему.

Переходя к категории **определенности–неопределенности** имен, отметим прежде всего любопытное наблюдение Ш. Балли о том, что "когда говорят о нескольких собаках, то число собак бывает или неизвестно или не выражено, но оно не неопределенно" [Балли 1955: 88]. Неопределенность, как видим, отражает не реальное отсутствие у объекта каких-либо отличительных признаков, а лишь некоторое отношение к этому говорящего: незнание, нежелание или отсутствие необходимости в подобном уточнении и т.п. Уже из этого видна субъективность значения неопределенности, ибо в реальности все объекты имеют индивидуальные отличительные признаки, т.е. не являются неопределенными (ни в количественном, ни в качественном плане). Рассмотрим, как конкретно включается в семантику неопределенности этот субъективный элемент.

Неопределенный артикль в артиклевых языках, как известно, выражает значение ‘один из класса подобных’. Выражение *один из моих друзей* означает ‘или мой друг Петр, или Иван и т.д.’. В свою очередь, союз “или”, связывающий переменные в таком толковании (‘или А, или Б и т.д. из названного существительным класса объектов’), обозначает альтернативу **возможностей** того же типа, что и выражение ‘возможно, А, возможно, Б и т.д.’. Таким образом, семантика неопределенности в глубинном плане сводима к модальности неуверенного предположения со стороны говорящего, и, следовательно, включает компонент ‘отсылки к говорящему’, входящий в данное модальное значение.

Определенный артикль, так же как и местоимения типа *этот, он*, по своей семантике анафоричен, то есть содержит отсылку к тем конкретным признакам объекта, которые уже были названы в каком-то **предшествующем** утверждении, иначе говоря, в утверждении, предшествующем **данному** высказыванию. Тем самым указание на имеющий место речевой акт, несомненно, входит также и в содержание определенных детерминативов. Обратим в связи со сказанным внимание на то, что предмет в этом случае представлен как определенный (= ‘выделенный из класса подобных’) не просто потому, что он объективно индивидуализирован в реальности, а прежде всего потому, что ранее о нем было **нечто сказано**. Таким образом, субъективно-коммуникативный, прагматический компонент является неслучайной и, более того, семантически стержневой частью содержания категории “определенность–неопределенность”; собственно дейктические слова *я, здесь, сейчас* и т.д. представляют собой лишь одну, хотя и наиболее “наглядную”, разновидность проявления указательного (дейктического) элемента в языковой семантике [Гуревич 1988: гл. 4].

Переходя к анализу **синтаксической семантики**, отметим достаточно известный факт, что основными средствами текстовой связи являются анафора и катафора, т.е. отсылка к предшествующему или последующему тексту. Однако нетрудно убедиться в том, что скрытая указательная отсылка составляет также и существо **валентной связи** слов в словосочетании (и предложении). Так, переходный глагол всегда подразумевает наличие у действия объекта; следовательно, какая-то информация об этом включена в семантику самого глагола. Действительно, глагол *создать* означает ‘сделать так, чтобы возникло то, что будет далее названо в тексте’. Истолковать переходный глагол без упоминания объекта невозможно, и, следовательно, объект как

бы включен в само значение глагола. С другой стороны, дополнение всегда бывает выражено отдельно от глагола, и из значения самого глагола еще не ясно, какой именно объект будет далее назван. Следовательно, в глагольное значение включена не номинация объекта, а лишь сообщение о том, что номинация будет дана где-то в **окружающем тексте**. Таким образом, можно полагать, что валентная связь как раз и создается таким невербальным сообщением об ожидаемом окружении слова, то есть она основана на наличии в лексическом значении слова скрыто выраженной **указательной (катафорической) отсылки** к некоторым элементам того **речевого акта**, в котором используется данное слово.

Тот же принцип лежит и в основе связи частей в сложном предложении. В частности, в "нерасчлененных" сложноподчиненных предложениях изъяснительного типа (*Он сказал, что...*) или прикомпаративного (*Это лучше, чем...*) связь частей создается за счет того, что придаточное распространяет какое-то слово в главной части, т.е. заполняет валентность этого слова. "Расчлененные" сложноподчиненные предложения обычно рассматриваются как характеризующиеся иным типом отношений между частями: в них придаточное связано не с каким-либо отдельным словом, а со всем составом главного, и связь частей осуществляется с помощью семантически полноценных союзов (причины, времени, условия и т.п.). Однако и здесь глубинно-семантический принцип связи тот же: союзы этого типа выражают некоторые **отношения между событиями** (причинные, временные и т.д.), и, следовательно, содержат в своей семантике предикат со значением отношения, который, со своей стороны, всегда обладает двумя обязательными валентностями ('что является причиной чего', 'что одновременно чему' и т.д.). Таким образом, синтаксическая связь и в этом случае также базируется на валентности; отличие таких сложных предложений лишь в том, что "валентообразующим" элементом в них является служебное слово (именно на его валентности "навешиваются" как главное, так и придаточное предложения).

Итак, указание на конкретный речевой акт (и на говорящего) является постоянным компонентом семантики как в морфологических, так и в синтаксических категориях. Обратим внимание в связи с этим, во-первых, на то, что грамматические значения, несмотря на присущий им обобщенный характер, оказываются представляющими прежде всего **субъективный** элемент семантики (связанный с самим говорящим и его речевой деятельностью) и, во-вторых, на то, что, являясь принадлежностью **системы языка** (в противопоставление **речи**), грамматика на самом деле оказывается по своей сути чем-то постоянно указывающим на **речевой акт** (в связи с чем дихотомия "язык – речь" предстает в несколько более сложном виде).

Кроме того, исходя из сказанного об особенностях грамматической семантики, можно, видимо, полагать, что именно наличие отмеченного "прагматического" – указательного – компонента отличает **грамматическое** значение от **лексического**. Отметим при этом, что даже в освобожденном от грамматического оформления виде слово также содержит в своем значении семантические "вкрапления" грамматического порядка. К ним относятся, в частности, описанный выше указательный компонент, создающий валентность слова, а также скрыто выраженная информация о том, как именно компоненты лексического значения слова расчленяются при использовании в высказывании на пресуппозитивный и ассертивный элементы ("потенциальное" актуальное членение в пределах значения слова). Информация последнего типа, как представляется, существенна для выявления принадлежности слова к определенной части речи, поскольку актуальное членение значения имен предикатов (глаголов) и предметных существительных происходит по-разному (подробней см. [Гуревич 1994]).

Обратимся теперь к словам с предельно обобщенными ("опустошенными") значениями, в которых описываемый "грамматический" (указательный) компонент оказывается семантически стержневым. Этой особенностью, по нашим наблюдениям, характеризуются значения, нередко относимые к "элементарным" ("семантическим примитивам") [Wierzbicka 1972; Апресян 1995: гл. 2], – такие, как **существование, время, пространство, качество, количество, тождество, действие, субъект** и т.п. Одна-

ко прежде, чем анализировать эти абстрактные понятия, рассмотрим так называемые "широкозначные" слова, смысл которых конкретизируется содержанием соседнего слова, связанного с данным широкозначным словом валентной связью. В частности, выражение *работать учителем* означает 'учить', *работать врачом* = 'лечить', *магазин работает* = 'торгует', *лифт работает* = 'перевозит' и т.д. Глагол *работать* в обобщенном виде означает 'производить то (целенаправленное) действие, которое конкретно обозначено в предложении подлежащим или дополнением'. В свою очередь, глагол *производить* содержит отсылку к действию, которое будет выражено в значении прямого дополнения: *производить реконструкцию (расчет)* = 'реконструировать (рассчитывать)'. Глагол *происходить (иметь место)* содержит указательную отсылку к событию (нецеленаправленному действию), которое названо в подлежащем: *произошло столкновение (поездов)* = '(поезда) столкнулись'; *произошло замыкание проводов* = '(провода) замкнулись' и т.д. (ср. понятие "лексических функций" в [Мельчук 1995]).

Существительные-конкретизаторы выступают при данных широкозначных глаголах как их "событийная" валентность, т.е. как обозначение того события, которому сам этот глагол приписывает признак 'существования'. В свою очередь, содержание "элементарного" значения 'существования' также заключается в указательной отсылке к семантике соседствующего слова. Глагол *существовать* отличается от описанных широкоязычных глаголов лишь еще большей степенью абстракции, заключающейся в том, что конкретизатором при *существовать* может выступать предикат любого типа в содержании его "левой" валентности; иными словами, здесь нет тех добавочных ограничений (например, по целенаправленности-нецеленаправленности действия, по абстрактности-конкретности соседнего существительного), которые имеются у глаголов *производить*, *происходить* и т.д. В частности, конкретизирующий предикат может быть выражен всем значением подлежащего – ср. *существует борьба идей* (= 'идеи борются'), или же обозначен каким-то компонентом значения подлежащего – ср. *колдуны* (= 'люди, способные колдовать') *не существуют* (= 'ни один человек не способен колдовать'), или значением определения к подлежащему – ср. *существуют яйцекладущие млекопитающие* (= 'некоторые млекопитающие откладывают яйца') и т.д.

Аналогичным образом, *быть* как связочный глагол содержит отсылку к предикату (признаку, действию), названному в именной части сказуемого: ср. *быть учителем* = 'учить'; в этом значении *быть* представляет собой более частный "синтаксический" вариант знаменательного бытийного глагола. Указательно-отсылочное значение характерно и для локативного *быть* ('находиться'): сам глагол сообщает лишь о существовании некоторого пространственного соотношения объектов, которое конкретно названо в адвербиальном окружении (ср. *быть внутри*, *быть рядом* и т.д.) и без которого семантема "быть" ('находиться') вообще не имеет содержания (ср. иные концепции семантики глагола *быть* в работах [Kahn 1966; Lyons 1964; Allan 1971; Sampson 1972]).

В целом глаголы *существовать*, *быть* (как и семантически сходные с ними "широкозначные" слова) выступают в качестве формальных "заместителей" некоторого неглагольного (по форме) предиката, служащих лишь для "оглаголивания" этого предиката. Аналогия с заместительными словами (местоимениями, глаголами типа английского *do*) вполне оправдана, поскольку основным компонентом в значении всех этих слов является указательная отсылка к содержанию другого слова в окружающем тексте.

Соответственно, "отсылочными" являются и значения существительных типа *действие* ('процесс'), *признак* ('свойство, качество'), *отношение* и т.д., которые служат для "субстантивации" некоторого предиката, названного в окружающем тексте: если в предложении *фонтан действует* глагол используется для того, чтобы представить скрытый предикат (типа 'испускать водяные струи') в "глагольной" форме, то в

словосочетании *действие фонтана* тот же предикат представлен в "субстантивной" форме. В целом понятия "признак", "качество", "свойство", "отношение", "действие" обозначают 'нечто предиктируемое предмету в логическом суждении (= в предложении)'. Таким образом, отсылка к **акту предиктирования** (= **акту речи**) есть непреломленный компонент содержания данных понятий, как и понятия "семантический (логический) субъект", обозначающего 'то, чему нечто предиктируется в высказывании'.

Рассмотрим значение "тождества", также относимое к элементарным. Если мы говорим, что некое А есть то же, что некое Б, это означает, что мы имеем дело не с двумя разными объектами, а с одним (в количественном смысле). Иными словами, выражение *А и Б тождественны* означает: 'если мы сложим объекты А и Б, то их суммой будет число "один"'. Действительно, говоря, что автор "Войны и мира" тот же, что и автор "Воскресения", мы имеем в виду, что в этих двух дескрипциях речь идет об одном, а не двух писателях. Из этого очевиден "метатекстовый" характер понятия "тождество" [Вежбицка 1978]: оно сообщает о том, что нечто одно (в количественном смысле) было в предшествующем тексте названо двумя разными способами, т.е. о том, что количество используемых в данном тексте номинаций больше единицы, тогда как количество референтов этих номинаций равно единице.

В математике понятия 'тождественно', 'равно', 'больше', 'меньше' вводятся аксиоматически, как известные из практики. На практике же такие соотношения выявляются через сложение величин, наложение отрезков друг на друга и т.д., то есть операционально, через действия субъекта с какими-то объектами. Из этого следует, что в глубинном содержании данных семантем (понятий) должно присутствовать (пусть и в скрытом виде) сообщение о существовании субъекта, производящего подобные операции. "Метатекстовый" же характер понятий типа "тождество" свидетельствует еще и о том, что в семантике таких слов скрыта отсылка к производимому в данный момент высказыванию, то есть к речевому акту и к говорящему.

Поскольку понятие "тождества" семантически сводимо к понятию "количества" ('один референт', 'более одного'), следует рассмотреть теперь содержание количественных семантем. Отметим, прежде всего, что количество объектов опять-таки можно установить только операционально, а именно – производя предиктирование какого-то одного и того же признака качественно разным объектам. Говоря, например, при счете *Сейчас на столе один карандаш, теперь – два* и т.д., мы повторно приписываем каким-то разным карандашам одинаковый набор признаков ('быть на столе в указанный момент'). Понятие "числа" как бы запечатлевает это повторение актов предиктирования, так что, когда мы говорим *На столе пять карандашей*, мы на самом деле не производим пятикратного вербального предиктирования указанных признаков: от этого нас избавляет само понятие "числа", ибо в нем как раз и содержится сообщение о той процедуре, которую нам пришлось бы действительно производить, если мы не стали пользоваться этим компактным знаком. Таким образом, понятие о количестве объектов есть в глубинном плане понятие о количестве актов **предиктирования** некоторого (одного и того же) признака некоторым (нетождественным в другом отношении) предметам.

Любопытно, что в ряде языков американских индейцев, по наблюдениям Б. Уорфа, "такое выражение, как *ten days* (десять дней) не употребляется. Эквивалентом ему служит выражение, указывающее на процесс счета" [Уорф 1960: 264]. В наших языках такой "операциональный" характер чисел непосредственно ощутим лишь в семантике порядковых числительных, однако он несомненно свойствен и количественным числительным; ср. описание понятия "числа" в математике: "свойства данного числа состоят в его отношениях к другим числам... Наличие таких свойств устанавливалось в процессе практического счета предметов" [Философская энциклопедия 1964]. Если теперь учесть, что "процесс счета" есть по своей лингвистической сути процесс повторного **предиктирования** предметам какого-то признака, то следует признать, что в содержании количественных семантем обязательно присутствует указание на наличие

акта предципирования, иначе говоря, – **речевого акта**, а, следовательно, и на наличие субъекта, производящего акт речи-мысли.

Понятия "тождества (различия)" и "количества", в свою очередь, лежат в основе наших представлений о пространстве и времени. Говоря, что некий объект А находится в некоторой точке Б, мы фактически говорим о совпадении (= тождестве) их местоположения. Значения 'близко к А', 'далеко от А', помимо компонента 'нетождественности с А' (т.е. понятия 'различия'), включают также компонент **количества** ('много или мало единиц измерения отделяют одну точку пространства от другой'). Поскольку семантемы "тождества" и "количества", как уже говорилось, включают в свое содержание указание на речевой акт, этот субъективный компонент, естественно, входит также и в содержание понятия 'пространственных отношений'. Временные отношения, в свою очередь, являются полным аналогом отношений пространственных, отличаясь лишь типом единиц измерения: 'одновременность' есть тождество точек на оси времени; 'предшествование' или 'следование' означают удаленность от некой общей точки отсчета (*А произошло раньше Б* означает, что А отделено от общей точки отсчета времени большим количеством единиц измерения времени, чем Б). Таким образом, не только грамматическая категория времени, но и общее понятие о времени, как и о пространстве, обязательно содержат "субъективный" семантический компонент – указательную отсылку к речевому акту и говорящему.

Итак, можно отметить некоторые общие особенности таких наиболее абстрактных семантем, как **время, пространство, существование, количество, качество (признак, свойство), тождество (различие), субъект, действие** и т.п. С одной стороны, есть основания относить эти значения к элементарным, поскольку, входя в качестве компонентов в значение более сложных значений, они сами не поддаются разложению на какие-то более простые компоненты. С другой стороны, однако, "элементарные" значения отнюдь не являются "первичными" смысловыми единицами, а, напротив, как бы **производны** от более конкретных семантем, поскольку возникают как обобщение последних за счет включения отсылки к содержанию слов-конкретизаторов в каком-то реальном тексте.

Важно отметить, что обобщенность данных понятий всегда сочетается с наличием в их содержании указания на конкретный **речевой акт**, что превращает их в единицы **прагматические (дейктические)**, – причем под этим следует иметь в виду не просто ситуативную "привязку" к говорящему субъекту и к акту его речи, но и непосредственное включение в значение таких единиц свернутого сообщения о происходящем рече-мыслительном акте. В этом отношении категория "элементарных" значений сближается с категорией значений грамматических. В целом, по-видимому, можно полагать, что, чем больше вес "указательного" компонента в значении слова, тем ближе это значение к грамматическому.

Если говорить об описанных выше абстрактных понятиях как о философских категориях, то следует отметить, что они не являются чисто объективным отражением реальных свойств мира, а постоянно включают **субъективный элемент** – указание на говорящего (= мыслящего субъекта) и на акт его речи (= мысли). По-видимому, в процессе познания окружающего мира человек никогда не может "отвлечься" от самого себя: он всегда ставит себя в центр этого процесса, непроизвольно делая себя "мерой всех вещей", им познаваемых, – и неустанно "напоминает" об этом самым содержанием создаваемых им понятий.

Если далее учесть, что "указание на говорящего" представляет собой свернутое пресуппозитивное утверждение о **существовании говорящего**, то нельзя не сделать вывода о том, что, строя в процессе познания какие-либо суждения об окружающем мире, человек обязательно исходит прежде всего из признания своего собственного существования: он выражает это непосредственно в пресуппозитивном "прагматическом" компоненте используемых им семантем (понятий) – даже таких отвлеченных, как понятия об универсальных свойствах мира, существующего вне (и независимо от) познающего субъекта.

Как видим, чисто лингвистический анализ "субъективного" компонента языковых знаков неизбежно приводит исследователя к проблемам гносеологии. Представляется интересным в этом отношении проанализировать попытку Декарта вывести объективное существование мира из факта существования мышления. В языковом плане силлогизм *Я мыслю, следовательно, я существую* явно тавтологичен, поскольку его первая часть уже содержит presupпозицию существования говорящего. Действительно, поскольку "я" означает 'тот человек, который сейчас нечто произносит', нетрудно видеть, что в семантику этого местоимения уже включена presupпозиция 'некто произносит нечто в данный момент', то есть presupпозитивное утверждение о существовании говорящего, его акта речи, момента времени и места, которые характеризуют процесс речи. Ввиду этого вторая часть силлогизма представляет собой не вывод, а просто экспликацию скрыто выраженной в посылке presupпозиции существования "я".

Подчеркнем, что возникновение такой логической (точнее, лингво-логической) ошибки в данном силлогизме не связано с какими-то особенностями именно местоимения "я". В частности, предложение типа *Петр ушел в кино* также включает presupпозицию существования субъекта действия: "Петр" означает 'тот человек, которого окружающие зовут Петром', последнее же выражение, в свою очередь, опирается на принятое за истину утверждение о существовании некоторого человека с данным именем. Более того, указанное явление не связано и с такой особенностью, как грамматическая определенность существительного. Действительно, и в высказывание *Некоторые коровы бодливы*, и даже в обобщенную сентенцию типа *Коровы травоядны* мы несомненно включаем presupпозицию существования того класса объектов, которому далее в высказывании нечто предсказывается. Как известно, еще Сократ (в диалоге "Теэтет") утверждал, что о несуществующем нельзя иметь ни истинного, ни ложного мнения (т.е. нельзя строить какие-либо суждения). Это означает, говоря более современным языком, обязательное присутствие в любом нашем высказывании presupпозиции существования того объекта (явления), которому мы нечто предсказываем.

Обратим теперь внимание на то, что всякая presupпозиция существования какого-либо явления или объекта включает в себя компонент 'говорящий считает истинным, что...'. Таким образом, отсылка к говорящему есть обязательный компонент любого нашего высказывания, поскольку в нем всегда есть какая-то presupпозитивная часть. Если теперь вспомнить из сказанного выше, что та же отсылка обязательно входит и в содержание скрытой модальной рамки всякого высказывания ("я утверждаю", "я спрашиваю" и т.д.), а также всевозможных грамматических категорий, используемых в предложении, то нельзя не поразиться тому, до какой степени любое наше высказывание "напичкано" упоминаниями о говорящем субъекте.

По-видимому, это связано с тем, что человек может описывать – то есть познавать – окружающий его мир, лишь предварительно выделив себя из этого мира, опираясь на противопоставление "Я" всему, что "не есть Я", и при этом обязательно исходя из признания существования как самого себя, так и мира, из которого он себя выделяет и частью которого он себя представляет. Таково, очевидно, само устройство мышления и языка: любой рече-мыслительный акт всегда "априорно" предполагает признание существования мира и при этом обязательно сообщает о наличии акта отражения мира субъектом, то есть о наличии речевого акта. Эта особенность нашего мышления (грубо говоря, неперменная его предпосылка типа "мир есть лишь постольку, поскольку в нем есть тот, кто о нем размышляет и говорит"), очевидно, и обуславливает те бесконечные "напоминания" о говорящем и его акте речи-мысли, то есть тот субъективный компонент, который входит в содержание всего, что мы говорим и о чем думаем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995 – Лексическая семантика. М., 1995.
Балли Ш. 1955 – Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
Бенвенист Э. 1974 – Общая лингвистика. Гл. 28. М., 1974.

- Бюлер К.** 1993 – Теория языка. Гл. 2. М., 1993.
- Вежицка А.** 1978 – Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978.
- Гуревич В.В.** 1988 – Семантическая производность в грамматике. М., 1988.
- Гуревич В.В.** 1994 – Семантическое противопоставление глагола и существительного // Языковая личность: проблемы значения и смысла. Волгоград, 1994.
- Мельчук И.А.** 1995 – Русский язык в модели "смысл – текст". Москва; Вена, 1995.
- Падучева Е.В., Крылов С.А.** 1984 – Дейксис: общетеоретические и прагматические аспекты // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М., 1984.
- Пауль Г.** 1960 – Принципы истории языка. М., 1960.
- Уорф Б.Л.** 1960 – Отношение норм поведения и мышления к языку // История языкознания 19 и 20 веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1960.
- Шендельс Е.И.** 1959 – Отрицание как лингвистическое понятие // Уч. зап. 1 МГПИИЯ. Т. 19. М., 1959.
- Allan K.** 1971 – A note on the source of "there" in existential sentences // Foundations of language. 1971. № 7.
- Fillmore Ch.** 1969 – Types of lexical information // Studies in syntax and semantics (Ed. F. Kiefer). V. 10. Dordrecht, 1969.
- Kahn Ch.** 1966 – The Greek verb "to be" and the concept of being // International Journal of language and philosophy. V. 3. № 2. 1966.
- Lyons J** 1964 – A note on the possessive, existential and locative sentences // Foundations of language. 1964. № 4.
- Sampson G.** 1972 – There-1, There-2 // Journal of linguistics. 1972. V. 8. № 1.
- Wierzbicka A.** 1972 – Semantic primitives. Frankfurt, 1972.

© 1998 г.

А.В. ЦИММЕРЛИНГ

ДРЕВНЕИСЛАНДСКИЕ ПРЕДИКАТИВЫ И ГИПОТЕЗА О КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ

В настоящей работе впервые описывается разряд предикатных слов древнеисландского языка, типологически близких к так называемым словам категории состояния в русском языке. Поскольку данная параллель ранее никогда не обсуждалась ни германистами, ни славистами, представляется полезным рассмотреть ход дискуссии о словах категории состояния в русистике и оценить аргументы сторон в свете новых фактов¹.

Около 70 лет назад Л.В. Щерба в своей знаменитой работе "О частях речи в русском языке" выдвинул гипотезу о том, что неизменяемые именные предикаты получают в русском языке статус особой части речи, названной им "категорией состояния" (далее – КС) [Щерба 1974: 90]. При этом Щерба исходил из того, что слова КС выражают в присвяточной позиции иное значение, нежели полные формы прилагательных и существительных в имен.п., и приводил тройки типа *он веселится* (действие) / *он веселый* (качество) / *ему весело* (состояние). Это дает основание считать его работу первым опытом семантической классификации предикатов в русской лингвистике [ср. Селиверстова 1982: 88].

Работа Л.В. Щербы носила полемический характер и была направлена против традиционной морфологической классификации частей речи. Неудивительно, что гипотеза о КС вызвала неоднозначную реакцию русистов. Часть лингвистов и научных школ отнеслась к ней с воодушевлением, у других она вызвала резкое неприятие. Полемика велась большей частью заочно, порой выплескиваясь на страницы периодических изданий, как в 1954–1955 гг. см. (материалы дискуссии о частях речи 28–30 июня 1954 г. [Гаджиева, Иванчикова 1955]); её логическим продолжением явились публикации А.Б. Шапиро, Н.С. Поспелова и А.В. Исаченко на страницах журнала "Вопросы языкознания" (далее – ВЯ) [Шапиро 1955; Поспелов 1955; Исаченко 1955]. Дискуссия выявила не только возможность альтернативных подходов, но и неоднородность самого объекта изучения, лежащего на пересечении словообразования, синтаксиса и лексической семантики.

Сам Л.В. Щерба и принявший его концепцию В.В. Виноградов считали КС новой частью речи [Щерба 1974: 90; Виноградов 1947: 421]. Вместе с тем они признавали ее синтаксические истоки и подчеркивали относительно открытый характер. В их интерпретации КС является чем-то вроде функционально-семантического поля, ядро которого образуют формы типа *надо*, *жаль*, а периферию – словоформы, принадлежащие парадигмам склонения – творительный предикативный (*он держался молодцом*) и краткие прилагательные (*он был доволен*), ср. также [Гард 1985: 213; Исаченко 1955: 63–64].

Критики Л.В. Щербы доказывали, что отсутствие согласования не является самостоятельным морфологическим признаком, и что части речи необходимо определять на основе их первичных синтаксических функций; предикативное же употребление есть

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке фонда "Культурная инициатива", грант CEU 17494. Автор выражает благодарность О.А. Смирницкой, Г.Е. Крейдлину, Йоуну Фрийдунссону, Халльдору Аурману Сигурдссону и Хансу Роберту Мелигу, взявшим на себя труд ознакомиться с фрагментами данного исследования и сделавшим автору ценные замечания.

вторичная функция, присущая в русском языке всем частям речи, кроме личного глагола [Шапиро 1955: 49], ср. также [Апресян 1985: 305]. Крайнюю позицию занял А.Б. Шапиро, который на страницах журнала ВЯ утверждал, что учение Л.В. Щербы ложно потому, что оно смешивает понятия члена предложения и части речи [Шапиро 1955: 52], традиционная морфологическая классификация адекватно отражает положение продуктивных классов слов в русском языке; для КС или "предикативных наречий" в ней нет места [там же: 53]; изолированные формы типа *жаль, надо* не следует подводить под определенную часть речи вообще, они остаются вне категорий [там же: 54]; здесь А.Б. Шапиро обратил против Л.В. Щербы собственный аргумент последнего – ср. [Щерба 1974: 91].

С А.Б. Шапиро полемизировали Н.С. Поспелов и А.В. Исаченко. По их мнению, нарушение соответствия между морфологическим типом и первичными функциями слова в предложении является специфической чертой грамматического строя: элементы именного происхождения, специализируясь в функции сказуемого, якобы приобретают в русском языке глагольные категории (время, лицо, наклонение) [Виноградов 1947: 407; Исаченко 1955: 61; Поспелов 1955: 57]. Вслед за В.В. Виноградовым Н.С. Поспелов и А.В. Исаченко интерпретируют формы КС как аналитические слова, возникающие в результате сокращения именного предиката с формой служебного глагола "быть" [Виноградов 1947: 415; Исаченко 1955: 62; Поспелов 1955: 57]. По их утверждению, становление КС непосредственно связано с расщеплением глагола "быть" на полнозначное и служебное слова и, соответственно, с размежеванием глагольного и связочного предложений. А.В. Исаченко оценивает подобный процесс как инновацию, осуществившуюся в ходе индивидуальной истории русского языка и составляющую его типологическое своеобразие [Исаченко 1955: 62, 65].

Обращение к соображениям типологии, как не преминули отметить оппоненты Щербы [Шапиро 1955: 53], свидетельствует о слабости аргументов в пользу выделения КС на синхронном уровне. Вместе с тем, полемическая установка на отрицание всякой грамматической общности у слов, подводимых под КС, тоже сопряжена с упрощением фактов. Застывшие падежные формы типа *жаль, пора*, как справедливо подчеркнул Н.С. Поспелов, участвуют в тех же безличных конструкциях, устойчивое воспроизводство которых обусловлено продуктивным разрядом на *-о*: *мне жаль ~ мне жалко* [Поспелов 1955: 64]. Тем самым Н.С. Поспелов парирует еще один упрек А.Б. Шапиро – в том, что "известная близость" значений ряда аналитических сказуемых является фактом словаря, а не грамматики [Шапиро 1955: 53]. Значение "состояния" диктуется семантикой безличной конструкции, а воспроизводство последней обусловлено проективной группой слов. Что касается производных форм на *-о*, то их синтаксическое поведение (в том числе способность выступать в роли безличного сказуемого) регулируется в русском языке рядом формальных и семантических ограничений. Любопытно, что этого не отрицал и А.Б. Шапиро, указавший, что предикативные формы на *-о* коррелируют с парадигмами кратких прилагательных, в отличие от наречий образа действия: *мне смешно / смешон, смешн-а, смешн-о, смешн-ы; *мне медленно, *мне часто: *медленен, *частен* [Шапиро 1955: 53]. Достаточно очевидно также, что в русском языке безличный предикатив можно образовать не от всякой основы качественного прилагательного, ср. **мне упитанно, *мне алогично, *мне жестоко*, что делает поиски семантического инварианта вполне законной лингвистической задачей.

Высказанные замечания ни в коей мере не реабилитируют концепцию КС как части речи. Дополнительные доводы в пользу обратного, которые приводят Н.С. Поспелов и А.В. Исаченко, это ощущение только усиливают. Н.С. Поспелов ограничивает КС безлично-предикативными формами. Но тогда становится ясным, что особая часть речи постулируется лишь для того, чтобы оправдать значение синтаксической позиции. Сообразно своей концепции Н.С. Поспелов вынужден считать даже предикативные формы на *-о* разными словами, когда они выступают в личном и в безличном

предложения: 1) *мне скучно, интересно*, 2) *Мне интересно, что Р*, где придаточное, по его мнению, играет роль подлежащего [Поспелов 1955: 62, 64]: первое *интересно* – КС, второе – обычное краткое прилагательное. Даже если Н.С. Поспелов прав, проведенное им различие носит формально-синтаксический характер и вряд ли может быть подкреплено семантически, чего требует выделение особой части речи.

В свою очередь, А.В. Исаченко, включая в состав КС разнородные несогласуемые предикаты, реализующиеся в личном предложении (краткие прилагательные типа *рад*, *горазд* и т.д.), согласен считать КС, в его терминологии – "предикативом"², вообще любой элемент, форма которого обусловлена предикативной функцией [Исаченко, 1955: 64]. Но в этом случае ясно, что он определяет категориальную принадлежность слова к части речи для каждой словоформы отдельно. Если бы А.В. Исаченко был последователен, он должен был бы считать формы *рад*, *рада* разными словами, на равных основаниях подводимыми под КС, но вместо этого он объявляет формы согласования "пережитками" прежних категорий.

Расхождения Н.С. Поспелова с А.В. Исаченко вызваны тем, что они разрабатывают разные аспекты гипотезы Щербы, первый – семантический, второй – функциональный. Примечательно, тем не менее, что логика рассуждений приводит Н.С. Поспелова к чисто синтаксическому критерию, а А.В. Исаченко, исходящий из примата синтаксической функции, вынужден обосновывать процесс расщепления на омонимы появлением у "предикативов" новых значений, дабы объяснить вовлечение отдельных словоформ полных прилагательных и существительных в сферу "предикатива": *на правду черт, не молоденький сердце трепать* [Исаченко 1955: 63].

Гипотеза Щербы обсуждалась также в ряде работ по лексической и синтаксической семантике, ср. [Золотова 1982; Гард 1985; Булыгина 1982; Селиверстова 1982]. Исследования последних десятилетий выявили неоднородность форм, подводимых сторонниками Щербы под общий предикатный тип [Булыгина 1982: 30–33; Селиверстова 1982: 131; Золотова 1982: 279–280]. В то же время ядро этих форм – предикативы с финалью *-о*, в основном принадлежит типу, описанному под рубрикой "состояния" (states) З. Вендлером, Дж. Лайонзом, У. Чейфом и Б. Комри [Vendler 1967: 99, 103; Comrie 1976: 49; Lyons 1977: 483]. По мнению О.Н. Селиверстовой, значение "состояния", определенное Л.В. Щербой интуитивно, подтверждается тестами на сочетаемость – как известно, данный метод также был впервые предложен Л.В. Щербой под названием "лингвистического эксперимента" [Щерба 1974: 31–33].

В 1980-е гг. с критикой концепции КС выступил Ю.Д. Апресян, который показал, что многие аргументы последователей Л.В. Щербы не только недостаточны для постулирования особой части речи, но и логически противоречивы. По мнению Ю.Д. Апресяна, тезис об обретении русскими предикативами категорий лица, времени, вида и глагольной сочетаемости не имеет почвы [Апресян 1985: 306]. Семантические различия между предикативами и наречиями не выходят за рамки регулярной многозначности и не создают омонимии [Апресян 1985: 307]; коррелятивные формы на *-о* в парах типа *Ему было весело / он весело шел к дому*, по мнению автора, являются

² Термин "предикатив" принадлежит европейской грамматической традиции: из русистов его используют, помимо А.В. Исаченко, также А.А. Зализняк и П. Гард [Гард 1985: 211]. Спор о правильном названии форм, подводимых сторонниками Л.В. Щербы под КС, – "предикативные наречия" vs "краткие прилагательные" имеет концептуальную основу – ср. полемику В.В. Виноградова с А.А. Шахматовым [Виноградов 1947: 414] и А.М. Пешковским [Виноградов 1947: 407–412], также [Георгиева 1969: 81, 87; Ходова 1980: 271; Zatorčuk 1965: 26] – однако его подробное обсуждение увело бы в сторону от темы нашей статьи.

Термин "предикатив" имеет то преимущество, что он менее отягощен филологическими разногласиями. Мы будем использовать его в настоящей статье в качестве рабочего обозначения неизменяемых слов, употребление которых ограничено функцией именного члена составного сказуемого. Отдельные расхождения в трактовке термина "предикатив" между славистикой и германистикой будут оговорены ниже.

двумя реализациями одной и той же лексемы [Апресян 1985: 305]. Проблемы семантического описания предикативных форм могут быть решены без обращения к гипотезе о КС: у этой гипотетической части речи нет не только общего формального признака³, но и ни одного канонического представителя [Апресян 1985: 307].

Материал русского языка побуждает высказать еще два соображения в развитие критики Ю.Д. Апресяна.

1) Неадекватные утверждения последователей Щербы о том, что формы КС якобы приобретают в русском языке глагольные категории, служат ширмой для идеи о том, что глагольные предикаты и формы КС обладают общим предикатным признаком, который в работах последних лет принято называть значением "локализованности денотативной ситуации во времени" [Селиверстова 1982: 97, 121]. Любая иная интерпретация несовместима с исходной гипотезой о семантической оппозиции глагольных предикатов "действия" неглагольных предикатам "состояния", составляющей наиболее ценный аспект концепции Щербы⁴.

2) Странники гипотезы о КС напрасно сделали упор на семантические сдвиги, отделяющие слова КС от однокоренных прилагательных и наречий. Очевидно, что случаи типа *жирный творог: жирно ему ехать в командировку* составляют абсолютное меньшинство от общего числа примеров образования безличных предикативов на *-о*. Семантическим различиям между предикативами и наречиями образа действия обе стороны в полемике придавали едва ли не решающее значение при оценке однородности КС в плане содержания, ср., с одной стороны [Грамматика 1980: 705⁵; Золотова 1982: 278], с другой – [Апресян 1985: 305]. Представляется, что вопрос о наличии у предикативов на *-о* инвариантного значения должен ставиться прежде всего в связи с лексико-семантическими ограничениями на их образование, для чего необходимо изучать соотношение основ кратких прилагательных и безличных трансформаций с предикативом на *-о*; напротив, проблема тождества словарного значения присвязочных и приглагольных форм на *-о* в парах типа *ему было весело / он весело шел к дому*, равно как и само наличие у предикативов парных наречий образа действия⁶, не имеют к данному вопросу прямого отношения.

Как это ни странно, полное семантическое описание русских предикативов отсутствует по сей день; недавно вышедший словарь [Красных 1993] неполон и носит скорее прикладной, нежели теоретический характер. Для определения словообразовательной специфики форм на *-о* существенно, с одной стороны, соотношение дескриптивного и оценочного компонентов в их семантике⁷, с другой – наличие трансформаций, соединяющих реализации предикативов с другими конструкциями с инактивным

³ На данное обстоятельство обращали внимание все критики Щербы, ср. [Шапиро 1955: 52].

⁴ Уместно сделать оговорку, что гипотеза Щербы лишь предсказывает наличие пар типа *X грустно/X-у грустно*, для которых указанное соотношение сохраняет силу, но не побуждает а priori объявлять любой глагол предикатом "действия", и vice versa любой предикат состояния формой КС. Авторитетная научная традиция, берущая начало в работах Э. Вендлера, описывает многие глагольные значения как "статальные", ср. [Падучева 1996: 107]. Нередко утверждают также, что значение состояния присуще отдельным существительным [Апресян 1985: 306]. Проверка подобных положений требует уточнения таксономических признаков предикатов состояния на материале языков разного типа, что выходит за рамки нашего исследования.

⁵ Автором данного раздела Грамматики 1980 является В.А. Плотникова.

⁶ Ср. дефектные пары *Он стыдливо (*стыдно) потупился; ему стало стыдно (*стыдливо)*, где именная основа специализируется в приглагольной и в присвязочной позициях разным набором морфем [Апресян 1987: 50], либо субморфем (местом ударения) как в примерах типа *вольнó ему фороыбачить vs он ведет себя слишком вольно* [Пешковский 1938: 328]. Уже А.М. Пешковскому, у которого мы заимствовали последний пример, было ясно, что подобная стратегия носит маргинальный характер и не распространяется на большое число лексем [Пешковский 1938: 159–160].

⁷ Важные идеи в этом направлении содержатся в трудах Г.А. Золотовой и Н.Д. Арутюновой [Золотова 1982: 276; Арутюнова 1988: 190, 193, 223–224, 253].

субъектом⁸. Семантический аппарат описания форм на *-o* предлагается в наших работах [Циммерлинг 1996; 1997].

Попытки обнаружить КС в других языках⁹ вызвали значительно меньше споров. Высказывалось мнение, что численный состав слов, подводимых под КС, резко возрос за последние 150–200 лет [Zatovkaňuk 1997: 90]. В то же время, обращение к древнейшим славянским памятникам позволило выявить компактный разряд именных форм (35–40 слов), полностью или частично специализированных в функции сказуемого [Исаченко 1955: 57–62; Ходова 1980: 238]. Морфологическое описание старославянских предикативов содержится в статье В.Л. Георгиевой, а семантическое – в книге К.И. Ходовой [Георгиева 1969: 81–88; Ходова 1980: 240–254]; данные древнерусского языка обсуждаются в упомянутой выше работе А.В. Исаченко. Все эти авторы делают оговорку, что в данных языках КС еще не сложилась, несклоняемые именные предикаты с качественным значением лишены общего формального признака, а их реализации не выделяются на фоне стандартных связочных конструкций с прилагательными и причастиями. Неизменяемые предикативы строятся по нескольким продуктивным типам; вместе с тем, ни в какую эпоху не обнаруживается морфологического разряда, целиком специализированного на производстве предикативных форм. Так, В.Л. Георгиева отмечает, что в старославянском многие слова, специализированные в функции сказуемого, принадлежат к разряду с финалью *-o* [Георгиева 1969: 82], а наречия строятся в основном при помощи суффикса *-ѣ*, однако имеются как предикативы на *-ѣ*, так и, напротив, наречия на *-o* [Георгиева 1969: 86]. Большинство старославянских предикативов тяготеет к безличному предложению, однако отмечено и их употребление в двусоставном предложении [Ходова 1980: 274].

И сторонники, и противники КС были убеждены, что обособление ряда словоформ в функции сказуемого – особенность русской, в крайнем случае – славянской морфологии, а А.В. Исаченко прямо связал становление группировки “предикативов” с развитием бессвязочного предложения [Исаченко 1955: 62, 65]. Правда, Б.А. Ильиш [Ильиш 1948; 1951] распространил концепцию Л.В. Щербы на современный английский и немецкий языки; однако здесь у предикативных слов меньше, нежели в русском языке; формальных признаков, отличающих их от субстантивных и адъективных словоформ в составе именного сказуемого. К тому же перспектива обосновать общность значения для приводимых Б.А. Ильишом высказываний типа англ. *I am afraid* “я испуган”, *I am cold* “мне холодно” или нем. *mir ist schwül* “мне душно”, *er ist auf dem Wege* “он на подходе”, выглядит довольно туманной¹⁰. Тем более важно указать на факты истории скандинавских языков, которые позволяют не только констатировать близкую параллель к славянскому материалу, но даже проследить этапы ста-

⁸ Среди последних заслуживают особого внимания конструкция с безличным глаголом и семантическим субъектом в дат./вин.п., возвратная конструкция и конструкция с посессивным расширителем *у +* род.п. (тип *у меня есть подозрение*). Как известно, существуют ограничения на образование производных слов с аффиктивной семантикой, формирующих данные структуры. Ср.:

$N_{\text{dat}} - \text{Pred}_o$ $V_{\text{imp}} - N_{\text{acc/dal}}$ $(N_{\text{nom}} - V_{\text{ref}})$

**мне гневно: меня трясет от гнева: я весь тряусь от гнева*

**мне злобно: меня раздрает от злости: я злось*

мне любопытно: меня раздрает любопытство / от любопытства

Дистрибуция моделей $N_{\text{dat}} - \text{Pred}_o$ и $V_{\text{imp}} - N_{\text{acc/dal}}$ в литературном русском языке указывает на семантический запрет: не дают трансформы с безличным предикативом прилагательные, обозначающие активные свойства субъекта: **мне бешено, злобно, буйно, гневно* и т.д. В этом случае избирается глагольная модель: *меня бесит, злит, раздражает, что Р*. Другие синтаксические тесты обсуждаются в нашей работе [Циммерлинг 1996], где приводится классификация русских предикативов с финалью *-o*

⁹ Почти все работы в этом направлении принадлежат отечественным лингвистам; среди немногих исключений ср. [Zatovkaňuk 1965; Mirovic 1974].

¹⁰ Показательно, что к введению КС в описание германских языков скептически отнеслись такие видные ученые, как А.И. Смирницкий и М.И. Стеблин-Каменский [Смирницкий 1959: 83; Стеблин-Каменский 1954: 157], в других случаях нередко выступавшие как оппоненты.

новления разряда слов, близкого к выделенному Л.В. Щербой классу. Как ни удивительно, данные факты вообще не попали в поле зрения отечественных и зарубежных германистов.

Описания древнескандинавского синтаксиса опираются, в основном на материал западноскандинавских диалектов, в первую очередь, на материал древнеисландского языка. Древнеисландский считается консервативным диалектом, почти не испытывавшим инноваций в сфере морфологии и синтаксиса [Haugen 1984: 256]. Хотя такая оценка представляется преувеличенной, интерес к древнеисландскому синтаксису вполне оправдан ввиду обилия памятников оригинального жанра, дающих богатую картину языкового узуса.

Материалом нашего исследования послужили тексты древнеисландских саг, записанных в XIII–XV вв. Язык саг издавна привлекает внимание специалистов по историческому синтаксису, так как сага сложилась как нарративный жанр еще в дописьменную эпоху и в той или иной мере сохраняет черты устного рассказа [Стеблин-Каменский 1984: 45, 51].

Древнеисландский является флективным языком с развитой системой согласовательной морфологии. В системе имени и местоимения различаются три рода и четыре падежа – имен., род., дат., вин.; в парадигмах имени и глагола различается ед. и мн.ч., у личных местоимений имеется также двойственное число. Глагольные окончания передают граммы лица, числа, времени и наклонения. Имеются две серии прилагательных – т.н. сильные (предикативные) и т.н. слабые, используемые в атрибутивной функции и обычно употребляющиеся вместе с определенным артиклем; большинство прилагательных может иметь окончания обеих серий. Производные качественные наречия строятся как при помощи суффиксации, так и на основе застывших форм косвенных падежей; весьма продуктивным является использование формы имен.-вин. п. ср.р. сильных прилагательных в качестве наречного модификатора глагола. Как и в других германских языках, в древнеисландском нет специального предикативного падежа: именной компонент составного сказуемого может стоять во всех четырех падежах – выбор падежа определяется синтаксической конструкцией и валентными свойствами глагола.

Большую роль играют аналитические конструкции с неличными формами глагола – перфект с глаголом *hafa* “иметь”, пассив с согласуемым причастием прош. вр. и т.д., а также аналитические сочетания с инфинитивом и супином¹¹, выражающие модальные и аспектуальные значения. В связи с этим можно выделять несколько полузнаменательных глаголов (связок) с различной степенью грамматикализации¹². Широко распространены безличные высказывания, которые строятся по разным типам. Согласование может нарушаться как в безличной, так и в двусоставной конструкции, ср. *Skarphedinn var vel til Atla* (ÍF XII, 96), букв. “С. был хорошо к Атлу”, *eigi ertu ok föðurliga við hann*, букв. “не есть ты по-отечески к нему” [Heusler 1913: 145]. Связочные конструкции с нарушением согласования отличаются высокой продуктивностью;

¹¹ Термин “супин”, заимствованный из классической филологии, имеет неоднозначное применение в грамматиках новых европейских языков. В соответствии с терминологическим уточнением, предложенным в работах М.М. Гухман и О.А. Смирницкой [Смирницкая 1977: 42] мы называем “супином” в древних германских языках несогласуемую форму причастия прош. вр., независимо от парадигматического статуса сочетаний, где она представлена. В шведской грамматической традиции супином принято называть компонент аналитической формы перфекта. В исторической грамматике славянских языков термин “супин”, как известно, применяется для обозначения целевого инфинитива с показателем -ть.

¹² Преимущественно с инфинитивом сочетаются *vilja* “хотеть”, *skulu* “долженствовать”, *mega* “мочь”, *kunna* “уметь”, *munu* “быть вероятным”, валентность и на инфинитив и на супин из числа интранзитивных глаголов имеют *vera* “быть”, *verða*, *gerðask* “становиться”, иметь тенденцию произойти”, из числа транзитивных – *hafa* “иметь”, *eiga* “обладать, причитаться”, *fá* “получать”, *geta* “начинать, приступать”, *lata* “допускать”, “достигать”, *gera* “делать”, *ráða* “решать”, *veita* “оказывать”, *vinna* “преодолевать”, с супином сочетаются транзитивные глаголы *orka* “действовать”, *duga* “быть в состоянии”.

на них ориентированы большие классы словоформ. Прежде всего это формы ср.р. ед.ч. сильного и слабого склонения прилагательных ср. *líkligt* "вероятно", *illa* "злобно".

Наибольшее морфологическое разнообразие присвязочных форм наблюдается в дативно-безличном предложении. Последнее имеет трехчастную структуру: СЕМАНТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ в ДАТ.П. – ГЛАГОЛ-СВЯЗКА–ПРЕДИКАТИВНЫЙ ЧЛЕН. В позиции связки выступают прежде всего *vera* "быть", *verða* "становиться" и глаголы со значением "казаться" – *þykkja*, *sýnask*, *virðask*, *lítask*. Позиция после связки помимо форм ср.р. сильных и слабых прилагательных может замещаться словами следующих типов:

1) супином (несогласуемой формой причастия прош. вр.):

var þeim þar vel fagnat (Hkr III, 292), букв. "было им там обрадовано", *því at mér er nær höggvít*, букв. "ибо мне близко порублено" (ÍF VI, 130), *þó at þrængt verði kosti þínum* (ÍF XI, 16), букв. "хотя бы стеснено станет твоей доле"; *þpokkat* букв. *"отвращено", ср. *Lofti var mjök þpokkat at þeira gems* (HS 11) "Люфту было весьма отвращено от их насмешек";

2) неизменяемыми (старыми) наречиями: *vel* "хорошо", *illa* "плохо", *mjök* "много";

3) формами степеней сравнения: *líkast* "ближе всего к истине" (ÍF VI: 331), *hjálpvænligra* "большие надежды на помощь" (HS 10);

4) формами имен п.¹³ существительных абстрактной семантики, так называемых имен аффекта: *ráð* "умысел, смысл", *ván* "надежда", *grunn* "подозрение";

5) формами причастий наст. вр. Ср. *þér er ósitjanda* букв. "тебе есть несидяще" = тебе негоже сидеть (слова руки).

Все словоформы, занимающие постфинитную позицию в дативном предложении могут формировать высказывания без семантического субъекта: *mér er kalt* "мне холодно", *er kalt* "холодно". Обратное не всегда имеет место. Иногда переход от бес-субъектной схемы к дативной обусловлен заменой связочных глаголов, так, высказывания *er líkligt* "вероятно", *er hörmuligt* "прискорбно" при добавлении позиции семантического субъекта в дат.п. требуют связки "казаться" → *honum þykkir líkligt / hörmuligt* букв. "ему кажется вероятно / прискорбно". В то же время в ряде контекстов безличные высказывания с "быть" и "казаться" формально не противопоставлены [Смирницкая 1972: 79]; характерной особенностью древнескандинавского языка, отличающей его не только от русского, но и от родственных древнескандинавских диалектов, является допустимость высказываний со связкой "казаться", не распространенных придаточным или инфинитивным оборотом, ср.: *þorgils svarar: "þá þykkir mínum föður illa"* (A 7-11) «Т. отвечает: "тогда моему отцу покажется плохо"»¹⁴.

Замечательной особенностью древнескандинавского синтаксиса является возможность реализовать большинство предикативных словоформ, выступающих в дативном предложении, в двусоставной конструкции. В функции "транзитивных связок" выступают все перечисленные выше в прим. 11 транзитивные глаголы, способные вводить несогласуемую форму причастия прош. вр. (супин), а также глаголы знания, мышления,

¹³ В двух случаях в роли предикатива в дативном предложении выступают застывшие формы род.п. существительных *svefn* "сон", *draumr* "сновидение" – *svefns* "X пребывает в состоянии сна", *draums* "X видит сновидение". Предикативные формы род.п. других существительных реализуются в двусоставном предложении, ср. *hann* (имен.п.) *er lífs/dauda* "X находится в состоянии жизни/смерти".

¹⁴ Данный феномен можно объяснить, отталкиваясь от структуры древнескандинавского текста. Предикация эпистемической модальности противопоставляется здесь предикации состояния в основном при помощи употребления придаточного с союзом "что" (др.-исл. *at*), ср. *mér þykkir/er vel – illa – ráðligt at P* "мне кажется/есть ~ хорошо ~ плохо ~ разумно, что P". Однако в языке древнескандинавской прозы, как убедительно показал еще Андреас Хойслер [Neusler 1913: 187–202], основной синтаксической единицей является не элементарное предложение, а сверхфразовое единство (период речи), поэтому заполнение валентности на придаточное в большинстве случаев оказывается избыточным.

говорения и восприятия¹⁵. Таким образом, полная парадигма связочных конструкций, где возможны несогласуемые предикативные словоформы, имеет следующий вид:

$N_{\text{dat}}-[V_{\text{link}}-\text{Pred}]$	$\#[V_{\text{link intrans}}-\text{Pred}]$	$N_{\text{non}}-[V_{\text{fin trans}}-\text{Pred}]^{16}$
<i>mér er sagt</i> "мне сказано"	<i>er sagt</i> "сказано"	<i>hann heyrir sagt</i> букв. "он слышит сказано"
<i>mér þykkir kunnigt</i> букв. "мне кажется известно"	<i>er kunnigt</i> "известно"	<i>hann gerir kunnigt</i> "букв". "он делает известно"

Проведенное нами исследование языка древнеисландской прозы показало, что в указанных позициях реализуются не только застывшие формы именного словоизменения и супин, но и значительное число слов, специализированных в предикативной функции¹⁷. Все такие слова в соответствии с принятым в германистике термином мы будем далее именовать "предикативами". Использует термин "предикатив" и А.В. Исаченко [Исаченко 1955: 49]. Следует отметить, что употребление термина А.В. Исаченко не совпадает с его обычным использованием в европейской традиции, так как германисты, говоря о предикативе, имеют в виду прежде всего синтаксический элемент, а не слово, как словарную единицу, ср. [Nygaard 1906: 5–6; Diderichsen 1976: 175].

На первом этапе исследования методом сплошной выборки изучались тексты полного собрания родовых саг (включая т.н. пряди). Анализ показал, что финали древнеисландских предикативов омонимичны показателям согласования. Этот факт серьезно затрудняет обработку данных: большинство словарей помещает предикативы в парадигмы прилагательных и существительных, приводя фиктивные формы имен.п. м.р. Единственным словарем, снабжающим предикативы специальной пометой, является словарь В. Бэтке, где данные слова имеют пометы типа "прил. ср.р.", "наречия", "неизменяемые прилагательные" [Baetke 1965]. В ходе проверки были обнаружены отдельные расхождения с данными Бэтке – словарь учитывает не все предикативы, представленные в текстах, в то же время, для ряда форм, отнесенных в словаре к числу неизменяемых, были найдены согласовательные корреляты: в настоящей статье такие расхождения специально оговариваться не будут.

¹⁵ Глаголы мышления, говорения, знания и восприятия могут вводить и супин, ср. *hon... sagði skilit við Þorbjörn skinnhúfu* (A 9, 142), букв. "она сказала разведено с Торбьёрном Кожаная Шапка" = "она объявила о разводе с Т." (к *skilja* "разделять", "разводить") *heyrir hefði ek ykkar getit* (ÍF VI: 135), букв. "слышал я вас упоминаю", = "я слышал, как вас упоминают" (к *geta* "упоминать"). Выделенные синтагмы имеют статус свободных сочетаний и характеризуются полной синтагматической разложимостью, в отличие от сочетаний с супинном, создаваемых транзитивными глаголами с непропозициональной семантикой: *hann fekk skilit* "Х сумел разделить", *hann lét skrifað það* "Х велел записать это". Последние имеют грамматическую направленность и иногда рассматриваются как акциональные конструкции, близкие к перфекту с *hafa* "иметь" [Смирницкая 1977: 39, 58].

¹⁶ Здесь и далее используются символы: $N_{\text{ном}}$ – имен.п., N_{acc} – вин.п., N_{dat} – дат.п., N_{gen} – род.п., N_{prep} – предложная группа, V_{link} – связочный глагол, V_{fin} – личный (финитный) глагол, V_{trans} – переходный глагол, V_{intrans} – непереходный глагол, Adj – прилагательное, $Neut$ – средний род, Adv – наречие, Neg – отрицание, $Pred$ – предикатив, $\#$ – нулевой субъект. Квадратными скобками обозначены границы связочной синтагмы.

¹⁷ При определении синтаксических позиций морфосинтаксическими признаками предикатива считались: невозможность выступать в атрибутивной функции, неспособность занимать актантную позицию в предложении, отсутствие согласовательной морфологии. Употребление предикатива в функции приложения контрпримером не является, поскольку аппозитивные синтагмы в древнескандинавскую эпоху имеют жесткий порядок слов ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ–ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ и изоморфны предикативным [Кацнельсон 1949: 324]. Ср. два примера на соседних страницах саги: 1) *menn, sem þroráða vǫru* (HS 9); "люди, которые немощны (букв. немощен) были": 2) *maðr þroráða, er Marteinn hét* (HS 10) "человек немощен, который звался Мартейн"; фигурирующий в данных высказываниях предикатив *þroráða* не может стоять препозитивно, т.е. выполнять роль атрибутивного прилагательного, и, с другой стороны, не выступает как субстантивное слово – синтагмы типа **inn þroráða maðr* "тот немощный человек", **þroráða kom heim* "немощен пришел домой" недопустимы.

На втором этапе исследования привлекался материал ряда королевских саг и саг об исландцах¹⁸. Их изучение не дало принципиально новых результатов, но позволило существенно расширить список предикативов. На третьем этапе исследования изучались древнеисландские памятники других жанров. Наконец, данные древнеисландского языка были подвергнуты внешнему сравнению и сопоставлены с данными других древнескандинавских диалектов, а также современного исландского языка.

Рассмотрим морфосинтаксические, словообразовательные и лексико-семантические характеристики древнеисландских предикативов, а затем попытаемся оценить их особенности в типологической перспективе.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФИНАЛИ ПРЕДИКАТИВОВ

Древнеисландские предикативы строятся по нескольким типам, повторяющим застывшие формы именного словоизменения, возможные в структурах без согласования. В этом смысле их можно условно обозначать как "квазиприлагательные, – наречия, – причастия".

А) Слова с финалью *-t*.

Это самый многочисленный класс, омонимичный прилагательным сильного склонения в форме имен. – вин.п. ср.р. ед.ч. Преобладают композиты и слова с суффиксами (полусуффиксами) *-mikit*, *-fátt*, *-laust*, *-samt*: *dhuggjumikit* "озабоченно", *ráðfátt* "нет мыслей", букв. *"скудомысленно", *orrostulaust* *"безбоязненно", *svefnsamt* "(делается) сонно"; также *-ult*, *-alt*; *stopalt* "скверно", *bimbult* "муторно"; префиксами (полупрефиксами) *o-*, *þr-*, *auð-*, *vand-*, *tor-*: *þrvænt* "безнадежно", "тяжко", *torfynt* "трудно найти". Встречаются и отдельные симплексы: *annt* "много работы", букв. "занято", *(ekki) fritt* "не мирно" = "есть опасность вооруженного нападения". Общее количество предикативов с финалью *-t* составляет не менее нескольких сотен.

В) Супин

В литературе отмечалось, что несогласуемая форма причастия прош. вр. является "квазипричастием"; тем более примечательно, что в древнеисландских текстах форму супина можно образовать от несуществующих глаголов, например *auðfengit* *"легкодоступно" (*fá* "получать", **auðfá*), *hugleikit* "замышлено" (**hugleika*, *mér lék hugr* "у меня созрел замысел"), *ólfat* "не дожито" (**ólifa*, *lifa* "жить"). Данный тип предикативов представлен префиксальными словами, в качестве второго компонента которых выступает супин от реально существующих глагольных основ. По своему значению такие слова сопоставимы с целыми высказываниями, в которых значение глагола проясняется зависящими от него элементами: *hoppit kom í hug* "X-у пришло на ум" → *hoppit var hugkvæmt* букв. *"X-у было наумходно". Таким образом, по способу деривации предикативы данного типа могут быть отнесены к выделенной Э. Бенвенистом категории "делокутивов", т.е. лексических единиц, произведенных от фразы (речевого акта) в целом [Бенвенист 1974: 320].

Общее число предикативов, строящихся по типу супина, в рассмотренном материале составило около ста слов.

С) Слова с главной финалью *-al-i* (тип слабого прилагательного или *n*-основного существительного): *hugsi* "задумчив, молчалив", *þrotráða* "неможен, инвалид", *þrbjarda* "беспомощен", *sundrórða* "несогласен, груб"¹⁹. Обозначение морфологического разряда

¹⁸ Из этой группы изучались следующие тексты: "Круг Земной" Снорри Стурлусона, "Сага об Олаве сыне Трюгви" монаха Олда Сноррасона, "Легендарная" и "Старшая" саги об Олаве Святом, "Сага о Сверрире", "Саги о Посошниках", "Сага о Хаконе Старом", "Сага о Магнусе Исправителя Законов", все саги цикла "Саги о Стурлунгах" и "Сага о Храфне сыне Свейнбьёрна".

¹⁹ По типу предикативов с финалью *-al-i* строятся также скандинавские имена родства типа *sammæðra* "от той же матери", *næstabræðra* "родственник на степени родства двоюродного брата". Как указал А. Нурен, в этой группе слов формант *-a* имеет иное происхождение, нежели у слабых прилагательных, и представляет собой застывшее окончание род.п. мн.ч. существительных [Noreen 1923: 277]. Общей чертой,

здесь еще более условно, так как термин "слабые прилагательные" зарезервирован в древнеисландской грамматике за атрибутивными формами [Heusler 1913: 133]. Разряд предикативов с финалью *-al-i* насчитывает порядка 200 слов.

Предикативные слова с финалью *-al-i* образуют известную аналогию к русским прилагательным типа *рад*, *горазд*, но, в отличие от последних, они не выражают никаких словоизменительных и реляционных категорий вообще. Исландские грамматисты называют такие слова "прилагательными, имеющими только слабую форму" [Halldórsson 1951: 115, 120] либо "несогласуемыми прилагательными, лишенными степеней сравнения" [Pétursson 1981: 135–136], однако считать предикативы вроде *hugsi* "молчалив, молчун" прилагательными можно лишь с большой натяжкой – скорее мы имеем дело с характеризующими именами с недифференцированным качественным значением.

Среди предикативов с гласной финалью преобладают композиты и аффиксальные слова; симплексы редки, ср., однако, *hæna* "отзывчив" (к сущ. *hæl* "просьба, мольба"), *horði* "заносчив", букв. "с большим бортом" (к сущ. *borð* "доска, стол, борт") *þarfal-i* "тот, кто в нужде", *þurfi* "то же" (к глаголу *þurfa* "нуждаться" и его презентной форме 1, 3 л. ед.ч. *þarf* "я, он в нужде").

ПРЕДИКАТИВЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ НАРЕЧИЯ

Не все производные слова с финалями *-t* и *-al-i* являются предикативами: отдельные слова с данной морфологией специализируются в функции наречий – (fylkja) *hamalt* "выстраивать войско клином" или количественных слов – *aleuða fjar* "уйма денег". В то же время слова с финалями *-t* и *-al-i*, способные формировать именное сказуемое, лишены в языке саг непредикативных коррелятов. Спорадически в роли предикативов выступают и слова с другими финалями, например, производные слова с суффиксом *-liga*, который обычно трактуется как наречный.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕДИКАТИВОВ

Предикативы с финалью *-t* могут вводиться всеми связками в безличном предложении (как с семантическим субъектом, так и без него), а также в двусоставном предложении "транзитивными связками" – глаголами со значениями "иметь", "получать", "делать" и т.д. Как было отмечено выше, реализация предикатива в безличном либо в двусоставном предложении зависит в древнеисландском языке не столько от валентных свойств самого предикатива, сколько от выбора связки. Для большинства слов с финалью *-t* засвидетельствованы как примеры типа *honum var/þótti auðfengit* "ему было/показалось легкораспознаваемо", так и примеры типа *haan hafði/gerði/sagði auðfengit* "он имел/сделал/сказал легкораспознаваемо".

Реализация морфологически производных предикативов с финалью *-t* нередко предполагает ту же позицию, что и реализация симплексов, выступающих в роли их компонентов, ср. *fátt* "скудно, мало, плохо" – ср.р. от *fár* "немногий, редкий, недоброжелательный" и *-fátt* как суффикс, сигнализирующий "отсутствие или недостаточную интенсивность признака" в композитах типа *vit-fátt* "не хватает смекалки", букв. "скудоумно", *vin-fátt* "мало друзей". Как симплекс, так и композит способны формировать дативную схему, ср. 1) *honum fannst fátt um* "X выказал недовольство", букв. "X-у показалось плохо о"; 2) *honum varð vitfátt* "X-у стало плохо с умом".

Дистрибуция предикативов, в качестве второго компонента использующих супин, аналогична отмеченной выше для предикативов с финалью *-t*. Поскольку супин древнеисландского глагола обычно имеет финаль *-t* [Стеблин-Каменский 1955: 104,

объединяющей данные слова с другими предикативами с гласной финалью, является то, что все они употребляются только в функции сказуемого.

133–135], можно констатировать, что значительная часть предикативов сохраняет в данную эпоху общий маркер и общую сочетаемость.

Предикативы с гласной финалью тяготеют в языке саг к двусоставному предложению; они ориентированы на характеризацию одушевленного субъекта в позиции подлежащего. Ср. Napp er *örbjarga* "X беспомощен, X не в состоянии себе помочь". Синтаксическая схема может быть обобщена как $N_{\text{ном}}-V_{\text{fin intrans}}-\text{Pred}$. В роли глагольного элемента чаще всего выступают вега "быть", вегда "становиться", фага в значениях "перемещаться" и "проявлять себя".

Отдельные предикативы с финалью *-al-i* изредка реализуются и в дативно-безличном предложении, но для древнеисландского языка это нехарактерно.

Как предикативы с финалью *-al-i*, так и предикативы с финалью *-t* могут иметь при себе зависимые слова обстоятельственного или актантного характера: соответствующие валентности не могут быть предсказаны заранее по общему правилу и должны указываться при словарном описании предикативов:

Pred + $N_{\text{ген}}$: Hví ertu sva seinn, fóstri minn, ok fráskili föruneytina? (ÍF IV: 252), букв. "Отчего ты замешкался, отец, и оторван от провожатых?"

Pred + $N_{\text{acc prep}}$: Þá mun ávinnt verða um söxin í dag (Hkr I, 218), букв. "тогда будет сегодня *напряженно* на штевнях" = будет тяжело сражаться.

Многие слова имеют также валентность на инфинитивный оборот и/или на придаточное изъяснительное, ср. Mér et *anni* at drepa þik (ÍF IX: 142) "мне *положено* убить тебя". Как указано выше, заполнение данных валентностей обычно является в языке древнеисландской прозы факультативным.

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДИКАТИВОВ

Семантика древнеисландских предикативов тесно связана с их словообразовательной структурой. Тот факт, что абсолютное большинство предикативов представлено либо композитами, либо аффиксальными словами – из приблизительно 600 форм встретилось всего 4 симплекса с гласной финалью и около 20 симплексов с финалью *-t*, – закономерно отражает способ трансформации, соединяющей именные композиты с глагольными предложениями. При этом зависимые элементы глагольной группы, стоящие после финитного глагола, в именной трансформе перемещаются в начальную позицию.

Базовая структура	Предикатив
$V_{\text{fin}}-\text{Adv}$ aka svá <i>höllu</i> букв. "ехать <i>вкось</i> перед кем-л."	<i>hall-oki</i> "X ущемлен Y-м в правах"
$V_{\text{fin}}-N_{\text{acc prep}}$ kemr í <i>hug</i> "приходит <i>на ум</i> кому-л."	<i>hug-kvæmt</i> X-у пришло на ум"
Adj- $N_{\text{dat prep}}$ þungr í <i>skapi</i> букв. "тяжелый <i>на душе</i> "	<i>spap-þungt</i> "X-у тяжело на душе"
Adj neut- $N_{\text{ген}}$ vant <i>ábóta</i> "требуется <i>улучшений</i> "	<i>ábóta-vant</i> "X-у недостаточно, не хватает чего-л."

То же линейное расположение характерно и для обычных сложных прилагательных и существительных, ср. illgr *tillaga* "дурной *на подмогу*" → *tillaga-tigr* "то же". От последних древнеисландские предикативы отличаются тем, что описывают не постоянный признак объекта, а переменное свойство единичной ситуации. Это позволяет трактовать их денотаты как своего рода ситуативные понятия, которые не выходят за рамки актуализованного положения дел. Древнеисландские памятники дают возможность наблюдать синтагматическую близость предикативов и глагольных групп. Так, сличение версий "Саги о Названных Братьях" позволяет установить, что рассказчики саг использовали предикативы как инструмент компрессии текста, номинализуя при этом предложения с финитной формой глагола.

1) Matgörgarmenn Gauts þraut *eldivið* "повара Гаута *нуждались в хворосте*" (Н 15–

198); 2) þar var illt til eldiviðar “Там было плохо с хворостом” (МН 15–198); далее редакция *М* даёт: 3) Matsveinum Þorgeirs höfðu eldiviðarfátt “поварам Гаута было скуднохворостно” (М 15–199), букв. “Повара Гаута имели скуднохворостно”. Тот же предикатив воспроизводится на следующей странице с другой связкой: 4) því at matsveinum varð eldiviðarfátt (М 15–200) “ибо парням стало скуднохворостно”. Параллельная редакция *Н* даёт в этом месте посессивную конструкцию с абстрактным существительным в имен.п.: 5) því at sveinum varð eldiviðarskortr (Н 15–200) “ибо у парней (букв. парням) случилась недостача хвороста”.

Вместе с тем, анализ контекстов доказывает, что описание ситуации при помощи предикатива семантически сложнее описания при помощи глагольного предложения. Во-первых, употребление предикатива предполагает наличие носителя признака (в приведенных выше примерах – лицо, испытывающее недостачу хвороста, душевные муки и т.п.). Во-вторых, как показало проведенное исследование, употребление предикативов всегда сигнализирует о наличии акта оценки, направленного на описываемую денотативную ситуацию; ни один из предикативов не является чисто дескриптивным словом. Иногда измеряется степень интенсивности признака; чаще объектом оценки оказывается отношение к норме (юридической, поведенческой, моральной и т.п.) или благоприятность/неблагоприятность (приемлемость/неприемлемость) ситуации для некоторого лица. Так, значение широко распространенного предикатива *þgvænt* букв. “безнадежно” уместно описывать в словаре как: “с точки зрения некоторого *X*-а ситуация *α* безнадежна для некоторого *Y*-а”.

Таким образом, категориальное значение древнеисландских предикативов целесообразно описывать с опорой на два параметра, которые можно назвать Субъектом Оценки и Субъектом Состояния: первый не является участником ситуации и выступает в роли стороннего наблюдателя, второй является носителем предиктируемого признака. Определение первого параметра особых проблем не представляет, статус второго требует комментария.

Совпадение субъекта оценки с участником оцениваемой ситуации необязательно, хотя и возможно. В отдельных случаях предикатив выражает юридическую оценку (субъект оценки – принципы права): *útkvæmt** “выездно” (= ситуация, где у *X*-а есть право выезда из страны после вынесения обвинительного приговора), *aptrreka** “морепонужден”, т.е. “*X* выброшен на берег не по своей воле и несет за это ответственность”, *óálandi*, букв. * “невскармливаем” (= преступник, которого нельзя кормить). Чаще выбор субъекта оценки (сам говорящий, адресат, рассказчик, усредненный наблюдатель и т.п.) определяется прагматическими факторами. Наиболее интересный случай образует дативное предложение, где позиция наблюдателя (субъекта оценки) предусмотрена самой схемой высказывания. При этом разграничение субъекта оценки с субъектом состояния манифестируется весьма тонким поверхностным различием – употреблением либо опущением инфинитива при связке “казаться”, ср.:

Þlugi svarar: rangt sýnisk mér vera, at svá mikill þjófr gagni undan (ÍF VI: 13–188),

букв. “И. отвечает: неправильно кажется мне быть, что столь гнусный вой уйдет прочь”.

Наличие инфинитива *vera* “быть” обусловлено здесь прагматическими, а не формально-грамматическими причинами: мнение *X*-а о том, что преступника необходимо наказывать, дистанцируется от недовольства возникшей коллизией (*rangt* “криво, неправильно, дурно” передает оценку ситуации как недопустимой для субъекта). В высказывании без инфинитива – *rangt sýnisk mér, at P* “мне кажется неправильно, что *P*”, два данных смысла совмещаются²⁰.

²⁰ Суть данного различия можно сформулировать и чуть иначе: в высказываниях с предикативом, но без инфинитивной трансформации – ср. *rangt sýnisk mér* – оценка (в данном примере негативная) не выходит за пределы речевого акта; в высказываниях с предикативом и с инфинитивной трансформацией – ср. *rangt sýnisk mér vera* – оценка объективируется и распространяется на некоторое множество подобных ситуаций.

Выявление носителя признака является более трудной задачей, нежели выявление субъекта оценки, поскольку лишь часть предикативов непосредственно описывает психические или физические реакции человека, ср *ráðfátt* "X-у не хватает смекалки", букв "скудомысленно", *svefnhofugt* "X-а клонит в сон", букв "тяжелосонно" Другая часть предикативов, на первый взгляд, обозначает текущее положение дел в мире – ср *vígljóst* "достаточно светло, чтобы вести бой", *framanvált* "волны захлестывают судно с носа" Поэтому теоретически допустимо считать, что у слов второй группы роль семантического субъекта выполняет ситуация в целом (мир, окружающая среда, локус), в то время как у слов первой группы в роли семантического субъекта выступает человек или его психика Против этого, однако, говорит тот факт, что в древнеисландском, в отличие, например, от современного русского языка, по-видимому, почти нет безличных слов типа русск *солнечно*, *пасмурно*, *ветрено туманно* *топко* или болг *дъждовно*, *кишаво* [Маслов 1981 175], выражающих ситуативный признак, имеющий одинаковое значение для всех носителей языка – ср невозможность сказать по-русски **мне*, **для меня топко*, *пасмурно* при нормальном *здесь топко*, *сегодня солнечно*²¹ В корпусе саг нашлось много примеров, где при предикативах второй группы эксплицируется позиция одушевленного субъекта – носителя признака, ср *honum var vígljóst* "ему было достаточно светло, чтобы вести бой", *þeir fengu mjok framanvált* (ÍF VI, 323), букв "они получили сильно зачерпнувши с носа Поэтому предпочтительней считать, что все или почти все предикативы в языке саг квантифицируются по конкретному одушевленному субъекту Данную интерпретацию, как показывает анализ контекстных смыслов, легко распространить и на примеры, где позиция носителя признака внешне не выражена Так, значение появляющегося в ключевом эпизоде "Саги о Гисли" предикатива *þar var innangengt í fjós* (ÍF VI, 53) "там было можно войти в хлев из дома", букв "там было внутрьвходно в хлев", можно анализировать и как "В 962 г планировка данного хутора *оставляла возможность любому X-у* войти в хлев", и как "в ту ночь *убийца мог войти и уйти* через хлев" В данном примере оба смысла равноправны (хотя для развертывания текста важнее второй), в контексте (ÍF VI, 217/Н) *eigi var skipfært ok var Eujólfur eptur*, букв "непроездно было на корабле по морю и Э задержался" информация о состоянии моря в некий момент времени релевантна только по отношению к попыткам X-а попасть домой, наконец, в контексте (ÍF VI, 66) *ok segir heldr ógreiðfært um skóginn*, букв "и говорит довольно *опаснопроездно* через лес" релятивизированное толкование 'в тот момент проехать через лес было *опасно для некоторого X-а*" является единственным возможным

Предложенный анализ распространяется на обе морфологические разновидности предикативов – с финалью *-t* и с финалью *-a/-i* К числу факторов, сближающих обе группы композитов, относится наличие более 50 первых компонентов, повторяющихся в обоих разрядах (*á-, af-, al-, afl-, ein-, for-, full-, jafn-, ó- sam- sundi-, sjálf-, van-, þr-* и т д) и синонимичность ряда вторых компонентов²² (ср *-fátt* и *-vana*, задающие одно и то же значение "недостаточной интенсивности признака") Так, высказывания *honum var afl-fátt fyrir e-m, hann var afl-vana fyrir e-m* выражают один и тот же смысл "X-у не хватило сил в борьбе с кем-л", варьируют лишь их формально-синтаксические характеристики предикатив *afl-fátt* реализуется в односоставной конструкции, а предикатив *afl-vana* – в двусоставной.

Отдельную и важную проблему составляет квалификация носителя признака имен-

²¹ Возможное исключение – предикатив *reimt* (Ísl 1003) имеющий специфическое значение здесь нечисто, 'имеются привидения', 'es spuckt

²² Можно указать и пары где этимологически тождественны оба компонента Ср *al huga* и *al-huga* обе формы имеют значение 'у X а серьезные намерения, X полон решимости добиваться намеченного' Также только финалями различаются *sjálf-ráða* и *sjálf-rátt* X не в состоянии принять решение сам

но как субъекта состояния", а не как "констатива" или "субъекта модальности" Здесь мы ориентируемся, с одной стороны, на факты сочетаемости предикативов в языке саг, с другой – на taxономические признаки "состояний", выделенные в работах З Вендлера, Т В Булыгиной и О А Селиверстовой на материале английского и русского языков [Vendler 1967, Булыгина 1982 33–40, Селиверстова 1982 121–127]

Выше уже были приведены данные о том, что древнеисландские предикативы обозначают актуальные положения дел [Vendler 1967] и квантифицируются по своему субъекту [Булыгина 1982 37] Принципиально важно также, что денотаты предикативов занимают отрезок на временной оси – критерий, на котором вслед за З Вендлером акцентирует внимание О А Селиверстова [Селиверстова 1982: 122]. Ср пример, где срок действия предикатива ограничен юридическим соглашением

var gefit fé til at þeir skyldi vera ferjandi, en eiga eigi útkvæmt meðan nokkur Ólafssona væri á dogum eða Asgeir Kjartansson (L 187)

"было заплачено, чтобы они могли выехать, но не иметь **приездно**, пока жив кто-либо из сыновей Олава или Асгейр сын Кьяртана"

Таким образом, *útkvæmt* понимается с точки зрения закона именно как временное пребывание человека в некотором правовом статусе

Поскольку древнеисландские предикативы встречаются в тех же позициях, что и несогласуемые формы прилагательных и существительных, весьма вероятно, что значение "пребывания в некотором состоянии, не детерминированном внешним действием", отчасти характерно для самих связочных конструкций, использующих несогласуемые именные слова Наблюдение за предикатными композитами в этой связи ценно тем, что позволяет восстановить операции, к которым прибегает рассказчик саги в процессе порождения текста Так, в диалоге (HS 36) в ответ на реплику говорящего – því at ek vil tala við þik "ибо я хочу *переговорить с тобой*" адресат строит предикатив *vanmælt* "недоговорено" = "X-у с Y-м есть о чем поговорить"

Eyjólfur svarar ef þú átt nokkut vanmælt við mig, þá mæl þú þaðan, sem þú ert kominn, en ek mun héðan svara, sem em ek kominn, því at ek á ekki vanmælt við þik

Эйольв отвечает если у тебя ко мне *недоговорено*, говори со своего места, а я буду отвечать со своего, потому что у меня к тебе *все договорено*"

Данный пример показывает, как квантификация по субъекту делает описание интенциональным А и В не говорили друг с другом, но оценивают это по-разному у В к А "недоговорено", а у А к В "договорено", т е говорящий считает, что их отношения таковы, что говорить им *не надо*

Сходными причинами могут быть объяснены и метафорические переносы, обнаруживаемые при сопоставлении значений несогласуемых предикатных форм обычных прилагательных со значениями, зафиксированными для тех же прилагательных в других контекстах Поэтому тот факт, что форма ср р прилагательного *óhú einn* "нечистый грязный, скверный" выражает в безличной конструкции *var óhú einn* (Ísl 1230), букв "было нечисто" не смысл "имеется мусор", а смысл "есть опасность для X-а", является вполне предсказуемым следствием квантификации состояний по носителю признака. В то же время семантические сдвиги между безличными и согласуемыми формами не стоит преувеличивать В подавляющем числе случаев при образовании безличного предикатива имеет место не развитие новых лексических значений, а скорее резкое сужение значений качественных слов, ср предикатив *dátt* "весело" и прил *dái*, согласно словарям имеющее значения "милый, приятный, доверительный, расслабленный, дурашливый" *þórðr Ingunnarson gerði sér dátt við þau Þorvald ok Guðrún* (L 114) "Т близко сошелся с Торвальдом и Гудрун", букв "Т *сделал себе доверительно*" Для древнеисландских прилагательных характерен большой, вплоть до энантиосемии, разброс значений [Кацнельсон 1949 368–378], напротив, употребление их несогласуемых предикатных форм, как показало наше исследование, довольно единообразно

В эпоху записи саг – XIII–XIV вв. производство предикативов представляло собой активно протекающий процесс. По всей вероятности, для древнего исландца не существовало денотативных ограничений в данной области, и он мог при необходимости номинализовать любое предложение с помощью предикатива. Так, ситуация "где-либо много змей, опасно" воплощается как *her er víða yrmt mjök* "здесь везде крайне змейно" [Baetke 1965: 763], а ситуация "на коне сидят двое" – как *hestinum var tvímennt* "коню было двулюдно", либо *hestinn hafði tvímennt* букв. "конь имел двулюдно" [Baetke 1965: 763].

Вместе с тем, открытость предикативов как лексической группировки говорит о том, что не все засвидетельствованные памятниками формы стали полноценными лексемами. Некоторые отличаются высокой частотностью, как *auðit* "суждено" (L 8–32; 40, 145; Sv 21–4; ÍF II 21–51) или *þrvænt* "безнадежно" (A 5–332, ÍF III 31; 32; I, 22, 931; Hkr I 6–230 L 8–32; 40, 145; Sv 21–4; ÍF II 21–51), но большинство встретилось в нашем материале не более 1–2 раз. С другой стороны, среди дошедших до нас форм велик процент синонимов²³. Это заставляет считать, что значительная часть предикативов не входила в основной словарный фонд языка, но была потенциальными словами, возникавшими в связочных структурах без согласования. В таком случае варьирование одного и того же денотативного содержания с помощью выбора разных корней и аффиксов означает, что древнеисландская проза фиксирует категорию предикатива в стадии возникновения.

Идентификация потенциальных слов не представляла труда потому, что коммуникантам был известен набор корней и аффиксов, регулярно повторяющихся в разных типах сложных слов с оценочной семантикой, но прежде всего потому, что они не создавали новых синтаксических возможностей, а употреблялись лишь там, где допускались несогласуемые именные предикаты, сохранявшие связь с парадигмой словоизменения. В этих условиях рассказчик саги мог в денотативной ситуации "X-у трудно принять решение" однажды образовать форму *"труднорешаемо" как *torfynt*, второй – как *torfundit*, в третий – прибегнуть к формам ср.р. имевшихся прилагательных *torsóttir* или *torveldr*.

Имеются основания полагать, что подавляющее большинство рассматриваемых композитов изначально возникло в позиции предикатива сказуемого и никогда не имело параллельных форм словоизменения. Наблюдения за языком саг показывают, что в нем нет контекстов, благоприятствующих использованию атрибутивных оценочных слов типа **all-bros-ligr* *"разулыбчивый", выражающих постоянные свойства объекта. В то же время предикатив *all-bros-lig-t* (A 5, 350), "X пришел в хорошее настроение", букв. "X-у разулыбчиво" оказывается вполне к месту в качестве описания актуального положения дел. Теоретически нельзя исключить, что какие-то из предикативов имели согласовательные корреляты, случайно не попавшие на страницы саг, или что идиолекты писцов слегка различались, однако в целом жанрово-стилистическое единство памятников и их полнота не оставляют сомнений в том, что воспроизводство большого (порядка 400–600 словоформ) разряда слов, специализированных в функции сказуемого, обусловлено коммуникативными потребностями древнеисландского языка XIII–XV вв.

Иной путь прослеживается для небольшого числа супинов-симплексов, попавших в

²³ Ср., например, синонимы *annt* "хлопотно, X поглощен работой", *annrft* "то же", *annsamt* "то же"; *vandræðalíklígt* "ситуация сулит осложнения для X-a", *eigi vandræðalaust* "то же", *vandræðavænlingt* "то же", *gíptufátt* или *gæfuvant* "X-у не хватило удачи" и т.д.

разряд предикативов в результате того, что глаголы, от которых они образованы, вышли из употребления: *auðit* "суждено"²⁴, *reimt* "нечисто, появляются привидения", "es spuckt", *þiðit* "растаявши", *bilt* "страшно, нашла робость"²⁵.

ТИПОЛОГИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДИКАТИВОВ

О наличии предикативов как особого разряда слов со своими формальными признаками уместно говорить с того момента, когда в функции сказуемого специализируется значительное число производных именных основ. Численный состав древнеисландской группировки побуждает отнести её становление к дописьменной эпохе. Данные внутренней реконструкции позволяют установить ряд параметров, характеризующих состояние древнеисландского (или праскандинавского) языка на момент инновации.

1) Словообразование.

Древнеисландские предикативы реализуются в тех же позициях, что и оценочные слова, выступающие в роли их ядерных (финальных) компонентов. Массовое появление предикатных композитов говорит о том, что сочетания, занимающие присвязочную позицию, имеют тенденцию конституироваться как единое целое. В плане содержания эта тенденция подтверждается использованием предикативов в качестве средства описания ситуации: дескриптивное значение задается в них начальным компонентом, а оценочное значение – финальным. В плане выражения цельность предикатива манифестируется запретом на дистантное размещение составляющих; многие древнеисландские предикативы этому критерию не удовлетворяют и остаются в эпоху саг на уровне эфемерных синтаксических "сращений", ср. композит *áðbtavant* "требуются улучшения" и синтагмы, выражающие тот же смысл (курсивом выделены синтаксические экспоненты предикатива, жирным шрифтом – вводящий его финитный глагол):

(а) безличное предложение: $N_{\text{dat}}-V_{\text{link imp}}-[Adj\ Neut-N_{\text{gen}}]$

á bóta þykkir mér vant L 89 букв. "улучшений кажется мне нужно";

(б) двусоставное предложение $N_{\text{nom}}-V_{\text{fin}}-[Adj\ Neut-N_{\text{gen}}]$

Koðmákr kvað eigi stórra bóta á vant (Ísl 1483) букв. "К. сказал не больших улучшений нужно".

2) Порядок слов.

Становление предикатных композитов в позиции после связки подтверждает, что базовый порядок слов с фиксированным положением финитного глагола на втором месте к этому времени уже полностью сложился. В связочных схемах обе кофинитные позиции имеют собственное синтаксическое содержание: постфинитная позиция является позицией оценочного слова (предикатива), а предфинитная позиция – позицией его семантического субъекта²⁶. Крайне важно, что в период инновации двусоставные и

²⁴ Реликтовая падежная форма причастия глагола *auða* один раз зафиксирована в песнях "Старшей Эдде": *auðins fjár Sig 36*.

²⁵ Предикатив *bilt* "X-у страшно, нашла робость" этимологически соотносится с глаголом *bila* "медлить, мешать", но уже не входит в его парадигму – параллельно лексикализации старого *e* упина *bilt*, появился новый супин *bil-a-t*, образованный по типу глаголов на **o* (ср. *kalla* → *kallat*). Возможно, сходным образом возникла и форма *fritt* "надежно, нет опасности" (к глаголу *fríða*). Значение и словообразовательные связи предикатива *vant* "мало, плохо, не хватает" дают повод предполагать контаминацию трех основ при его производстве: *vanr* "пустой, тщетный" → *vant* ср.п., *vanta* "не хватать" → *vant* суп. и *vandr* "дурной" → *vant* ср.п.

²⁶ В высказываниях о стихийных процессах в соответствии с т. н. параметром нулевого субъекта [Barnes 1986: 40] предфинитная позиция остается вакантной и не замещается никаким служебным словом. Примечательно, что параллелизм связочных схем с транзитивными и интранзитивными глаголами не нарушается даже в этой сфере. Так, предикаты вроде *myrkt* "темно", *bjart* "светло", *kalt* "холодно" сочетаются в древнейших скандинавских памятниках не только с глаголами *varð/gerðisk myrkt, bjart stallo/sðeðalast* "темно, светло", но и с глаголом *gera* "делать" – *gerði bjart* (Íst 2297), букв. "сделало светло", *gerði mönnum heldr kalt* (Kgs II, 123), букв. "сделало людям довольно холодно".

связочные безличные высказывания в этом плане изоморфны, что подтверждается регулярным употреблением одних и тех же слов с финалью *-t* в структурах обоих типов.

3) Частеречный статус.

Сочетаемость предикативов с большим числом глаголов, в том числе транзитивных, свидетельствует о том, что связочная функция присуща в эпоху инновации не отдельным лексемам, а глаголу как части речи в целом. Материал позволяет считать, что в древнеисландском языке имело место не использование качественных наречий во вторичной функции, а синтаксическая лабильность признаков слов. К числу подлинных наречий, не употребляющихся предикативно, в древнескандинавскую эпоху можно отнести образования с суффиксами *-s*, *-a*, *-r*, *-la* [Falk, Торп 1900: 108; Стеблин-Каменский 1955: 80–81], однако продуктивность этих суффиксов мала – слова с ними составляют абсолютное меньшинство от общего числа форм, способных выступать в роли модификаторов глагола. В силу этого производные качественные слова категориально амбивалентны: статус наречия образа действия vs. предикатива и глагола vs. связки окончательно проявляется лишь в рамках конкретной предикатной синтагмы, т.е. на поверхностно-синтаксическом уровне. Ср. два примера с однотипными формами с суффиксом *-liga*

а) Хозяин говорит работнику, что тот неспособен внятно рассказать о поездке. *Herfúliga segir "þúfrá tíðindum* (A 8, 12) "Мерзко рассказываешь ты о случившемся" – форма на *-liga* выступает как наречие образа действия,

б) Врач входит в дом и обращается к пациенту с предупреждением: *Sjá vil ek sá þútt, því at mér er órífliga sagt af þrí* (A 19, 58) "Я хочу осмотреть твою рану, ибо мне опасно рассказано о ней", т.е. "рассказано, что твоя рана опасна" – форма на *-liga* выступает как предикатив.

Таким образом, есть основания считать, что разряды качественных наречий и предикативов формировались в древнеисландском языке параллельно.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДИКАТИВОВ: СКАНДИНАВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Разряд предикативов прослеживается в XII–XV вв. по исландским памятникам всех жанров. Показательно, что даже в анналах, где повествовательный элемент сведен к минимуму, летописцы прибегали к окказиональным словам для обозначения состояний, имеющих четкие временные рамки, с. *saurgaðr kirkjugarðr at Hólum ok songlaust* – "осквернено кладбище в Холар и не певши (обедню)" – *Konungsannáll*, под 1232 г. Некоторые из подобных композитов образованы от основ заимствованных слов, ср. *biskupslaust* "ситуация, когда в стране нет епископа" – *Konungsannáll*, под 1241, 1261, 1264 гг., *páfalaust* "ситуация, когда не избран новый папа" – *Lögmannsannáll*, под 1210 г.

Исследование О.А. Смирницкой показало, что языку "Старшей Эдды" присущ в целом тот же набор схем безличных связочных высказываний, что и языку саг, однако сами эти высказывания встречаются в "Эдде" реже [Smirnitskaja 1972: 63]. Тем не менее и в языке "Эдды", по нашим подсчетам, есть около 20 слов с финалью *-t* (ср. *alhugat* ННv 21; *auðut* Rm 22; *fullvegut* Am 53, Sg 33, *óbeðut* Háv 145, *þrvænt* НН II 48, ННv 23, *vant* Vsp 8, Sk 22) и 12 слов с гласной финалью (ср. *andvanla* НН II 33, Br 16, Gðr II 42, Hild 6; *ofrolvi* Háv14), для которых статус предикатива устанавливается с полной надежностью²⁷. Больше предикативов в скальдических стихах: здесь можно обнаружить как частотные лексемы, известные по прозаическим памятникам, так и окказионализмы, в частности, композиты с вторыми компонентами *-ligt*, *-samt*, *-laust*²⁸.

²⁷ Подсчеты проводились для всего корпуса песней, включенных в издание Г Неккеля – Х Куна (Edda)

²⁸ Ср. такие окказионализмы, как *vansverðat* "X-у не хватает меча" (Халльфред), *dylgjusamt* "чреватой битвой" (Тормод)

Оценка ситуации в родственных диалектах затруднена ввиду отсутствия в континентальной Скандинавии XIII–XV вв. нарративных текстов, сопоставимых с исландскими сагами. Лучше прослеживаются предикативы с гласной финалью. Наиболее устойчив данный разряд в истории шведского языка, ср. *twæhuga* "X в сомнении", *villarādha* "X пребывает в заблуждении". О его древности говорит тот факт, что ряд предикативов на *-a*, *-i*, *-æ* закрепился в роли юридических терминов в языке областных законов, ср. *þrþiuvæ* "X неуязвим для обвинений в воровстве", *biltogha* "X находится вне закона", а о продуктивности – спорадическое оформление заимствований финалями предикативов, ср. *malata* "X болен: < ср.-н.-нем. *malat* < ст.-франц. *malade*, *allēna* "X пребывает в одиночестве" < ср.-нем. *allēne* [Noreen 1904: 350–352].

Статус слов с финально *-i* оценить сложнее из-за того, что структурные изменения в грамматике континентальных скандинавских языков ведут к вытеснению безличных связочных схем, на которые были ориентированы словоформы с финалью *-i*. В дошедших до нас текстах (областные законы, дипломы, переводные и подражательные памятники) связочные конструкции с несогласуемым предикативным словом менее обычны, нежели в древнеисландском языке; в то же время некоторые формы, известные по корпусу саг, можно обнаружить и здесь, ср. др.-норв. *sannspurt* "доподлинно известно" (Kon Skug 22), др.-швед. *āfāt* "X-у не хватает чего-л." [Noreen 1922. 125]. Сужение синтаксической базы конструкций с предикативом подтверждается размежеванием связок "быть" и "казаться" в безличном предложении: в высказываниях с предикативным словом, вводимым глаголом "казаться", неизменно появляется инфинитив, а начиная с XV в. – еще и формальное подлежащее *thæt*, *det* "оно, это". Тем самым, одна из главных моделей, где реализуются предикативы, постепенно перестраивается в континентальных скандинавских языках по типу конструкций имен (вин) п. + инфинитив²⁹.

Напротив, в истории исландского языка за последние 600–700 лет радикальных изменений грамматического строя не произошло. Это делает сопоставление древне- и новоисландского узуса более наглядным. О количестве предикативов в современном исландском языке дает представление словарь А. Бедварссона [Boðvarsson 1993]³⁰. Разряд слов с гласной финалью представлен даже несколько шире, чем в древнем языке. Разряд слов с финалью *-i/-ð* (в новоисландском финали супина и формы имен -вин п ср.р. ед ч. сильных прилагательных часто не совпадают) насчитывает несколько сот форм; большинство из них, однако, употребляется нечасто. Некоторые из слов, выступавшие в древнеисландскую эпоху как предикативы, получают в современном языке формы согласования и достраивают свою парадигму. Другие слова, оставаясь неизменяемыми, переходят в разряд наречий или вводных слов – *auðvitað* "конечно", *efalaust* "несомненно"³¹. Все слова с суффиксами *-liga*, *-laust* исключаются из предикативного употребления и осмысляются как качественные наречия.

Знаменательны изменения в синтаксической дистрибуции. Многие предикативы с гласной финалью переходят от двусоставной конструкции к безличной. Данный сдвиг свидетельствует об экспансии дативного предложения, которое становится главным средством выражения неконтролируемых процессов с инактивным субъектом. В отдельных случаях слова на *-al/-i* формально и содержательно сближаются с при-

²⁹ Ср. характерный для XV в. пример из шведской версии "Саги о Карле Магнусе".

thz thökte them swa fagert wara (Cod Ver 14)

форм подл казалось им так красиво быть

По нормам древнеисландского синтаксиса подобное предложение должно было иметь вид $N_{\text{dat}}-V_{\text{link}}$ – P_{ind} т е þeim þotti mjök fagrt

³⁰ А. Бедварссон использует для предикативов словарные пометы $\acute{O}B$ – *öbeygjanlegt* *oð* (несклоняемое слово) и H – *hvoigugkyn* (средний род)

³¹ В эпоху саг оба слова употреблялись только в роли сказуемого: *auðvitat* "X-у очевидно" (L 5, 21, 46, Hkr II, 224, Ísl, 1060), *ifalaust* "у X-а нет сомнений" (ÍF VI, 230, ÍF XI, 230)

частиями наст. вр., имеющими финаль *-i*; последние утратили в современном исландском языке согласовательные категории и нередко выступают как модальные предикативы – ср. *fundinum* (N_{dat}) var *ekki slítandi* "собранию было *не закрывавши*", т.е. "собрание *нельзя было закрыть*", *honum* (N_{dat}) er *ekki treystandi* "ему *не доверявши*" = *ему нельзя доверять* [Friðjónsson 1982: 213].

Устойчивость безличного предложения в новоисландском языке, отмечаемая в работах по общему синтаксису [Sigurðsson 1991: 37], подтверждается большим числом словоформ с финалью *-i*, употребляющихся в односоставных схемах; многие из таких словоформ специализированы в функции сказуемого, т.е. являются предикативами: *flökurt* "X-у тошно", *ábótavant* "X-у недостаточно" и. д. [Sigurðsson 1991: 53,73]. В то же время, возможность употребить предикативы с финалью *-i* в двусоставном предложении практически ограничена сочетаниями двух глаголов – *eiga* "обладать" и *láta* "позволять": ср. *eiga heimangengt*, *láta ummælt* [Böðvarsson 1993: 164, 561]. Другие транзитивные глаголы вообще редко сочетаются с признаковыми словами на *-i/ð* и с предикативами общей оценки *vel* "хорошо", *illa* "плохо". В тех случаях, когда новоисландский язык допускает подобное сочетание, оно фиксируется как идиома, ср. *gera kunnigt* "извещать", букв. "делать известно", *gera vart* "предупреждать", букв. "делать настороже" – нельзя сказать **geta kunnigt* "осилить известно", **veita vart* "оказать настороже". Устойчивые коллокации признаков слов с транзитивными глаголами отмечены и в корпусе древнеисландских памятников, ср. *Menþ [mæltu allmisjafnt] um vinattu þeirra* (Hkr III, 184), букв. "Люди [говорили крайне неровно] об их дружбе", т.е. "говорили о дружбе X-а с Y-м с предубеждением, порицали её", однако там их отнесенность к общей массе синтагм с предикативом поддерживается как разложимостью сочетания и возможностью замены связки – ср. *var allmisjafnt* (Hkr III 103), букв. "было крайне неровно", – так и пропозициональной семантикой – так, приведенное выше высказывание (Hkr III, 184) может быть адекватно истолковано как аналог придаточного: "Люди [говорили неровно] об их дружбе ≡ Люди говорили, что их дружба неуместна"³². Напротив, в современном исландском языке даже такие близкие синонимы как *eiga* "обладать" и *hafa* "иметь", *láta* "допускать" и *halda* "удерживать" не всегда эквивалентны друг другу: фраза *hann á gott* "У X-а все хорошо", букв. "X обладает хорошо" признается вполне нормативной, а фраза *hann hefur það gott* "X имеет хорошо" – нет, сочетание *láta laust* "отпустить", букв. "позволять свободно" допускается нормой, а сочетание *halda laust* с тем же значением фиксируется как архаизм [Böðvarsson 1993: 332]³³.

В целом, история исландского языка свидетельствует не о превращении группировки предикативов в особую часть речи, но о тенденции к регламентации их употребления: в современном языке резко сокращается как набор синтаксических схем, где реализуются предикативы, так и число вводящих их глаголов. В новоисландском языке наречия образа действия и предикативы имеют разную дистрибуцию и разные аффиксы: в эпоху возникновения предикативов становление разряда наречий

³² Ср. также примеры на сочетаемость слова *þungt* "X-у тяжело" с различными транзитивными связками: *veitti þungt* "X-у пришлось тяжело", букв. "оказало тяжело" (Kgs I 168); *lagði þungt* "X положил тяжело на Y-а" = "пожелал, чтобы Y-у стало тяжело" (Hkr II 125), *taka þungt* (ÍF III 318) "X принял тяжело на Y-а" = "враждебно отнесся к Y-у". И здесь контексты *sað* не оставляют сомнений в том, что форма *þungt* выступает как логико-семантический эквивалент предложения, а глаголы "класть" и "оказывать" в сочетании с *þungt* ведут себя как пропозициональные операторы.

³³ Некоторое число фразеологизованных употреблений транзитивных глаголов, с большой долей вероятности восходящих к синтагмам с предикативом, есть и в континентальных скандинавских языках, ср. дат *få fat ilþá* "уловить, поймать", букв. "получить схвачено", *have travlt* "быть занятым", букв. "иметь занято", швед. *det gör ont* "X-у больно", букв. "делает больно". Почти наверняка к синтагмам с предикативным словом восходят этикетные формулы дат. норв. *ha det godt* "будь здоров", букв. "имей хорошо", также н.-исл. *gerðu svo vel* "пожалуйста", "будь любезен", букв. "сделай так хорошо".

не завершено, связочные и глагольные схемы полностью не противопоставлены в текстах. И в древнюю и в новую эпоху употребление предикативов имеет точки пересечения с употреблением крупных разрядов глагольных имен – в древнеисландском языке – супина, в современном исландском – причастия наст. вр. Наконец, ни в одну из эпох исландские предикативы не имеют единого морфологического признака, а их финали всегда омонимичны показателям словоизменения. Вместе с тем, наличие у обеих основных разрядов – с гласной финалью и с финалью *-t/-ð* – общего значения "пребывания носителя признака в некотором состоянии", остается вероятным. Это позволяет считать исландские предикативы (предикативные наречия) лексической группировкой производных признаков слов со своим словообразовательным значением. Статус членов группировки не был неизменным: в современном исландском языке они становятся полноценными словарными единицами, в древнеисландскую эпоху многие предикативные композиты следует квалифицировать как окказионализмы.

Отсутствие разряда производных предикативных слов в готском и в западногерманском языках заставляет считать становление разряда собственно скандинавской инновацией, грамматические предпосылки которой сложились до появления рукописных памятников, но не ранее стабилизации порядка слов с помещением финитного глагола на второе место во фразе. Оценка данной инновации как общескандинавской либо ареальной во многом зависит от степени расхождений между древнескандинавскими диалектами в X–XII вв.; к сожалению, дошедшие до нас памятники не позволяют судить об этом с полной уверенностью. Более вероятно, что мы имеем дело с ареальной инновацией древнеисландского языка, или, с учетом минимальных различий между древнеисландским и древненорвежским в последующие столетия [Naugen 1984: 258–259], с особенностью западноскандинавского синтаксиса. В то же время не исключено, что разряд предикативов с гласной финалью сформировался раньше разряда с финалью *-t* и восходит к общескандинавской эпохе.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты свидетельствуют, что сходство славянского материала с германским не является полным. В то же время оно достаточно велико, чтобы требовать применения единых критериев описания. В обеих языковых семьях реализации неизменяемых признаков слов противопоставлены как глагольным высказываниям, так и высказываниям с предикативными формами прилагательных и существительных. Для второго противопоставления релевантно не отсутствие согласования само по себе, а контраст двух предикативных значений, – постоянного свойства предмета и переменного ситуативного признака.

Большинство предикативов является производными словами – в славянском ареале, по имеющимся описаниям, преобладают аффиксальные слова, в скандинавском – композиты. В этой связи цельноформленность предикативов может трактоваться как показатель регулярных преобразований, связывающих их с однокоренными глагольными и именными словами. Древнеисландские предикативы представляют локализованное во времени свойство ситуации как признак неагентивного субъекта: не сам субъект был каузатором состояния, но он фиксирует его и дает ему оценку. Тем самым, предикативы оказываются разрядом признаков форм, категориальным значением которых является выражение актуальных положений дел, квантифицируемых по субъекту. То же определение, вероятно, можно распространить и на значительную часть славянских форм, подводимых под КС, в частности на современные русские и на старославянские предикативы с финалью *-o*. Статус предикативов до известной степени отвечает понятию синтаксической деривации, выдвинутому Е. Куриловичем – последний (вне связи с проблематикой КС) предположил, что при образовании новой части речи от некоторой основы имеет место стадия, предшествующая образованию виртуального лексического знака. Так, франц. *hauteur*₂

"размер предмета по вертикали" образовано, по Куриловичу, не непосредственно от *haut* "высокий", а от *hauteur*₁ «свойство "быть высоким"»; тем самым выстраивается цепочка *X est haut* "X высок" → *hauteur*₁ (ситуативный признак) → *hauteur*₂ (термовый признак) [Курилович 1962: 63]. Специфика предикативов состоит в том, что деривация останавливается на стадии ситуативного признака, что внешне проявляется в дефектности цепочки. Проиллюстрируем это на примере образования др.-исл. композита *ráðfát* "X-у не хватило ума" (Kgs II, 222), синтаксический источник которого – фраза *oss bila ráðin* – содержится в том же абзаце памятника.



Рис. 1

Сходные отношения устанавливаются и при употреблении несогласуемых форм обычных прилагательных, но здесь, напротив, не всегда легко построить глагольное предложение, где были бы выражены все участники ситуации, обозначаемой предикативным словом.



Рис. 2

С уверенностью можно сказать, что отсутствие контрастных исследований нанесло урон как германистике, так и славистике. Уже сама лакуна в описании столь хорошо изученного индоевропейского языка как древнеисландский, со времен Р. Раска и Я. Гримма причисляемого к классическим языкам компаративиста, свидетельствует об отсутствии концептуального аппарата, позволявшего германистам объяснить отсутствие непредикативных коррелятов у ряда производных слов как явление закономерное. С другой стороны, незнание типологической параллели повлекло за собой серьезные изъяны в рассуждениях не только противников, но и сторонников гипотезы о КС. А ригористично признав материал русского языка уникальным, последователи Л.В. Щербы неправомерно связали становление разряда предикативов со специфической особенностью восточнославянских языков – развитием бессвязочного предложения, и тем самым закрыли себе дорогу в область типологии. Как представляется, негативную роль здесь сыграла предвзятая концепция связки как особой части речи, отстаиваемая самим Л.В. Щербой и его учениками [Виноградов 1947: 420, 675], [Исаченко 1955: 65]. Между тем, использование широкого круга глаголов в связочной функции свойственно не только древним германским, но и древним славянским языкам. Хотя для славянского ареала конструкция с КС и транзитивным глаголом менее характерна, в древнейших памятниках она не является редкостью: ср. ст.-слав. *вънѣждѣ обряштаахъ чоудесно а жтрыдѣ страшно* (Супр. 511, 21), "X ощутил, что произошло чудо", аналогично – *дръжимо чоудьно* (Супр. 511, 23), или древнерусские примеры из "Успенского сборника" – *шьдѣ же тоу аник посъланы н оувѣдѣ извѣстно о неи* (Усп. сб. 301 г. 21); *извѣсто разоумѣли ксте яко хѣа рава*

късьмь (Усп. сб. 70 б. 21); и да лица зръще и тѣлесе разоумѣкте извѣсто (Усп. сб. 232 б. 26–27); къльма ничто же недоужно творю (Усп. сб. 253 а. 1–2); того ради лише имеютъ (Усп. сб. 283 а. 12). Поскольку предикативы не имеют в старославянском и древнерусском особых финалей, внешне отличающих их от качественных наречий, – засвидетельствованы как предикативы на *-ѣ*, *-е*, так и наречия на *-о* [Георгиева 1969: 82, 86], ко всем подобным высказываниям применима идея А.М. Пешковского о том, что элементы составного сказуемого одновременно идентифицируют друг друга, "делаются – один связкой, а другой – присвязочным словом" [Пешковский 1938: 215]. Употребление слова на *-о*, *-ѣ*, специализированных в функции сказуемого, в этих условиях разумно использовать именно как критерий, обозначающий сферу сочетаний, имеющих в данную эпоху статус связочных. Обозначившаяся в славистике тенденция приписывать почти все случаи употребления несогласуемых предикативов в двусоставном предложении иноязычному влиянию и видеть в них кальки греческих или латинских фразеологизмов³⁴ во многом продиктована незнанием прецедента независимого возникновения конструкции $N_{\text{nom}}-V_{\text{fin}}-\text{Pred}$ в другой языковой семье. Впрочем самих славистов в этом винить трудно, поскольку соответствующие факты не получили должного освещения и у германистов. Между тем, история скандинавских языков побуждает предполагать, что статус фразеосхем, синтаксических клише, является не исходным, а скорее конечным пунктом развития данной конструкции.

История скандинавских языков не подтверждает мнения о том, что появление предикативов знаменует собой тенденцию к выделению новой части речи. Не оправдало себя и утверждение об особой тяге слов КС к безличному предложению. Дистрибуция предикативов зависят не от наличия формы имен. п. во фразе, а от того, где данный язык допускает связочные высказывания без согласования. Так, в древнешведском языке, где безличные высказывания непродуктивны, предикативы с финалью *-al-i* дольше сохраняются в двусоставных схемах, а в исландском языке, где односоставные схемы устойчивы, часть данных форм употребляется безлично. Наличие у предикативов валентности на придаточное или инфинитивный оборот тоже следует считать скорее специфическим свойством, нежели типологической константой: во всяком случае, в древнескандинавских памятниках, где сегментация текста на предложения не является жесткой, данные валентности остаются факультативными. Более важным представляется тот факт, что как в двусоставных, так и в односоставных схемах с предикативом обычно есть возможность ввести позицию субъекта–носителя признака.

Наиболее продуктивные разряды предикативов в обеих семьях строятся по типу словоформ имен. вин. п. ср.р. древней серии прилагательных (общеславянское **-o*, древнескандинавское **-i*). Признание особого класса именных слов, не выражающих категорию падежа и не занимающих места в актантной структуре предложения, помогает лучше разграничить связочные синтагмы с неизменяемым словом и синтагмы с глобально-объектной или субъектно-предикативной связью. Если для русской грамматической традиции данную трудность можно считать в целом преодоленной³⁵, то для германистов он издавна служит камнем преткновения. Так, например, М. Нюгор, автор наиболее подробного описания древнескандинавского синтаксиса, без каких-либо оговорок помещает сочетания переходных глаголов с предикативными словами на *-i* в рубрику "субстантивированное употребление прилагательных" [Nygaard 1906: 57–58], а М. Барнз, исследующий современный фарерский язык, полагает, что предикативы типа *stutligt* "забавно", *rimiligt* "уместно играют в высказываниях вроде *at rimiligt hevði verit* "было бы уместно" роль номинативного подлежащего (sic!) [Barnes 1986: 42].

³⁴ Обсуждение аргументов за и против исконности конструкции типа *сврѣвно кьтъ грѣхъ* в славянских языках см., например, в [Ходова 1980: 270–279].

³⁵ Ср., тем не менее, колебания А.М. Пешковского при оценке статуса русских форм на *-о* [Пешковский 1938: 159–160, 325–328] и мнение А.Б. Шапиро, что конечное *-о* в словах типа *грустно*, *стыдно* выступает в безличной конструкции как "показатель родчисловой формы" [Шапиро 1955: 53].

История скандинавских языков свидетельствует о том, что благоприятные возможности для становления группировки предикативов возникают на рубеже письменной эпохи, когда появляются тексты достаточной сложности. В этот период конструкции с предикативом, наряду с инфинитивными и причастными оборотами, служат для рассказчиков средством компрессии текста. Возможно, сходными причинами объясняется появление предикативов в древних славянских языках, однако здесь нужно дополнительное исследование.

Складывается впечатление, что становление и эволюция предикативов (слов КС) является специальной, хотя и важной проблемой исторической грамматики. То обстоятельство, что концепция КС была выдвинута и обсуждалась в рамках классификации частей речи, обеспечило ей широкую известность, однако едва ли создало наилучшие условия для описания самих предикативных слов. Многие аргументы за и против признания КС особой частью речи были лишь передним планом разногласий по более общим вопросам грамматической теории: о границах слова, о механизмах словообразования, о таксономии предикатных значений, о разграничении компетенции словаря и грамматики. Исходная формулировка гипотезы Л. В. Щербы – "стремление русского языка иметь КС" [Щерба 1974: 91] была направлена на выявление структурных изменений в русской грамматике и потенциально носила типологический характер. Однако логика развития дискуссии привела к поиску "единой марки" гипотетической части речи, и в конечном итоге, к фетишизации фактов, способствовавших закреплению слов КС в русском языке – опущению связки "быть" и распространению дательного падежа субъекта. Между тем, специфические черты русских форм, подводимых под КС, было бы логично определять путем сопоставления с предикативами в других языках, а не на основе презумпции о том, что в русском языке они составляют особую часть речи, а в других языках – нет. Впрочем, убеждение, что правильная методология поможет закрыть все спорные проблемы, высказывалась за почти семидесятилетнюю историю обсуждения вопроса уже не раз.

ИСТОЧНИКИ*

Супр – Супрасльская рукопись XI в. СПб, 1904

Усп сб – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпонов. Под ред. С. И. Коткова. М., 1971

Edda – Die Lieder der Codex Regius nebst verwandte Denkmälern / Hrsg. von G. Neckel. I. Text. Vierte, umgearbeitete Auflage von Hans Kuhn. Heidelberg, 1962

A – Austfirðingasögur Íslendingasögur Bd X Íslendingasagnaútgáfan Guðni Jónsson bjó til prentunar Reykjavík, 1953

Cod Ver – Codex Verelhanus

HS – Hrafn saga Sveinbjarnarsonar / Ed. by Guðrún P. Helgadóttir. Oxford, 1987

IF – Íslensk Fornrit Hið íslenska fornritafélag Reykjavík.

Isl – Íslendingasögur Reykjavík, 1987

Hkr I–III – Heimskringla Snorra Sturlusonar / Um prentun sá Páll Eggert Ólason Reykjavík, 1946–1948

Kgs – Konungasögur I–III Íslendingasagnaútgáfan Reykjavík

Kon Skug – Konungs skuggsjá. Speculum regale Magnús Már Larusson bjó til prentunar Reykjavík

L – Laxdæla saga Íslensk urvalsrit. 6. Njorður P. Njarðvík gaf út Reykjavík, 1978

M = Moðruvallabók, H = Hauksbók, F = Flateyjarbók (редакции "Саги о Названных Братьях", цит. по IF VI)

St – Sturlunga saga I–III Guðni Jónsson bjó til prentunar Íslendingasagnaútgáfan Reykjavík, 1981

Sv – Sverris saga Gustav Indrebø Sverris saga etter Cod. SM 327 4o / Utgjevi av Den Norske Historiske Kildeskriftkommission ved Gustav Indrebø Kristiania 1920

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю. Д. 1985 – Синтаксические признаки лексем // R.Ling 1985 № 2–3

Апресян Ю. Д. 1987 – Синтаксические признаки в модели языка // Вопросы кибернетики прикладные аспекты лингвистической теории. М., 1987

Арутюнова Н. Д. 1988 – Типы языковых значений: оценка, событие, факт. М., 1988

* Арабская цифра указывает на страницу издания, римская – на номер тома

- Бенвенист Э 1974 – Общая лингвистика М, 1974
- Булыгина Т В 1982 – К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов М, 1982
- Виноградов В В 1947 – Русский язык Грамматическое учение о слове М, Л, 1947
- Гард П 1985 – Русское *каково* // Новое в зарубежной лингвистике Вып XV 1985
- Георгиева В Л 1969 – Безличные предложения по материалам древнейших славянских памятников (особенно старославянских) // *Slavia* 1969 V 38.
- Гаджиева Н Э Иванчикова Е А 1955 – Дискуссия о частях речи / ВЯ 1955 № 1
- Золотова Г А 1982 – Коммуникативные аспекты русского синтаксиса М, 1982
- Ильиш Б А 1948 – Современный английский язык М, 1948
- Ильиш Б А 1951 – О категории состояния в английском языке // Памяти академика Л В Щербы Л, 1951
- Исаченко А В 1955 – О возникновении и развитии "категории состояния" в славянских языках // ВЯ 1955 № 6
- Кацнельсон С Д 1949 – Историков-грамматические исследования I М, Л 1949
- Курилович Е 1962 Очерки по лингвистике М, 1962
- Красных В И 1993 – Русские глаголы и предикативы Словарь сочетаемости М 1993
- Маслов Ю С 1981 – Категория состояния в болгарском языке // Теория языка, методы его исследования и преподавания К 100-летию со дня рождения Льва Владимировича Щербы М 1981
- Пешиловский А М 1938 – Русский синтаксис в научном освещении М 1938
- Падучева Е В 1996 – Семантические исследования Семантика времени и вида в русском языке Семантика нарратива М, 1996
- Поспелов Н С 1955 – В защиту категории состояния // ВЯ 1955 № 2
- Грамматика 1980 – Русская грамматика Т I М, 1982
- Селиверстова О Н 1982 – Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикатных типов русского языка // Семантические типы предикатов М, 1982
- Смирницкая О А 1977 – Эволюция видо-временной системы в германских языках // Историко-типологическая морфология германских языков Категория глагола М, 1977
- Смирницкий А И 1959 – Морфология английского языка М, 1959
- Стеблин-Каменский М И 1954 – К вопросу о частях речи // Вестник ЛГУ 1954 № 6
- Стеблин-Каменский М И 1955 – Древнеисландский язык М, 1955
- Стеблин-Каменский М И 1984 – Мир саги Становление литературы Л, 1984
- Шапиро А Б 1955 – Есть ли в русском языке категория состояния как часть речи // ВЯ 1955 № 2
- Щерба Л В 1974 – Языковая система и речевая деятельность М, Л, 1974
- Ходова К И 1980 – Простое предложение в старославянском языке М, 1980
- Циммерлинг А В 1996 – Семантика русских предикативов с финалью *-o* // The First International Conference on Formal Description of Slavic Languages Leipzig, 1996
- Циммерлинг А В 1997 – Субъект состояния и субъект оценки // Логический анализ языка Образ человека в зеркале языков и культур М, 1998 (в печати)
- Baetke W 1965 – *Worterbuch zur altnordischen Prosaliteratur* Berlin 1965 Bd 1 1968 Bd 2
- Водварссон Árm 1993– *Íslensk Orðabók* Reykjavík, 1993
- Barnes M P 1986 – Subject nominative and oblique case in Faroese // *Scripta Islandica* Islandska sálkskapets ársbok V 37 1986
- Comrie B 1976 – *Aspect* London New York Melbourne 1976
- Didriksen P 1976 – *Elementær Dansk Grammatik*. København 1976
- Fiðjónsson Jon 1982 – *Un lýsningargátt nútíðar* // *Íslenskt mál og Almenn Málfræði*, 1982 V 4
- Halldórsson Halldór 1950 – *Íslensk málfræði handa æðri skólum* Reykjavík, 1950
- Haugen E 1984 – *Die skandinavischen Sprachen* Hamburg, 1984
- Heusler A 1913 – *Altislandisches Elementarbuch* Heidelberg, 1913
- Lyons J 1977 – *Semantics*, V 1–2 Cambridge London, New York, Melbourne 1977 (repr 1978)
- Мионич А 1974 – Uwagi w kwestii pochodzenia predkatoryw // RS 1974 № 1
- Noieen A 1904 – *Altswedische Grammatik mit Einschluss der Altgutnischen* Halle, 1904
- Noreen A 1923 – *Altislandische und Altnorwegische Grammatik (Laut- und Flexionslehre)* Halle, 1923
- Nygaard M 1906 – *Norrøn Syntax* Kristiana, 1906
- Pétursson Magnús 1981 – *Lehrbuch der islandischen Sprache* Hamburg, 1981
- Sigurðsson Halldór Armann 1991 – *Beygingarsamræmi* // *Íslenskt mál ok almenn málfræði* 1991 V 12–13
- Smuñickaja O 1972 – The impersonal sentence patterns in the Edda and in the Sagas / *Arkiv for Nordisk Filologi* 1972 № 87
- Vendler Z 1967 – *Linguistics in philosophy* Ithaca, 1967,
- Zatovkaňuk M 1965 – Neosobni predikativa a útvary přibuzné, zvláště v ruštine // *Rozpravy Československé akademie věd* 1965 Sešit 6 Ročník 75

© 1998 г. С.Г. ТАТЕВОСОВ, Т.А. МАЙСАК

**КОДИРОВАНИЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКОГО СТАТУСА
СРЕДСТВАМИ МОРФОСИНТАКСИСА**

(на материале цахурского языка)*

ВВЕДЕНИЕ

Особенностью цахурского¹ языка, составляющей предмет настоящей статьи, является наличие в нем морфосинтаксических средств, которые своим появлением в предложении существенным образом воздействуют на его видо-временные и, отчасти, модальные характеристики, но которые, тем не менее, не могут быть адекватно охарактеризованы в терминах "стандартных" глагольных категорий, таких, как время, наклонение, эвиденциальность. Данные единицы – ч а с т и ц ы - к л и т и к и *ji* и *ni* – обнаруживают дистрибуцию, характерную не столько для грамматических категорий, сколько для дискурсивных единиц: их появление в дискурсе объясняется не столько грамматическими, сколько прагматическими факторами².

ji и *ni* характеризуются:

1. относительно устойчивой дистрибуцией (имеются определенные параметры контекста, при появлении которых употребление *ni* и *ji* оказывается вероятным, и, обратно, параметры, плохо совместимые с употреблением этих частиц);
2. свободной сочетаемостью со всеми доступными видо-временными формами глагола;
3. обилием семантических эффектов, которые возникают при взаимодействии свойств *ni* и *ji* с лексическим значением глагола, находящегося в их сфере действия, и его видо-временными характеристиками;
4. способностью выполнять функцию коммуникативного выделения, перемещаясь на фокусируемую составляющую из своей "прототипической" позиции на глагольной словоформе [Кибрик (ред.) в печати];
5. способностью выступать в роли финитной вершины предложения с негла-

* Настоящая работа выполнена при поддержке РФНФ, грант № 95-06-17324. Данная статья основана на материалах, собранных в ходе двух лингвистических экспедиций в с. Мишлеш Рутульского района Дагестана (1995 и 1996 гг.), возглавляемых проф. А.Е. Кибриком, которому авторы выражают сердечную признательность. Мы благодарны С.В. Кодзасову, Н.Р. Добрушиной, Е.А. Лютиковой, К.И. Казенину и другим участникам Дагестанской лингвистической экспедиции за плодотворное и содержательное обсуждение данных, положенных в основу настоящей статьи. Особую благодарность хотелось бы выразить Исмаилу Мамедову, чья помощь в подготовке окончательного варианта статьи была неоценима.

¹ Согласно [Starostin, Nikolajev 1995], цахурский является одним из языков лезгинской группы восточно-северокавказских языков, к которой относятся также лезгинский, табасаранский, агульский, арчинский, будухский, крызский и рутульский языки. Носители цахурского проживают в южной и юго-западной части Дагестана и на сопредельной территории Азербайджана и насчитывают около 15 тыс. человек.

² Ср. характеристику дискурсивных единиц, предложенную в [Баранов, Плунгян, Рахилина 1993]: дискурсивные единицы, "с одной стороны, обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым непосредственным образом отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, позицию говорящего...", а также "... выражают истинностные и этические оценки, пресуппозиции, мнения, соотносят, сопоставляют и противопоставляют разные утверждения говорящего или говорящих друг с другом, и проч."

гольной префикацией [Кибрик (ред.) в печати].

Это явление, не имеющее, видимо, прямых типологических параллелей, представляет не только эмпирический, но и определенный теоретический интерес с нескольких позиций, оказавшихся в центре внимания "постмодернистской" (используя метафору П.Б. Паршина [Паршин 1996]) лингвистической рефлексии.

Отметим лишь некоторые из них, имеющие непосредственное отношение к проблематике настоящей статьи. Это, в самом общем виде, позиции, связанные с идеей мотивированности языковой структуры и с фактором присутствия говорящего в языковом событии:

мотивирована ли и в какой мере языковая форма языковой функцией³, или языковым значением⁴ (Такая постановка проблемы представляется особенно важной в свете данных языков, в которых "привычные" и "естественные" с точки зрения средневропейского стандарта (СЕС) грамматические категории и оппозиции либо отсутствуют, либо имеют иную функционально-семантическую мотивацию)?

в какой степени употребление грамматических категорий зависит от коммуникативно-прагматических факторов, таких, например, как состояние знаний и намерения говорящего?⁵

каковы возможности выявления инвариантного значения языковых единиц, в частности, тех, функционирование которых связано с дискурсивными факторами?

Можно ли найти некоторый "образ" языковой единицы, сохраняющийся во всех ее употреблениях и отражающий ее концептуальное содержание, и с его помощью объяснить закономерности поверхностной дистрибуции данной единицы?

как должна быть организована система семантических и/или грамматических категорий, чтобы она позволяла адекватно описывать языковые явления, чувствительные к воздействию дискурсивных факторов?

Ниже мы попытаемся показать, что частицы-клитики *ni* и *ji* кодируют состояние знаний и способ представления этих знаний в дискурсе; в настоящей статье мы будем говорить о них как о маркерах эпистемического статуса. Мы охарактеризуем семантические и прагматические свойства *ji* и *ni*, опишем условия их употребления и налагаемые контекстом ограничения. Мы также попытаемся показать, что значение и дистрибуция *ji* и *ni* поддаются обобщению в терминах инвариантных семантических характеристик, дающих ключ к пониманию их "поверхностного" поведения.

В первой части статьи приводится короткий обзор глагольной парадигмы цахурского языка, следующие две части посвящены обсуждению различных характеристик указанных частиц, в заключении формулируются некоторые обобщения и выводы.

1. ВИДО-ВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЦАХУРСКОГО ЯЗЫКА

Стандартная глагольная словоформа в цахурском языке состоит, за вычетом нескольких не слишком существенных для нашего обсуждения деталей, из

1. к о р н я, слева от которого находится
2. п р е в е р⁶ и

³ См., например, [Бондарко 1996:43-59], где обсуждается соотношение понятий "значение" и "функция".

⁴ Так, например, Дж. Байби [Вубе 1985] показывает, что морфологическая структура глагольной словоформы не является произвольной и подчиняется определенным универсальным семантическим принципам.

⁵ Многие исследователи подчеркивали действие различных прагматических факторов, определяющих выбор глагольных видо-временных форм в дискурсе, см., например, сборник [Hopper (ed.) 1982].

⁶ Наличие превербов характерно для многих дагестанских языков; так, в даргинском, например, имеются превербы, выражающие различные пространственные отношения. Семантика цахурских превербов в общем случае не поддается экспликации, что объясняется, по-видимому, высокой степенью их лексикализации.

3. позиция для согласуемого классного показателя⁷, а справа –

4. тематический гласный, определяющий видовую принадлежность основы и, факультативно,

5. детерминант, который представляет собой один из плавных согласных *r, l* или *n*, а также

6. позиция для показателя потенциалиса (о нем см. ниже)⁸.

Ср., например, форму глагола 'начинать':

gi =	w =	R-	a-	l-	as
преверб	согласуемый классный показатель	корень	тематический гласный	детерминант	показатель потенциалиса

Охарактеризуем кратко формальное устройство глагольной парадигмы в индикативе и ее "семантическое наполнение", тó, каким образом определенные противопоставления в понятийном континууме конвенционализированы в грамматических оппозициях цахурского языка.

В системе цахурского глагола первичным парадигмообразующим фактором является оппозиция трех исходных основ – совершенного вида (PFV), несовершенного вида (IPFV) и потенциалиса (PT).

Видовая оппозиция⁹, реализуемая основами PFV:IPFV осмыслена исключительно для референтных ситуаций в прошлом и настоящем. Формы потенциалиса описывают достаточно широкий класс нереперентных ситуаций, включающий в себя, в частности, ситуации в будущем и гипотетические (т.е. с неопределенным для говорящего истинностным значением) ситуации в прошлом и настоящем. Доминирующим свойством потенциалиса является, таким образом, его гипотетическая модальность; видовая характеристика потенциалиса содержит признаки как совершенного, так и несовершенного видов.

В самом общем виде семантические характеристики основ можно представить следующим образом:

О с н о в а P F V: ситуация вводится в рассмотрение как целостная, лишенная внутренней темпоральной структуры, достигшая конечного состояния, прототипически связанная с прошедшим временем¹⁰.

О с н о в а I P F V: ситуация вводится в рассмотрение как состоящая из отдельных идентифицируемых фаз и проходящая в релевантный момент времени одну из этих фаз, т.е. как длительная, развивающаяся, обладающая внутренней структурой;

О с н о в а P T: ситуация вводится в рассмотрение как принадлежащая не актуальному, а возможному миру. Основа PT прототипически связана с временной референцией к будущему.

⁷ Согласование глагола происходит по 4 классам существительных. Имеется два ряда классно-числовых показателей, представленных в таблице. Выбор ряда классного показателя, заполняющего соответствующую позицию в глагольной словоформе, определяется словарно.

1	-r-	-ʃ-
2	-r-	-j-
3	-b-	-w-
4	-d-	-ʃ-

Согласуемые классные показатели

⁸ Подробно формальная морфология цахурского глагола описывается в [Кибрик (ред.) в печати].

⁹ Морфологически видовая оппозиция обеспечивается тем, что выбор тематического гласного и тип огласовки преверба полностью мотивирован видовой принадлежностью основы: PFV соответствуют тематические гласные *-i* и *-i*, IPFV – соответственно *-a* и *-e*. Вид различается на всем множестве глагольных лексем за вычетом небольшой группы стативных глаголов.

¹⁰ Ср. классические описания видовых значений, предложенные Б. Комри [Comrie 1976:16-40].

Аналитические формы глагола *aqas* 'открывать'

	связка <i>wo=d</i>	<i>ixes</i> (PFV) <i>ixa</i>	<i>ixes</i> (IPFV) <i>ejxe</i>	<i>ixes</i> (PT) <i>ixes</i>
основа PFV <i>aqi</i>	Перфект <i>aqi-wo=d</i>	Плюсквампер. <i>aqi ixa</i>	<i>aqi ejxe</i>	Потенциалис СВ <i>aqi ixes</i>
основа IPFV <i>aqa</i>	Дуратив <i>aqa-wo=d</i>	Имперфект <i>aqa ixa</i>	<i>aqa ejxe</i>	Потенциалис НСВ <i>aqa ixes</i>
основа PT <i>aqas</i>	<i>aqas-o=d</i>	<i>aqas ixa</i>	<i>aqas ejxe</i>	<i>aqas ixes</i>

Парадигма финитных синтетических форм индикатива (без учета классно-числовых форм) состоит из трех единиц, а именно из аориста, презенса и потенциалиса, совпадающих с основами совершенного и несовершенного видов и основой потенциалиса соответственно. Эти формы манифестируют семантические характеристики основ "в чистом виде", не принося в них никакой другой категориальной информации:

- | | | | |
|-----|---|--|-------------|
| (1) | <i>malhalmmad</i>
Магомед
<i>Магомед умер.</i> | <i>qik'-u</i>
умирать-PFV ¹¹ | Аорист |
| (2) | <i>malhalmmad</i>
Магомед
<i>Магомед умирает.</i> | <i>qek'-a</i>
умирать-IPFV | Презенс |
| (3) | <i>malhalmmad</i>
Магомед
<i>Магомед умрет.</i> | <i>qik'-as</i>
умирать-PT | Потенциалис |

Аналитические формы образуются от каждой из трех основ при помощи одного из служебных элементов. Основными служебными элементами в системе цахурского глагола являются:

- связка *wo=d*¹² 'быть';
- вспомогательный глагол *ixes* 'быть, стать' в каждой из трех его форм – *ixa* (PFV), *ejxe* (IPFV), *ixes* (PT).

В таблице 1 представлены аналитические формы глагола *aqas* 'открывать'¹³.

Значение форм, представленных в таблице 1, в целом выводимо из значения основы и категориальной информации, кодируемой служебным элементом. Основная функция последнего заключается в фиксации референциальных характеристик описываемой ситуации, в частности темпоральных координат, относительно которых ситуация вводится в рассмотрение. В самом общем виде служебным элементам можно приписать следующие инвариантные значения:

¹¹ Здесь и далее в подстрочном поморфемном переводе использованы следующие сокращения: А атрибутив; AD локализация 'ад'; AFF аффектив; ALL аллатив; ASS ассоциативная частица; AUX вспомогательный глагол; COND условное наклонение; CONT локализация 'конт'; COP глагол-связка; DAT датив; EL элатив; EMPH эмфатическая частица; ERG эргатив; ESS эссив; HAB хабитуалис; IMP императив; IN локализация 'ин'; IPFV несовершенный вид; NEG отрицание; OBL косвенность; PFV совершенный вид; PL множественное число; POSS посессив; PT потенциалис; Q вопросительная частица; SUP локализация 'супер'. В приводимых примерах дефис используется для морфемного членения, знак равенства отделяет согласуемые классно-числовые показатели, точка ставится в случае совмещенного выражения грамматических и/или лексических значений.

¹² Здесь и далее связка представлена в форме с показателем 4 класса *-d*.

¹³ Мы не приводим примеров употребления представленных в таблице форм; примеры и обсуждение их характеристик можно найти в [Кибрик (ред.) в печати].

связка $wo=d$ сигнализирует о том, что описываемая ситуация синхронна моменту речи,

вспомогательный глагол ixa указывает, что описываемая ситуация отнесена в прошлое,

вспомогательный глагол $ixes$ кодирует гипотетический статус описываемой ситуации¹⁴

Несмотря на отсутствие формальных запретов на сочетаемость основ смыслового и вспомогательного глаголов, в множестве форм, представленных выше, явственно выделяется "ядро", которое составляют формы, кодирующие наиболее "существенные" видо-временные значения, и периферия¹⁵ К ядру цахурской парадигмы относятся

- 1 все синтетические формы (аорист, презенс, потенциалис)
- 2 перфект и дуратив (аналитические формы с $wo = d$)
- 3 плюсквамперфект и имперфект (аналитические формы с ixa)
- 4 потенциалис совершенного вида и потенциалис несовершенного вида (аналитические формы с $ixes$)

Дальнейшее обсуждение будет посвящено свойствам частиц-клитик ji и ni и, в частности, тому, как последние взаимодействуют с основными глагольными категориями, кратко охарактеризованными выше Основная проблема здесь состоит в том, что дискурсивная природа ji и ni "затемнена" целым рядом факторов, наиболее существенным из которых является сходство их функционирования с такими служебными элементами глагольной парадигмы, как связка $wo=d$ и вспомогательный глагол $ixes$ Так, ji и ni , как $wo=d$ и $ixes$, прототипически располагаются на глагольной словоформе и, кроме того, обладают способностью перемещаться на фокусируемую составляющую при наличии коммуникативного выделения ГХ Ибрагимов ([Ибрагимов 1990 § 89]) рассматривает частицы ni и ji наряду с другими видо-временными показателями формы, образованные при помощи ni , обозначены (в зависимости от типа основы смыслового глагола) как "настоящее/прошедшее/будущее историческое" Формы, образованные при помощи ji , названы "настоящее историческое 3" (в сочетании со связкой $wo=d$) и "настоящее/прошедшее неопределенное" (в сочетании с основами несовершенного и совершенного видов соответственно) Кроме того, автор отмечает, что "в сочетании с глаголами эти элементы создают оппозицию личного спряжения" ([Ибрагимов 1990:138]), в которой ni оказывается связанной с 1-ым, а ji – со 2 и 3 лицом Однако дистрибуция ni и ji оказывается непредсказуемой если, как предлагает ГХ Ибрагимов, пытаться рассматривать ее с точки зрения стандартных" грамматических категорий¹⁶

2. СЕМАНТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ ЧАСТИЦЫ ni

2.1 ni как маркер прошедшего времени

О Гулыга [Гулыга 1973 75] указывает, что "частица ni играет значительную роль при перенесении плана действия в прошедшее" На первый взгляд, ni действительно можно охарактеризовать как показатель граммы прошедшего времени В част-

¹⁴ Функционирование вспомогательного глагола $euxe$ наименее конвенционализировано Возможно это объясняется тем, что та семантическая ниша, где $euxe$ могла бы использоваться как форма настоящего времени, заполнена связкой $wo = d$, формы с $euxe$ в результате оказались вытесненными на периферию

¹⁵ Для характеристики степени ядерности глагольных форм применимы по меньшей мере три критерия частотность формы, ограничения на сочетаемость с глагольными основами предсказуемость значения (см в частности, [Вубе 1985]) Подробное рассмотрение этих критериев применительно к цахурским глагольным формам см [Кибрик (ред) в печати]

¹⁶ В отличие от ji и ni , адекватная характеристика $wo=d$ и $ixes$ может быть сформулирована в терминах грамматических категорий времени и наклонения Подробное обсуждение см [Кибрик (ред) в печати]

ности, сопоставив (4) с формой дуратива глагола *all,ha s* 'идти' и (5), в котором эта же форма встречается в контексте *ni*, можно заметить, что данные предложения отличаются именно темпоральной референцией – в первом случае к настоящему, во втором – к прошлому

- (4) **К(онтекст):** X Как там в Чечне, что слышно? Y Плохо,

d,alwʔa wo=b=na all,ha
 война COP=3=A идти IPFV
война идет

- (5) К Это было давно

ma-ni waXt-a-l, d,alwʔa-ni wo=b=na all,ha
 этот-A OBL время-OBL-SUP ESS война-NI COP=3=A идти IPFV
В то время шла война

Сходство *ni* с маркером граммы прошедшего времени еще более усиливается, если учесть, что (5) практически синонимично (6) с формой имперфекта, состоящей из основы несовершенного вида и вспомогательного глагола *ixa* (функция последнего состоит как раз в том, чтобы устанавливать временную референцию к прошлому)

- (6) К Когда я приехал в Чечню, там

d,alwʔa all,ha ixa
 война идти IPFV AUX PFV
шла война

Ср также (7) с потенциалисом в исходном употреблении и (8) с потенциалисом в контексте *ni*, где второе вновь демонстрирует сдвиг временной референции в прошлое по сравнению с первым

- (7) soʒ-e kaRɪz ok an-as-in
 брат-ERG письмо писать-PT-A
Брат напишет (мне) письмо

- (8) ʒoʒ-e kaRɪz-di¹⁷ ok'an-as-in
 брат-ERG письмо-NI писать-PT-A
Брат собирался написать (мне) письмо

Против характеристики *ni* как маркера граммы прошедшего времени можно выдвинуть, однако, существенные возражения

Действительно, появление *ni* в предложении сигнализирует о том, что рассматриваемая пропозиция соотносена с планом прошлого. отсылка к прошлому является необходимым условием употребления *ni* Обратное, однако, неверно отнесение ситуации к плану прошлого не является достаточным условием появления *ni* Рассмотрим (9)-(17), которые, наряду с (5), образуют короткий повествовательный текст

- (9) insan a -ʃi-n jiʃa jis daRam=da-ni wo=d=un
 человек-PL-OBL-A жизнь трудно=4-NI COP=4=A
Людям жилось тяжело

- (10) zɪ Xɪw-e-ni jeʃemiʃexe
 я селение-IN ESS-NI жить IPFV
Я жил в селении

- (11) В тысяча девятьсот сорок четвертом году

¹⁷ *di* выступает как алломорф *ni* после сибилантов

- zi Xiw-e:-nče šalha:r-e:-qa kočmišxa(^{ok}-ni)
я селение-IN-EL город-IN-ALL переезжать.PFV-NI
я переехал из селения в город
- (12) ma-ʔa=r zi zawod-il_j-qa iš-e:-qa ič'-u([?]-ni)
этот-внутри=1 я завод-IN-ALL работа-IN-ALL входить-PFV(-NI)
Там я устроился работать на завод
- (13) zawod-u-n djalwʔa-j-s jaraX-ni: wo=d=un Geḱ-a
завод-OBL-ERG война-OBL-DAT оружие-NI COP=4=A выпускать-IPFV
Завод выпускал оружие для фронта
- (14) sa jaql-e: mič'al=d zi Xiw-e:-nče kaRiz alja.t'-u(*-ni)
один раз-IN.ESS утром=4 я.ERG селение-IN-EL письмо получать-PFV-NI
Однажды утром я получил письмо из селения
- (15) zi alwquna Xiw-e:-qa-ji qojt'al(*-ni)
я позади селение-IN-ALL-JI звать. IPFV-NI
Меня звали обратно в селение
- (16) sa ollʒum-u-l-e: zi-na=r a=r=k'in-na(*-ni)
один неделя-OBL-SUP-EL я-ADD=1= уходить.1.PFV-A-NI
И вот через неделю я уехал
- (17) С тех пор
zi šalha:r-e:-qa sak'-i deš(*-di)
я город-IN-ALL возвращаться-PFV NEG-NI
я больше не возвращался в город

Во всей последовательности временным планом повествования является прошлое, однако *ni* употреблено только в предложениях (9), (10) и (13); (11) при добавлении *ni* наши информанты оценили как вполне приемлемое; (12) – как возможное, но неудачное, и наконец в (14)–(17) употребление *ni* было квалифицировано как неприемлемое.

Между тем, существенным свойством любой (словоизменяемой) грамматической категории является ее обязательность. Так, если в языке имеется словоизменяемая категория времени, то любой глагол этого языка должен быть маркирован некоторым значением этой категории каждый раз, когда он появляется в финитном предложении. Если предположить, что *ni* является маркером одного из значений ("граммем") категории времени, а именно, граммеме прошедшего времени, то требование обязательности, как показывают (9)–(17), не выполняется.

Можно предположить, что употребление *ni* для выражения прошедшего времени ограничено формами несовершенного вида и стативными глаголами [(5), (9), (10), (12)]. В (11), однако, *ni* может употребляться в контексте Аориста, который вводит в рассмотрение только ситуации в прошлом и, соответственно, обладает собственной временной характеристикой; употребление *ni* в таком случае оказывается необъяснимо избыточным.

Таким образом, хотя семантически *ni* совместима только с описанием ситуаций в прошлом, если считать данную частицу маркером грамматической категории времени, ее дистрибуция оказывается непредсказуемой. Семантическая характеристика *ni*, увязывающая ее с прошлым, оказывается релевантной, но недостаточной¹⁸.

2.2. *ni* как маркер ретроспективной точки отсчета

¹⁸ Еще одно возможное решение – считать *ni* показателем "квазиграммемы", подобной например, "квазиграмме" множественного числа в некоторых тюркских языках. В отличие, однако, от тюркских языков, где употребление показателей множественного числа имеет достаточно прозрачную мотивацию – референциальный статус именной группы, условия употребления цахурского *ni* не делаются более понятными, если приписать ей статус квазиграммемы, и это решение, таким образом, оказывается достаточно бессодержательным.

Существенным общим свойством всех высказываний с *ni* является ограничение на точку отсчета (ТО)¹⁹: высказывания с *ni* возможны только при наличии ретроспективной ТО, совпадающей с моментом речи. Появление синхронной ТО в прошлом влечет неприемлемость *ni*.

Рассмотрим (18)–(19):

(18)...	gojne	za-k'le	Ga=w=ʒe-na	sa	sjo.	sjo
	потом	я.OBL-AFF	3=видеть. PFV-A	один	медведь	медведь
	w=uxa-na	Xe=b=na				
	3=AUX.PFV-A	большой=3-A				
... потом я увидел медведя. Медведь был большой.						
(19)...	gojne	za-k'le	Ga=w=ʒe-na	sa	sjo.	*sjo
	потом	я.OBL-AFF	3=видеть.PFV-A	один	медведь	медведь
		(wo=b)-ni: ²⁰	Xe=b=na.			
		COP=3-NI	большой=3-A			
...потом я увидел медведя. Медведь был большой.						

В (18)–(19) описываемая ситуация ("Медведь был большой") "встроена" в нарративную последовательность. Характеристическим свойством нарративов является нарративный режим интерпретации (см., например, [Падучева 1996:258–285]), главная особенность которого – нерелевантность координат речевого акта для интерпретации дейктических элементов высказывания. В частности, темпоральные характеристики описываемых в нарративе ситуаций интерпретируются не относительно момента речи, а относительно текущего текстового времени нарратива: временная позиция наблюдателя (=точка отсчета) продвигается по временной оси по мере развертывания последовательности событий. Соответственно, описываемая ситуация ("Медведь был большой") в (18)–(19) "наблюдается" не из координат речевого акта, а из текущей временной позиции повествователя, локализованной внутри нарратива. ТО, таким образом, оказывается не ретроспективной, а синхронной, и в этом случае употребление *ni*, как показывает (19), является по меньшей мере сомнительным. Вспомогательный глагол *ixa* в (18), в отличие от *ni*, совместим с любой ТО и свободно употребляется в данном контексте.

ni, таким образом, может быть охарактеризована как маркер ретроспективной ТО: появление *ni* в высказывании сигнализирует о том, что описываемая ситуация рассматривается ретроспективно, из *hic et nunc* говорящего. В пользу такой характеристики *ni* можно привести еще два аргумента.

Во-первых, *ni* вполне определенным образом воздействует на интерпретацию

¹⁹ Здесь и далее мы пользуемся стандартной терминологией, впервые предложенной Г. Рейхенбахом [Reichenbach 1947, глава 'The tenses of verbs'], который различает три точки на временной оси, релевантные для выбора той или иной видо-временной формы глагола. Первая из них, момент события (point of event, E) – момент, когда описываемое событие произошло, второй – момент речи (point of speech, S) – момент, когда произносится описываемое событие высказывание, третий – точка отсчета (point of reference, R) – точка, задающая систему временных координат, относительно которой говорящий вводит описываемую ситуацию в рассмотрение. Так, например, в предложении *When I came Mohammed had (already) gone* моментом события является момент, когда ушел Магомед, а точкой отсчета – момент, вводимый временным придаточным, т.е. момент, когда пришел говорящий. Е.В. Падучева [Падучева 1996] предложила содержательно интерпретировать "точку отсчета" как временную позицию наблюдателя. Ср. также понятие "момента наблюдения", используемое М.Я. Гловинской [Гловинская 1982:128]. Точка отсчета может совпадать, либо не совпадать с моментом события; в первом случае говорят о синхронной точке (R=E) отсчета, во втором – о ретроспективной (R>E) (см., например, [Падучева 1996:12]). В зависимости от того, как соотносятся R и S, можно говорить о точке отсчета в настоящем (R=S) и точке отсчета в прошлом (R<S).

²⁰ В предложениях с неглагольной предикацией *ni* допустимо как в контексте связки *wo=d*, так и в самостоятельном употреблении.

дейктических переменных Ср например, интерпретацию придаточных предложений в (20)–(21)

- (20) K B Ты, я знаю, ездил к брату Он пишет хоть иногда вашей сестре? O Когда как
 zı qal-es-se çoğ-e q lo-lle kaRız o=t=k un
 я приходить-PT-до брат-ERG два-CARD письмо 4=писать PFV
 1 *Прежде, чем я приехал (назад), брат два письма написал (а как часто он теперь пишет – сложно сказать)*
 2 *Прежде чем я приехал (к нему), брат два письма написал (и я велел ему писать почаще)*
- (21) K =(20)
 zı qal-es-se çoğ-e q lo-lle kaRız o=t=k un-nı
 я приходить-PT-до брат-ERG два-CARD письмо 4=писать PFV-NI
 1 *Прежде чем я приехал (назад) брат два письма написал*
 2 *Прежде чем я приехал (к нему) брат два письма написал*

В данных предложениях временное придаточное содержит незаполненную валентность на актант, обозначающий конечный пункт путешествия и две потенциальные возможности интерпретации этой позиции. Если (20) с аористом допускает обе возможности – ‘место, где живет брат говорящего’ и ‘место, где находится говорящий в момент произнесения высказывания’, то для (21) с аористом в контексте *ni* явно более предпочтительной оказывается вторая возможность. Данный факт указывает на то, что *ni* обладает весьма высокой потенцией “привязывать” интерпретацию дейктических элементов к координатам речевого акта, косвенным образом это свидетельствует о том, что для интерпретации такой дейктической категории, как время, соответствующая “привязка” также является необходимой.

Во-вторых, в значительном числе контекстов высказывания с *ni* обнаруживают семантический эффект, аналогичный тому, который отмечен, в частности, у общефактических значений русского несовершенного вида и английской хабитуальной конструкции *used to*. Ср (22)–(23)

- (22) awu=d Xe=d=ın dırak-nı wo=d-un
 внизу=4 большой=4=A столб-NI COP=4-A
Внизу большой столб был (⇒ а сейчас его нет vs ? ⇒ и сейчас там стоит)
- (23) malhammad-e sa s₁al?at-na aka aq-a-nı
 Магомед-ERG один час-A дверь открывать-IPFV-NI
Магомед в течение часа дверь открывал (⇒ так и не открыл vs ? ⇒ и наконец открыл)

(22) предполагает, что в момент речи столб в указанном месте уже не находился. Аналогично, для (23) наиболее естественная интерпретация предполагает, что конечное состояние описываемой ситуации (“Дверь открыта”) не наступило.

Б. Комри [Comrie 1985: 41–42], анализируя английские конструкции типа *He used to live in London*, отметил, что компонент значения “в момент речи ситуация не имеет места” возникает у таких конструкций как прагматическая импликатура, выводимая из постулата релевантности Грайса [Grice 1975]²¹. Е. В. Падучева [Падучева 1996: 19], предлагая толкования общефактических значений русского НСВ, сформулировала условие возникновения такой импликатуры: чтобы предложение типа *На стене висела*

²¹ Действительно если бы пропозиция *Он живет в Лондоне* была истинна в момент речи, более релевантным оказалось бы употребление формы настоящего времени. Тот факт, что говорящий предпочел форму прошедшего времени заставляет слушающего сделать вывод о том, что ситуация перестала иметь место.

картина предполагало нерелевантность описываемой ситуации для момента речи, необходимо наличие именно ретроспективной ТО. Поскольку действие постулата релевантности не зависит от частно-языковых факторов (например, от семантики русского несовершенного вида), регулярное появление этого эффекта в контексте *ni* в цахурском можно расценивать как свидетельство, подтверждающее тенденцию к порождению ретроспективной ТО при наличии *ni*.

Характеристика *ni* как маркера ретроспективной ТО позволяет объяснить ограничения на употребление *ni* в нарративном дискурсе. Действительно, нарративный режим отражает неканоническую речевую ситуацию, при которой ситуация коммуникации оказывается нерелевантной для интерпретации высказывания, а полноценный говорящий отсутствует, *ni*, напротив, заставляет высказывание интерпретироваться относительно "здесь и сейчас" говорящего, условием употребления для *ni* является именно ретроспективный "взгляд" на описываемую ситуацию, и, тем самым, режим интерпретации высказываний с *ni* может быть только речевым, но не нарративным.

По этой причине возможности появления *ni* ограничены теми фрагментами нарративного дискурса, которые находятся за пределами собственно нарративной последовательности, а составляют блок пояснительной и фоновой информации (завязка, ориентация, исторический фон и т.д.²²), которая соотносит координаты нарратива с текущей коммуникативной ситуацией и, соответственно, не исключает, а часто даже навязывает ретроспективную ТО. Рассмотрим, например, (24)

- (24) К Давно когда мне было двенадцать лет, мы с друзьями поехали в город Ехали мы долго часто останавливались
 ma-ni waXt-a-l, jaql-bt pis-da-ni ,
 этот-А OBL время-OBL-SUP ESS дорога-PL плохой-NPL-NI
 ek=da-ek=da qod-a
 часто=NPL отрываться-IPFV
 maXal-bt-ni
 обвал-PL-NI

В то время дороги были плохие, часто происходили обвалы

В (24) описываемая ситуация ("Дороги были плохие, часто происходили обвалы") локализована не внутри нарративной последовательности и не является ее составной частью, напротив, при помощи (24) рассказчик предоставляет слушающему информацию, являющуюся "историческим фоном" нарратива, определенным образом сопоставляя этот фон ("в то время") и текущее положение дел ("сейчас"). Соответственно, (24) интерпретируется в речевом режиме, а обстоятельство *mani waXtal*, эксплицитно сигнализирует о наличии ретроспективной ТО.

Ср также (25), в котором в короткую нарративную последовательность ('Привезли кукурузу в Лучек, себе одну тонну пшеницы взял, пятьсот кило кукурузы, с ними также триста кило риса') помещены три фоновые пропозиции ('Дорог досюда не было, света не было' и 'Тогда трудодни были'), интерпретируемые в речевом режиме. Дейктические наречия *in-a-qa-ma* 'здесь' и *manke* 'тогда' вновь, как *mani waXtal*, в (24) явно указывают на пространственные и временные координаты ситуации коммуникации, относительно которых данный фон вводится в рассмотрение.

- (25) К Г рассказывает о жизни в колхозе в 50-е годы В 1959 году я взял из колхоза кукурузу
 qa=b-t woček-qa, h1=p=x1r, jaql in-a-qa-ma
 3=привезти-PFV Лучек-ALL 3=довезти PFV дорога здесь-ALL-LIMIT
 deš-di, iš1R-b1=d deš-di, za-s sa ton
 NEG-NI свет-PL=ASS.NPL NEG-NI я OBL-DAT одна тонна

²² Имеются различные терминологические возможности для описания элементов структуры нарратива. Здесь и далее мы используем некоторые термины, предложенные в [Labov 1977]. См также [Fleischman 1991: 75–141], где обсуждаются особенности функционирования видо-временных форм глагола в нарративном дискурсе.

suk-u-n-u=d	ala t-u,	xo=d	walš	kilo=d	qarRudali-n,
пшеница-OBL-A-ASS=4	взять-PFV	пять=4	сто	кило=ASS 4	кукуруза-A
či-k-a=d	xeb=d	walš	kilo=d	bitinz-t-n	bit ala?-u
REFL OBL N-COMIT=ASS 4	три=4	сто	кило=ASS 4	рис-OBL-A	раздать-PFV
ša-s	emekgun-u-s,	manke	emekgun-ni	wo=d=un	
мы OBL-DAT	трудодень-OBL-DAT	тогда	трудодень.4-NI	быть=4=A	

Привезли (кукурузу) в Лучек, дошли, дороги досюда не было, света не было, себе одну тонну пшеницы взял, пятьсот кило кукурузы, с ними также триста кило риса раздали нам за трудодни, тогда трудодни были.

Возвращаясь к (5), (9)–(17), с которых мы начали обсуждение ограничений на дистрибуцию *ni*, нетрудно заметить, что *ni* оказывается приемлемым именно в фоновых и ориентирующих фрагментах этого текста, в частности, в (5), (9)–(10) и (13), задающих исторический фон повествования ("В то время шла война", "Я жил в деревне", "Завод выпускал оружие для фронта") В предложениях (11)–(12), (14), (16), составляющих основную линию нарратива, *ni* допустима только в первом из них ("В 1944 году я переехал из деревни в город"), что вполне согласуется с обсуждавшимся раличными исследователями особым статусом первого предложения нарративной последовательности (ср., например, [Dahl 1985 114]) В остальных трех предложениях, образующих основную линию нарратива, *ni* является более или менее аномальным. Заметим, что (15) ("Меня звали обратно"), хотя и не является элементом основной линии, также обнаруживает запрет на употребление *ni*. В данном случае мы имеем дело с ситуацией, локализованной внутри нарратива и представляющей собой внутренний фон повествования "переключения" ТО с синхронной на ретроспективную при этом не происходит

2.3 *ni*, фактивность и эпистемический статус

Характеристика *ni* как маркера ретроспективной ТО, однако, вновь оказывается недостаточной. Следующим существенным свойством высказываний с *ni*, невыводимым ни из значения прошедшего времени, ни из дискурсивных свойств, связанных с ретроспективной ТО, является фактивность их пропозиционального содержания и связанная с этим несовместимость *ni* с некоторыми эпистемическими модальностями, в частности, с модальностью проблематической достоверности²³

(26) демонстрирует неприемлемость *ni* в контексте проблематической достоверности

(26) К В Чем твой брат вчера занимался? О

*jaɣab-i=d čoʒ-e kaRiz diš-dj-aXa-n

вряд ли-ASS=4 брат-ERG письмо NEG-NEG-мочь-A

ojk 'an-ni/o=i=k'un-ni/ok'al-as-di

писать IPFV-NI/4=писать PFV-NI/писать-PT-NI

Наверное, брат письмо писал/написал/собирался писать

Интересный семантический эффект возникает у форм потенциалиса в контексте *ni*. В исходном употреблении потенциалис описывает ситуации с временной референцией к будущему. Временная референция к прошлому допустима, если предполагается истинность пропозиции не в актуальном, а в возможном мире. Общим свойством высказываний с потенциалисом является нереферентность обозначаемых ими ситуаций в актуальном мире и, тем самым, отсутствие фактивности у их пропозиций. Ср. (27), в котором потенциалис описывает гипотезу говорящего относительно ситуации в прошлом или будущем

²³ См. например, [ТФГ 1991 157–170], где обсуждаются семантические и прагматические характеристики семантического поля достоверности а также некоторая литература по этому вопросу

- (27) K₁ X Как ты думаешь, как Магомед потратит деньги, полученные от отца? Y
 K₂ X Как ты думаешь, как Магомед потратил деньги, полученные от отца? Y
 wuʒ-e ič-i-s padarka ališ-es
 он-ERG девушка-OBL-DAT подарок покупать-PT
 1 Он(, предполагаю) купит подарок девушке
 2 Он(, предполагаю,) купил подарок девушке

Две возможные интерпретации (27) объединяет их предиктивный²⁴ характер в обоих случаях говорящий формулирует гипотезу относительно наличия описываемой ситуации, темпоральная локализация которой может осмысливаться в зависимости от предшествующего контекста по-разному

В контексте *ni* потенциалис демонстрирует совершенно иное поведение Ср (28)

- (28) wuʒ-e ič-i-s padarka ališ-es-di
 он-ERG девушка-OBL-DAT подарок покупать-PT-NI
 1 Он собирался купить подарок девушке
 2 Он должен был купить подарок девушке
 *Он(, предполагаю,) купит/купил подарок девушке

Как и все высказывания с *ni*, (28) описывает ситуацию в прошлом, временная референция к будущему, возможная в (27 1), в данном случае оказывается недоступной. Недоступной оказывается также "гипотетическая" интерпретация с временной референцией к прошлому, аналогичная (27 2). В одной из двух допустимых интерпретаций потенциалис в (28) приобретает интенциональное прочтение, указывая скорее на намерения брата относительно описываемой ситуации, чем на какую-либо гипотезу говорящего. Другая возможная интерпретация предполагает наличие в прошлом модальности долженствования, связывающей пропозицию данного высказывания

Этот эффект, как представляется, является как раз следствием ограничения на фактивность пропозиции, находящейся в СД *ni*. Действительно, если *ni* предполагает фактивность, а потенциалис, напротив, – ее отсутствие, то этот конфликт может разрешиться единственным образом – требование фактивности переносится с собственно описываемой ситуации на положение дел, способствующее ее осуществлению. Высказывания с потенциалисом в контексте *ni* можно, таким образом, представить как утверждение вида "Верно, что в прошлом имело место положение дел, следствием которого могла/должна была стать описываемая ситуация". Собственно "положение дел" при этом может быть истолковано либо как намерение агенса осуществить ситуацию, либо как наличие некоторых обстоятельств, обязывающих его к этому.

Еще одно ограничение на фактивность обнаруживается в том, что *ni* сомнительно, если пропозиция, находящаяся в сфере ее действия, представляет собой мнение, логическое умозаключение и т.д. В высказываниях с *ni* утверждается "объективная", независимая от установки говорящего истинность пропозиции. Ср, например, (29) при условиях K₁ vs K₂.

- (29) K₁ Беседа о жизни чабанов В В прошлом хорошо ли жили? O
 "K₂ Мы-то думали, что при коммунистах плохо было. А теперь я смотрю на то, что кругом творится, и понимаю
 jišej=ba ge=b uftan=ba-ni dolamiš-e =ba=xε
 старый=HPL очень=HPL красивый=HPL-NI HPL=жить IPFV
 В прошлом очень красиво жили

²⁴ Предиктивность – семантическая характеристика связанная с употреблением главным образом будущего времени – описывает последнее в терминах наличия/отсутствия в момент речи или в точке отсчета условия предопределяющих возникновение последующей ситуации а также наличия/отсутствия намерений говорящего или агенса способствовать этому, см, например, [Comrie 1976 64–65] и [Dahl 1985 110–112]

Данные примеры показывают, что свойства пропозиций, находящихся в СД *ni*, существенно напоминают свойства пропозиций, являющихся компонентами эпистемических предикатов пропозициональной установки в русском языке (см., например, [Зализняк 1988]) Ограничение на фактивность в (26)–(28) позволяет предположить, что пропозиции, представленные в этих примерах, являются предметом знания говорящего Тем самым, один из компонентов семантики *ni* относится к области р а м о ч н ы х з н а ч е н и й: если пропозиция *p* входит в сферу действия *ni*, это означает, что она "вставлена" в рамку вида "Г сообщает, что он знает, что в прошлом имела место *p*".

Предположив, что источником фактивности высказываний с *ni* является указание на эпистемический статус соответствующей пропозиции, мы получаем возможность предложить объяснение приемлемости (30) и сомнительности (31)

- (30) К₁ Знаешь, что со мной вчера/только что случилось?
 К₂ Я тебе расскажу, что со мной однажды случилось, когда я был ребенком
 К₃ Знаешь, что случилось вчера с моим братом? Я это видел сам
 К₄ Давным-давно, когда я еще не родился на свет, с моим дедушкой случилась вот такая история²⁵
 z₁/s₁/mana ikaŋ-/l=w=ɪ kaŋ-ni ʕ'alag-e
 я/мы/он ходить IPFV-/HPL=ходить IPFV-NI лес-IN ESS
 Я/мы/он гулял(и) в лесу

- (31) К Знаешь, что случилось с моим братом? Он мне сам об этом рассказал
 ʔcoʒ i kaŋ-ni ʕ'alag-e
 брат ходить IPFV-NI лес-IN ESS
 Брат гулял в лесу

Действительно, статус знания, приписываемый пропозициям, находящимся в сфере действия *ni*, сказывается не только в фактивности – она имеет место и в (30), и в (31). *ni* указывает также на эпистемическое обязательство говорящего, на то, что он сам и его знания являются гарантом истинности утверждаемой пропозиции Любая эксплицитная отсылка к внешнему по отношению к говорящему источнику информации означает, что "ответственность", по крайней мере частично, возлагается на этот источник, и это заметно сказывается на приемлемости *ni* в (31).

ni, таким образом, функционирует как маркер эпистемического статуса, эксплицитно указывающий на то, что описываемая ситуация является частью фонда знаний говорящего

2.4 *ni* возможности инвариантной интерпретации

Наконец последняя, и наиболее "непредсказуемая" характеристика высказываний с *ni*, вновь невыводимая из трех предыдущих, иллюстрируется примерами (32)–(33)

- (32) К Х и Y встречаются на улице, здороваются X
 halb₁ s₁alʔa=b z₁ balkan a=w=qa q-a-ni
 этот час=3 я ERG лошадь 3=ловить-IPFV-NI
 Сейчас я лошадь ловил (далее следует рассказ о том, как лошадь убежала и где Г ее нашел)
- (33) К Жена выходит из кухни и говорит мужу
 ʔ₁ z₁ halb₁ s₁alʔa=b qo ʒ-u=ni fatɪŋ
 я ERG этот час=3 печь-PFV-NI пирог
 Я сейчас испекла пирог (так что скоро подам обед)

²⁵ К₄, в частности, указывает на то, что употребление *ni* не связано с личной засвидетельствованностью говорящим описываемой ситуации Источник знания о ситуации для высказываний с *ni* нерелевантен важен лишь факт наличия этих знаний

Различие между контекстами (32) и (33) достаточно сложно обобщить в терминах обсуждавшихся выше семантических и прагматических характеристик: темпоральной референции, точки отсчета, фактивности пропозиции

Как представляется, возможным объяснением приемлемости (32) и сомнительности (33) может служить идея о прагматической включенности описываемой ситуации в ситуацию коммуникации. Действительно, если коммуникативный контекст (33) и описываемая ситуация ("Я сейчас испекла пирог") естественным образом осмысливаются как тесно и непосредственно прагматически связанные, то в (32) описываемая ситуация ("Я ловил лошадь") представляет собой факт, представленный в сознании говорящего вне всякой связи с ситуацией коммуникации

Если принять эту гипотезу к рассмотрению, то это позволяет, далее, предположить, что основное концептуальное содержание *ni* составляет достаточно абстрактная идея дистанции между "текущим миром" говорящего и миром фактов²⁶, составляющих фонд его знания. *ni*, появляясь в дискурсе, сигнализирует о том, что ситуация, описываемая пропозицией, находящейся в сфере ее действия, относится не к текущему миру говорящего, а, скорее, к миру его знаний о фактах, когда-либо имевших место. При помощи *ni* носитель цахурского языка имеет возможность отграничить актуальное от неактуального, ситуации, непосредственно относящиеся к его "здесь и сейчас", от ситуаций, такую связь утративших, либо никогда ее не имевших

Такая гипотеза, в частности, позволяет не только объяснить различия в приемлемости (29) и (30), но и учитывает прочие семантические и прагматические характеристики *ni*, обсуждавшиеся выше.

- 1 темпоральную референцию к прошлому
- 2 ретроспективную ТО
- 3 фактивность пропозиции

В частности, темпоральная референция к прошлому у высказываний с *ni* следует из того, что "мир фактов", "выключенных" из "текущего мира", представляет собой как раз множество ситуаций, имевших место в прошлом, далее, идея дистанции между двумя мирами предполагает наличие двух "пунктов", расположенных на разных ее концах, одним из которых по необходимости является ситуация коммуникации – так может выглядеть возможное объяснение механизма возникновения ретроспективной ТО. Наконец, фактивность пропозиции в контексте *ni* связана с тем, что *ni* обеспечивает не непосредственный, а опосредованный "доступ" к описываемым фактам, где опосредующей инстанцией являются знания говорящего

ni, если принять гипотезу о ее инвариантном значении, предложенную выше, оказывается, таким образом, языковым средством, которое функционирует как прагматический коннектор²⁷, связывающий ситуацию коммуникации со знаниями говорящего и сигнализирующий, что для правильной интерпретации высказывания темпоральные и модальные характеристики, задаваемые формой сказуемого, должны быть соответствующим образом скорректированы. *ni*, появляясь в дискурсе со- или противопоставляет "здесь и теперь" говорящего и "мир его знаний о мире". Соответственно, употребление *ni* регулируется в первую очередь факторами, ответственными за организацию дискурса, что, в свою очередь, предопределяет дистрибуцию *ni*, характерную для дискурсивных единиц, а не для грамматических категорий

²⁶ Достаточно интересная проблема, возникающая в связи с этой гипотезой, связана с широко обсуждавшимся противопоставлением факт vs событие (см., например, [Арутюнова 1988] и [Зализняк 1990]) В данном случае, говоря о понятии 'факт', мы не стремимся использовать его в узком, терминологическом значении

²⁷ Ср понятие коннектора, используемое Ж Фоконье [Fauconnier 1985 3–10] в его теории ментальных пространств"

3. ji: И СФЕРА ЛИЧНОГО ОПЫТА ГОВОРЯЩЕГО

3.1. Основные проблемы

ji, как и *ni*, вызывает у исследователя определенный соблазн квалифицировать его как средство, связанное с выражением значения прошедшего времени, ср. (34) со связкой $wo = d$ и (35) с *ji*:

(34) К. X: Догоняйте нас, что вы там так долго копаетесь!. Y:

mič'ax = da (-wo = d) ʃsi qačaxaγ-o=b.
темно=4-COP=4 мы спотыкаться. IPFV-COP=HPL

Темно, мы спотыкаемся!

(35) К: Мы с друзьями поехали в город. Когда мы приехали в город, солнце уже село.

mič'ax=da=ji, ek'=ba-ek'=ba ʃsi qačaxaγ-ji
темно=4=JI часто=HPL мы спотыкаться. IPFV-JI

Было темно, мы часто спотыкались.

В отличие от *ni*, однако, высказывания с *ji* могут описывать ситуацию в настоящем. Ср., например, (36):

(36) К: X: Ты, я знаю, вчера вернулся из Микика. Как здоровье Магомед? Y: Ты знаешь, дело плохо,

malhalmmad qeq'a-ji
Магомед умирать-IPFV-JI

Магомед (, как я узнал,) умирает.

(36) показывает, что значение прошедшего времени, по крайней мере, не является обязательным для интерпретации высказываний с *ji*.

С другой стороны, исключительной особенностью *ji*, отсутствующей у *ni*, является то, что значительное число ее употреблений обнаруживает ограничение на первое лицо, демонстрируемое примерами (37)–(38):

(37) zi qa=r=inGla malhalmald-e aġa aq-i-ji
я l=приходить-PF-когда Магомед-ERG дверь открывать-PFV-JI
Когда я пришел, (я обнаружил, что) Магомед дверь (уже) открыл.

(38) *malhalmald qa=r=inGla zi aġa aq-i-ji
Магомед l=приходить-PF-когда я. ERG дверь открывать-PFV-JI
Когда Магомед пришел, (я обнаружил, что) я дверь (уже) открыл.

Правдоподобным объяснением такой дистрибуции *ji* выглядит соотнесение ее со значением заглазности (или "квотатива", или "информации из вторых рук")²⁸. Свойством маркеров заглазности является как раз их несовместимость с первым лицом, происходящая из того, что говорящий по определению не может получить информацию о ситуации, в которой участвовал он сам, "с чужих слов".

В примере (35) с *ji*, однако, присутствует первое лицо, но приемлемость предложения от этого не страдает. Ср. также (39), в котором все описываемые события излагаются от первого лица, но *ji*, тем не менее, в данном предложении вполне приемлемо:

²⁸Заглазность является одним из значений грамматической категории *эвиденциальности*. См., например, [Козинцева 1994:92–103] и [Wierzbicka 1994:81–137], где задается типологически релевантное исчисление эвиденциальных значений и обсуждаются возможности их толкования.

- (39) К: Говорящий рассказывает об увиденном сне. Во сне на него напал огромный медведь. – Он пошел было ко мне, но тут я закричал... и проснулся
- | | | | | |
|------|----------------|-------------|-------------------------|------------|
| dehe | miča:l=d=in-i: | waXt-o=b | s ₀ oc-as-da | w=uxa |
| уже | утром=4=A=JI | время-COP=3 | вставать-PT-A | З=быть. PF |
- Было уже утро, пора было вставать.*

Перед нами, таким образом, стоит задача сформулировать обобщения о семантике данной частицы, позволяющие учесть, во-первых, временную референцию высказываний с *ji* и, во-вторых, условия появления ограничений на первое лицо.

3.2. *ji* как маркер операции над знаниями

Попросив нашего информанта привести пример употребления *ji*, который кажется ему естественным и "типичным", мы получили (40):

- (40) К: Х: Ты не знаешь, чем занят Магомед? Y: Не знаю, сейчас пойду посмотрю... Y, вернувшись через некоторое время:
- | | | |
|-------------|-------|-------------------|
| malhlammald | aka | aq-a-ji |
| Магомед | дверь | открывать-IPFV-JI |
- (Я обнаружил, что) Магомед дверь открывает.*

(40) и другие аналогичные примеры позволяют предположить, что частица *ji* в высказывании указывает на изменение знаний говорящего о ситуации, составляющей пропозициональное содержание этого высказывания. Иначе, если частица *ji* появляется в контексте пропозиции *p*, это сигнализирует о том, что

1. ситуация *p* имела/имеет место в момент времени t_E
2. существует момент времени t_1 такой, что в t_1 имела место ситуация приобретения говорящим знания о *p*, причем t_1 предшествует моменту речи t_S .

Высказывания с *ji* информируют слушающего не только об описываемой ситуации, составляющей собственно пропозициональное содержание высказывания, но также о том, что имел место акт приобретения информации об этой ситуации. *ji*, как и *ni*, таким образом, обладает "рамочной" семантикой, в которую "вставляется" пропозициональный компонент высказывания, где рамка имеет вид "Я узнал (увидел, услышал, обнаружил), что *p*".

Эпистемический характер "рамочного" предиката подтверждается тем, что *ji*, как и *ni*, обнаруживает требование фактивности пропозиции и несовместимость с проблематической/гипотетической достоверностью. Пропозиция, помещенная в контекст *ji*, так же, как и в случае с *ni*, демонстрирует поведение, сходное с поведением пропозиций в сфере действия эпистемических предикатов пропозициональной установки. Ср., например, (40) и (41), в котором та же самая пропозиция вводится в контексте гипотетической модальности:

- (41) К: В: Ты не знаешь, чем занят Магомед? O: Сложно сказать,
- | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|-------|-------------------|
| *zi | fikiramišexe-wo-ɾ | malhlammald-e: | aka | aq-a-ji |
| я | думать-IPFV-COP=1 | Магомед-ERG | дверь | открывать-IPFV-JI |
- Я думаю, что Магомед дверь открывает.*

Предположение о том, что при помощи *ji* в рассмотрение вводится не только описываемая ситуация, но и акт получения информации о ней, позволяет квали-

фицировать *ji* как маркер пространства личного опыта говорящего. Действительно, для любой ситуации *p*, которая совместима с *ji*, верно, что имел место акт приобретения говорящим знания о ней. Это означает, что множество всех *p* составляет те и только те ситуации, которые включены в мир непосредственного опыта говорящего, ситуации, сведения о которых он получил лично – в которых сам участвовал, о которых узнал в различных обстоятельствах своей жизни и т.д.

Это подтверждается, например, сомнительностью (42) при условии К

(42) Я хочу тебе рассказать о том, как мы жили при царе. В то время

⁷⁹ daRistanni-bi gurʒi-b-iš-k_oa dʒawʔa haʔ-a-ji w=ex-e-m-mi
 дагестанец-PL грузин-PL-OBLPL-COMIT война делать-IPFV-JI HPL=AUX-IPFV-A-PL
дагестанцы с грузинами (, оказывается,) (часто) воевали

(42) описывает ситуацию, удаленную во времени настолько, что опыт о ней по необходимости является достаточно опосредованным. Отдаленность во времени описываемых событий, выносящая их заведомо за пределы личного опыта говорящего, делает употребление *ji* при условии К сомнительным.

В аналогичных контекстах, когда в рассмотрение вводятся события, свидетелем и участником которых был говорящий, события, являющиеся частью "мира говорящего", *ji* вполне приемлемо. Ср. (43), коммуникативный контекст которого весьма напоминает К в (42), но в котором *ji* употребляется без затруднения.

(43) К В В каком году самая хорошая жизнь была, что тебе особенно запомнилось? О В 1958 году, помню, пошел я с овцами. В это время

olruš-bi=d ge=d miʔkam=da(-ji), jem-mi=d
 пастбище-PL=ASS NPL очень=NPL хороший=NPL-JI корм-PL=ASS 4
 siʔʔl=da=d usilenno=da-ji
 немного=NPL=ASS NPL усилен=ADV NPL-JI
пастбища очень хорошие были, корма еще более усилены были

Одним из условий употребления *ji* является, таким образом, временная близость либо описываемой ситуации, либо акта получения информации о ней, события, могущие быть описанными "в режиме JI", в общем случае ограничены сроком жизни говорящего.

Предложенная выше характеристика *ji* позволяет единообразно истолковать семантические эффекты, регулярно обнаруживаемые в содержащих эту частицу высказываниях, в частности, наиболее существенный из них – эффект потери контроля.

3.3 Знание и рефлексия эффект потери контроля

Сильным аргументом в пользу того, что в высказываниях с *ji* слушающему предъявляется не только описываемая ситуация, но и акт приобретения информации об этой ситуации, является продемонстрированное выше ограничение на первое лицо.

В высказываниях с *ji*, описывающих ситуации, в которых был задействован сам говорящий, возникает эффект "потери контроля", который состоит в том, что говорящий как бы наблюдает за своими действиями со стороны, либо узнает о них *ex postfacto*.

- (44) К Я упал, потерял сознание
 zɪ Gaʔɪŋx-i-nGla jɪz-dɪ hammaz-e haraʒ ha=w=ʔ-u-ʒɪ
 я падать-PFV-когда мой-A OBL товарищ-ERG крик 3=делать-PFV-JI
Когда я упал, мой товарищ (, как я потом узнал,) закричал
- (45) К Г просматривает видеозапись свадьбы – Как же мы напились!
 Ничего не помню! Смотри, а ведь
 zɪ xɪp-e -qa o=ŋ=kʼul-ʒɪ
 я вода-IN-ALL l=прыгать PFV-JI
 Я (, оказывается,) в воду прыгнул!
- (46) К Меня однажды тайком сняли на видеокамеру, а потом я посмотрел,
 что же там было
 zɪ alʒa -ʒɪ jɪʃ-dɪ sezed-l-e
 я идти IPFV-JI наш-A OBL площадь-SUP-EL
 Я (оказывается), шел по нашей площади

Точно так же, для в целом неприемлемого (38), приведенного выше, можно предложить контекст, делающий его употребление осмысленным

(47) К Странно, дверь почему-то закрыта А между тем, как я только что вспомнил, когда Магомед пришел, я эту дверь открыл

В нормальной ситуации субъект с неповрежденным сознанием воспринимает события, в которых он сам участвует, синхронно с их развертыванием, восприятие осуществляется как бы "автоматически", и, тем самым, эксплицитное указание на акт получения информации об этих событиях является избыточным, нарушая, в частности постулат релевантности Грайса ([Grice 1985]) Действительно, такое указание может быть релевантным в единственном случае – когда "автоматическое" восприятие не действует, и требуется специальный, независимый от описываемой ситуации акт получения информации о ней, что возможно при отсутствии у говорящего контроля над происходящим

Появление *ʒɪ* в высказываниях, где присутствует первое лицо, создает эффект того, что говорящий участвует в двух вполне самостоятельных ситуациях в собственно описываемой ситуации и в ситуации получения информации о ней – участие и восприятие, в "нормальном" случае осуществляющиеся параллельно, оказываются разнесены по различным ситуациям Соответственно, рефлексия говорящего оказывается в некоторый момент существующей отдельно от него самого, как это имеет место при потере сознания (44), опьянении (45)–(46), амнезии (47) и т д В этом случае действительно, ситуация, в которой участвует говорящий и получение информации о ней (из рассказа, видеозаписи или путем припоминания) осуществляются независимо друг от друга Другая возможность "наблюдать себя со стороны" может представиться воспринимающему субъекту, например, во сне

- (48) za-kʼle Xa-ma hamaXɪn pʒak Gaʒe zɪ jalaw qah-a-ʒɪ
 я OBL-AFF ночь-LAT такой сон видеть PFV я ERG костер жечь-IPFV-JI
Я ночью такой сон видел я костер жгу

3.4 Интерпретации высказываний с *ʒɪ*

Для интерпретации высказываний с *ʒɪ* существенными оказываются несколько различных параметров

- 1 взаиморасположение момента t_E , в которые осуществляется описываемая ситуация и момента t_I , в который говорящему поступает информация об этом
 - 2 наличие/отсутствие доступных восприятию проявлений ситуации
 - 3 видо-временная характеристика описываемой ситуации
- Рассмотрим по порядку действие этих факторов

3.4.1. Положение момента получения информации t_I .

Гипотеза о том, что ji вводит в рассмотрение акт получения информации об описываемой ситуации, предполагает, что в значении высказываний с ji присутствуют два важных семантических компонента, связанных с

- (1) приобретением говорящим новых знаний и
- (2) последующим обладанием этими знаниями.

В конкретных высказываниях с ji эти компоненты могут иметь различный "удельный вес". Интерпретации таких высказываний распадаются на две основные группы, в зависимости от того, какой из указанных компонентов преобладает, причем преобладание одного из компонентов зависит от взаиморасположения момента события t_E и момента получения информации о событии t_I , как показано на схеме:



Возможны два способа взаиморасположения t_E и t_I :

1. t_E не синхронно t_I : говорящий узнает об описываемой ситуации *ex postfacto*, после ее осуществления.

2. t_E синхронно t_I : информация об описываемой ситуации поступает говорящему в режиме "on-line", по мере того, как она реально осуществляется. Условием возможности такой интерпретации является присутствие говорящего при разворачивании ситуации. Другим условием является наличие доступных восприятию проявлений ситуации.

Если t_I не синхронно t_E , то t_I разбивает отрезок времени между t_E и t_S на две части, в этом случае в значении высказываний с ji на первый план выдвигается изменение состояния знаний говорящего. Ср. (49)–(50):

- (49) К: (Друзья поехали в магазин в город. Один из них, Магомед, по дороге сломал ногу. Оставив Магомеда в доме, они отправились в магазин, а когда вернулись, обнаружили, что тот выздоровел.) Прошло много лет, и мы узнали, что
- | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| ma-halmmald-i-s | d-ik-i-n-ji | magazin-e:qa | uRik ^o -as |
| Магомед-OBL-DAT | NEG-хотеть.PFV-JI | магазин-IN-ALL | идти-PT |
- Магомед (, оказывается,) не хотел идти в магазин*
Правый К: и поэтому притворился, что сломал ногу.
- (50) К: У меня пропала курица. Я допросил соседского мальчика
- | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--|
| gad-e | k'at'e | qlo=p=qI-u-ji | |
| мальчик-ERG | курица | 3=красть-PFV-JI | |
- (Оказалось,) мальчик курицу украл.*

И (49), и (50) интерпретируются в "несинхронном" режиме: информация о ситуациях "Магомед не хотел идти в магазин и притворился..." и "Мальчик курицу украл" поступает говорящему после того, как эти ситуации реально осуществились. При этом существенным компонентом данных высказываний является указание не только на собственно их пропозициональное содержание, но и на важность попадания этого содержания в фонд знаний говорящего (в первом случае разъясняются странные события, являющиеся предметом повествования, во втором – пропаша курицы). Появление ji в (49) – (50) связано, таким образом, прежде всего с актом получения информации об описываемой ситуации и происходящим при этом изменением состояния знаний.

²⁹ Знаки "=" и "≠" здесь и далее используются в значении "синхронно" и "несинхронно" соответственно.

Если t_E синхронно t_I , то говорящий располагает информацией о ситуации на всем временном интервале от t_E до t_S . В этом случае в значении высказываний с ji на первый план выдвигается не столько изменение знаний, сколько – результат этого изменения, т.е. возникший благодаря ему опыт говорящего. Ср., например, (43), а также (51)

- (51) K: В пятидесятые годы все было не так, как теперь, в колхозе порядок был,
 ge:=d miŋʔkam=da-ji.
 очень=4 крепкий=ADV.4-JI
Очень крепкий был (закон).

В (51), как и в (43), ситуация приобретения информации отодвигается на второй план; ji в данном случае указывает скорее на наличие у говорящего опыта жизни при крепком законе, чем на обстоятельства получения этого опыта.

Возвращаясь к примеру (42), мы получаем возможность объяснить его неприемлемость при условии K. Действительно, K предполагает, что знание о войне дагестанцев с грузинами является частью постоянного фонда знаний говорящего ("я знаю о том, что было в то время, и хочу тебе рассказать"). С другой стороны, "царское время" находится за пределами личного опыта говорящего; интерпретация в режиме " t_E синхронно t_I " по этой причине невозможна, а контекст не предполагает также уместность интерпретации " t_E несинхронно t_I ". Последняя интерпретация, однако, делается доступной в контексте K', в котором релевантным оказывается не обладание личным опытом определенных исторических событий, а факт "апостериорного" приобретения этого опыта³⁰:

- (52) K': Я всегда думал, что мы с грузинами жили мирно. Но, представляешь, при царе дагестанцы с грузинами (, оказывается,) (часто) воевали.

Правый K₂: Я об этом прочитал вчера в книжке.

Возможности выбора одной из двух названных интерпретаций являются достаточно подвижными. Рассмотрим, например, предложения (53)–(54), составляющие, наряду с (51), фрагмент одного из текстов, в котором повествуется о жизни в колхозе в 50-е годы:

- (53) ma:nʃke k'alXoz-i-qa=b wo=b-i q'ol=b=le birgada,
 тогда колхоз-OBL-POSS=3 COP=3-JI два=3-CARD бригада
 sa Xosulsu dawar-i=b deš-i ɕe: ʔa=b.
 один частный овца-ASS=3 NEG-JI там внутри=3
Тогда в колхозе было две бригады, ни одной частной овцы не было там (в бригадах) внутри.
- (54) sadʒi qɭa:-wu iwh-o-jnGla ɕekilimĩš
 председатель идт.IPFV-COMP говорить-PFV-когда робкий
 w=oxe-ji, Xe=ɣ – k'in-na ɕekilmiš ejxe-ji.
 HPL-AUX.IPFV-JI большой=1 – маленький-A робкий AUX.IPFV-JI

³⁰Заметим, что при "несинхронной" интерпретации высказываний с ji коррекция знаний говорящего тесно связана с коррекцией его ожиданий (ср. русское *оказывается*), нередко вызывает появление адмиративного эффекта. Ср., например, (i)

- (i) K: Я всегда считал Махмуда никудышным охотником. А вчера я Махмуда в лесу случайно встретил, а он медведя разделявает.

maxmud-e sʒo gi=w-k'-u-ji
 Махмуд-EGR медведь 3=убивать-PFV-JI

(Надо же,) Махмуд (-то, оказывается,) медведя убил!

В данном тексте говорящий рассказывает о событиях на основе собственного опыта из предшествующего контекста известно, что в то время, о котором идет речь, он жил в селении и работал в овцеводческой бригаде, тем самым, адекватной интерпретацией (53)–(54) является "t_E синхронно t_I"

Вне контекста, однако, эти же предложения могут интерпретироваться в режиме "t_E не синхронно t_I" Некоторые информанты, которым было предложено прокомментировать эти предложения, изъятые из контекста, предположили как раз, что говорящий ни в одной из бригад сам не работал убедиться в отсутствии частных овец возможности не имел "Рассказчик не сам в то время здесь не был, а потом откуда-то узнал"

Таким образом, интерпретации "t_E синхронно t_I" vs "t_E несинхронно t_I" являются не просто различными, но по одному параметру даже антонимичными Этим параметром является присутствие говорящего при описываемой ситуации Действительно, как показывают, в частности, (53)–(54), "синхронный" режим предполагает, что говорящий является свидетелем описываемой ситуации, точно также "несинхронный" режим, предполагающий, что t_I и t_E отделены друг от друга некоторым временным интервалом, означает, что в t_I непосредственное наблюдение ситуации уже невозможны, и информация о ней заведомо является информацией "из вторых рук". В результате мы имеем диаметрально противоположные оценки информантов условий употребления предложений с *ji* ("Это предложение означает, что рассказчик сам там был" vs "Это предложение означает, что рассказчик сам там не был, а от кого-то узнал")

Несмотря на то, достаточно часто обе интерпретации часто являются доступными одновременно, имеется ряд факторов, влияющих на их сравнительную предпочтительность и понижающих (в предельном случае – до нуля) вероятность одной из них

Так, интерпретация "t_E синхронно t_I" недоступна, если описываемая ситуация имеет нулевые / слабые внешние проявления

Действительно, если речь идет, например, о перфективной ситуации, описываемой глаголом в совершенном виде, то при интерпретации "t_E синхронно t_I" в момент t_I должны наличествовать по меньшей мере видимые результаты ее осуществления, как это имеет место, например, в (55)

- (55) *ʃi* *ʃalhar-e -qa* *hi=p-xiŋ-inGla,* *WeriR* *ʃ oʃ u-ji*
мы город-IN-ALL HPL-приехать PFV-когда солнце сесть-PFV JI
Когда мы приехали в город, солнце уже село

Описываемая ситуация ("солнце село") имеет хорошо определенное результирующее состояние, доступное наблюдению ("темно", "сумерки"), в точке отсчета ('когда мы приехали в город'), это состояние имело место и было зафиксировано повествователем

Если речь идет об имперфективной (описываемой формой несовершенного вида) или стативной ситуации, то интерпретация "t_E синхронно t_I" предполагает, что в t_I она проходит одну из последовательных фаз своего осуществления/состояния и при этом обнаруживает доступные восприятию внешние проявления

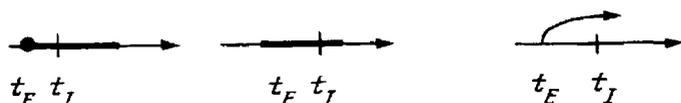
- (56) **К** Я велел Али караулить моих овец и внимательно смотреть вокруг, а сам пошел косить сено Однако,
zi *qa=t-i-juGla* *alli* *Gijsan-i*
я I=приходить-PFV-когда Али засыпать IPFV-JI
когда я вернулся (я обнаружил, что) Али засыпает

Как и в случае (55) с глаголом в аористе, (56) описывает ситуацию "Али засыпает", явно проявляющуюся внешне, соответственно, говорящий / повествователь имеет возможность получить информацию о ней в самый момент ее осуществления. Отличие (55) от (56) состоит в том, что в первом случае синхронным t_I является не осуществление ситуации, а скорее, ее результирующее состояние, во втором же случае объектом наблюдения является именно сама ситуация, проходящая в t_I одну из своих фаз

Формы потенциализа в контексте JI приобретают, как и в случае с ni , проспективную интерпретацию, обычным проявлением которой для динамических контролируемых глаголов является указание на намерения агенса. В том случае, если намерения имеют какие-либо внешние проявления, интерпретация в "синхронном режиме" также оказывается возможной.

- (57) К Когда я проходил по берегу реки,
 gade ok'al-as-J xip-e-qa
 мальчик прыгать-PT-JI вода-IN-ALL
 (я обнаружил что) мальчик собирается прыгнуть в воду

Взаиморасположение t_E и t_I в (55)–(57) может быть представлено следующим образом



Совершенно иначе обстоит дело в случае, если глагол, помещенный в контекст JI , описывает ситуацию, имеющую слабые внешние проявления, например, если глагол относится к разряду эпистемических, волитивных, эмоциональных и т.п.

- (58) К Я вернулся поздно, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить старшего брата Магомеда. Однако,
 z1 qa=ɾ-i-jnGla malhlammad-i-k'le Gaɟx-t-JI
 I=приходить-PFV-когда Магомед-OBL-AFF слышать-PFV-JI
 1 когда я пришел Магомед (как потом оказалось) (это) услышал
 2 ? когда я пришел (я обнаружил, что) Магомед (это) услышал

Ситуации типа "Магомед услышал, что ..." представляют собой внутреннее состояние экспериенсера, соответственно возможности непосредственно наблюдать такие ситуации, являются по необходимости весьма ограниченными. Наиболее естественной интерпретацией высказывания с JI является та, которая предполагает, что информация об этой ситуации сделалась достоянием рассказчика существенно позже, т.е. несинхронно самой ситуации (Например, Магомед наутро пожаловался матери на поздний приход рассказчика, а та его отругала). Интерпретация в режиме " t_E синхронно t_I " оказывается существенно менее предпочтительной, хотя она также доступна в том случае, если ситуация "Магомед услышал, что ..." имеет некоторые вторичные проявления (например, услышав шум, производимый рассказчиком, Магомед пошевелился).

3.4.2 Точка отсчета и временная референция

Если для высказываний с ni доступной является единственная – ретроспективное – положение ТО, то возможности JI в этом отношении оказываются существенно шире и, как результат, шире оказывается диапазон допустимых интерпретаций. Кроме ретроспективной ТО, JI совместимо с синхронной ТО в прошлом и синхронной ТО в настоящем.

событиям и по необходимости синхронной оказывается также t_I : все три точки t_E , t_I и t_R "сжимаются" в одну.

Весьма показательным в этой связи ограничением на употребление ji в нарративном дискурсе. Это ограничение требует присутствия в нарративном тексте диегетического (принадлежащего миру текста) повествователя. В текстах с экзегетическим повествователем ji не зафиксирована ни разу. Объяснение такого ограничения достаточно легко найти, если принять во внимание, что в этом типе дискурса временная позиция наблюдателя локализована внутри нарративной последовательности, т.е. с необходимостью синхронна (см. обсуждение в 2.2). Поскольку из этого следует, что единственной возможной в такой ситуации является интерпретация " t_E синхронно t_I ", делается очевидной необходимость присутствия субъекта речи при описываемых событиях, что равносильно требованию диегетического повествователя.

3.4.3. Синхронная точка отсчета в настоящем.

Высказывания с ji совместимы не только с ретроспективной и синхронной ТО в прошлом, но также с синхронной ТО в настоящем, что проявляется, в частности, в неоднозначности темпоральной референции этих высказываний. Рассмотрим (62), которое допускает две различные интерпретации:

- (62) K_1 : X: Ты вчера купил сигареты? Y: Я вчера ходил в магазин.
 K_2 : X: Давай сходим за сигаретами. Y: Я только что в магазин ходил.
magazin-e: papriz-bi deš-i:
магазин-IN.ESS сигарета-PL NEG-JI
1. В магазине сигарет (, как я обнаружил,) не было.
2. В магазине сигарет (, как я обнаружил,) нет.

ТО в K_1 и K_2 совпадает с моментом речи. Однако, если при условии K_1 описываемая ситуация рассматривается р е т р о с п е к т и в н о, как релевантная для некоторого момента в прошлом без указаний на ее релевантность в момент речи, то при K_2 , напротив, утверждается, что ситуация имеет место с и н х р о н н о моменту речи, как представлено на диаграммах:



В обоих случаях основная семантическая характеристика ji , а именно, указание на момент получения информации t_I , предшествующий моменту речи t_S , сохраняется: и (62.1), и (62.2) предполагают, что момент, в который говорящий узнал об отсутствии сигарет в магазине, расположен в прошлом. Различие данных интерпретаций порождается контекстом: в K_1 предложение выступает как ответ на запрос относительно ситуации в прошлом, в K_2 оно содержит утверждение о текущем положении дел³¹. Интерпретация (62.2), кроме того, предполагает, что на интервале от t_I до t_S описываемая ситуация, по мнению говорящего, не претерпела качественных изменений: это дает возможность утверждать истинность пропозиции в t_S на основании опыта, полученного в t_I .

Условием появления интерпретаций с синхронной ТО в настоящем является протяженность описываемой ситуации во времени, достаточная, чтобы на том ее участке, который предшествует t_S , мог разместиться момент t_I . Соответственно, интерпретации такого типа возможны для стативных глаголов, а также для стальных и имперфективных форм динамических глаголов.

³¹Ср. также (36), интерпретация которого аналогична (62.2).

Так, (63), вводящий в рассмотрение динамическую развивающуюся ситуацию, описываемую формой презенса, демонстрирует диапазон возможностей, аналогичный (62):

- (63) K₁: В: Чем сейчас занят Магомед? О: Сейчас пойду посмотрю... (вернувшись):
 K₂: Чем был вчера занят Магомед? О: Когда я вчера к нему заходил
 malhammad-e: aka-ji aq-a
 Магомед-ERG дверь-JI открывать-IPFV
 Магомед (, я видел,) дверь открывает
 Магомед (, я видел,) дверь открывал

Ср. также (64) со стательной формой результата³²:

- (64) K₁: Посмотри пожалуйста, можем ли мы войти в школу. О (Г уходит и возвращается):
 K₂: Как ты вчера попал в школу – ведь было воскресенье? О:
 aka aq-i-ji wo=d
 дверь открывать-PFV-JI COP=4
 Дверь (, как я обнаружил,) открыта
 Дверь (, как я обнаружил,) была открыта

Форма потенциалиса в контексте *ji* указывает на положение дел, способствующее осуществлению описываемой ситуации. Такое положение дел само по себе истолковывается как стативное и, соответственно, предложения с потенциалисом допускают диапазон интерпретаций, аналогичный зафиксированному в (62)–(64):

- (65) K₁: Раньше, помню, Магомед и Али очень дружили. А сегодня я услышал, что
 K₂: Вчера пришел я в школу, а весь мой класс во дворе стоит, все шумят, кричат. Я подошел посмотреть, в чем дело.
 malhlammald-e: alli-j-s iXI-as-ji
 Магомед-ERG Али-OBL-DAT бить-PT-JI
 Магомед Али (, оказывается), собирается побить
 Магомед Али (, оказывается), собирался побить

Рассмотренные выше примеры показывают, что высказывания с *ji* неоднозначны с точки зрения своей временной референции; в их интерпретации не участвует такая темпоральная координата, как момент речи. Это явление можно охарактеризовать как эффект подавления собственной временной характеристики глагольной формы. Действительно, в независимом (в отсутствии *ji*) употреблении как связки *wo=d/deš*, так и формы презенса, перфекта и потенциалиса, обладают, как обсуждалось выше, собственной временной характеристикой: первые три связаны с настоящим, последняя, в большинстве случаев, с будущим временем.

В контексте *ji*, однако, временная референция высказываний с *ji* устанавливается исходя из положения ТО, а не собственных характеристик глагольных форм, помещенных в контекст *ji*. Положение ТО, в свою очередь, определяется не на уровне грамматических категорий глагола, а скорее, на уровне структуры релевантного отрезка дискурса в целом, функционирования системы дейктических элементов на

³²В цахурском языке результатив совмещен с перфектом, см. подробнее [Кибрик ред. (в печати)].

этом отрезке, режима интерпретации (нарративного vs. речевого) и т.д. *ji*, таким образом единицей, передает управление выбором темпоральной референции от глагольной формы "макрохарактеристикам" дискурса.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предшествующих разделах мы стремились показать, что семантические свойства и дистрибуция хотя *ji* и *ni* и образуют достаточно неожиданные и, отчасти, причудливые сочетания признаков различных грамматических и семантических категорий, такая "причужденность" сводима к достаточно отчетливым инвариантным характеристикам. В самом общем виде эти характеристики можно представить следующим образом:

ji описывает ситуацию как "включенную" в личный опыт говорящего, с возможным акцентом либо на факте приобретения, либо на факте обладания этим опытом.

ni описывает ситуацию как "выключенную" из текущего мира говорящего.

Значения *ni* и *ji* несводимы друг к другу: эти частицы описывают пропозиции, находящиеся в сфере их действия, по различным и даже, в известном смысле, противоположным основаниям – действительно, *ji* характеризует ситуацию положительно, *ni* – отрицательно³³. Можно, тем не менее, указать семантическое "ядро", общее для обеих частиц – это наличие в семантике высказываний с *ji* и *ni* рамочного компонента со значением 'знать'.

В этой связи возникают вопросы, во-первых, о "типологической нише" данного явления и, во-вторых, о его категориальной идентификации, кратким обсуждением которых мы завершаем настоящую статью.

В языках СЕС "пространство говорящего" представлено в дискурсе по преимуществу лексическими единицами – в различных терминах "вводными", "модальными", "дискурсивными"³⁴ словами. Особенностью цахурского языка, не имеющей прямых типологических аналогов в СЕС, является возможность отсылки к сфере эпистемических значений, "встроенная" в морфосинтаксис, и, более того, являющаяся "ядерной" скорее, чем "периферийной" характеристикой последнего.

Заметим, что наличие единиц типа *ji* и *ni* представляется весьма характерным именно для цахурского языка, в котором значительная часть морфосинтаксических средств ориентирована на коммуникативные потребности носителей: морфосинтаксис цахурского языка в этом отношении является более "эгоцентричным", чем, например, русского. Так, по преимуществу коммуникативно-прагматическую мотивацию обнаруживает выбор атрибутивной/неатрибутивной глагольной формы, а также значительное число синтаксических явлений, как, например, выбор анафорических единиц или стратегий оформления сентенциальных актантов; "нестандартно" большим является инвентарь средств, используемых для коммуникативного выделения (см. подробнее [Кибрик (ред.) в печати]).

Некоторые типологические наблюдения о возможных межъязыковых параллелях описываемого явления в других языках все же представляются уместными.

С одной стороны, в родственных языках лезгинской подгруппы восточно-севернокавказских языков имеются явления, весьма "подозрительные" в отношении возможного сходства с цахурскими *ji* и *ni*. Ср., например, приводимые А.А. Магометовым [Магометов 1965:254] данные о системе глагольных форм табасаранского

³³ По этой причине, не запрещено в принципе одновременное появление *ji* и *ni* в составе высказывания, пример и обсуждение см. в [Кибрик (ред.) в печати].

³⁴ См., например, [Кобозева 1991], где содержится подробный обзор частиц различных классов и подходов к их изучению, а также [Баранов, Рахилина, Плунгян 1993], посвященное русским дискурсивным словам и возможностям их толкования.

языка, образованных от деепричастия "длительного вида", или "настоящего времени", на *di*:

	+wu (COP1)	→ настоящее общее
Деепричастие на	+ʔa (COP2)	→ настоящее конкретное
- <i>di</i>		
	+wu- <i>ji</i>	→ прошедшее несовершенное
	+ʔa- <i>ji</i>	→ определенное прошедшее несовершенное

Маркер *ji* в табасаранском языке, как видно из этой схемы, обнаруживает не только фонетическое сходство с цахурским *ji*, но также, по крайней мере, поверхностно, напоминает его функциональные характеристики, а именно, способность изменять темпоральную референцию глагольных форм. К сожалению, имеющийся табасаранский материал недостаточен, чтобы определить степень грамматикализации маркера *ji* и установить, насколько его употребление связано с грамматическими и насколько – с прагматическими и коммуникативными обстоятельствами. Вполне возможно, например, что отвергнутая выше гипотеза о цахурском *ji* как показателе граммы прошедшего времени верна для табасаранского *ji*. Ср. также маркер *-j* в лезгинском языке, используемый для образования "копулы (связки) прошедшего времени" *awa-j* [Haspelmath 1993: 136–137].

С другой стороны, в генетически удаленном тибетском языке имеется явление, которое явственно перекликается с цахурскими маркерами эпистемического статуса. [DeLancey 1986] описывает различие между тибетскими глаголами-связками *yin* vs. *red* 'быть' и *jod* vs. '*dug* 'иметь'. *yin* и *jod* противопоставлены *red* и '*dug* тем, что вторые, в отличие от первых, указывают на "относительную новизну (знаний об описываемой ситуации – Т.М., С.Т.) или степень, в которой они были интегрированы в общую схему знаний говорящего о мире" [DeLancey 1986:205]. Нетрудно заметить, что данная характеристика в значительной степени напоминает обсуждавшиеся выше свойства цахурской частицы *ji*.

Трудности с разрешением проблемы категориальной идентификации и обнаруженного в цахурском языке явления имеют, как представляется, некоторые общетеоретические последствия.

Действительно, как мы стремились показать, *ji* и *ni* не являются маркерами категорий времени и наклонения. Более сложно определить позицию *ji* и *ni* по отношению к категории эвиденциальности. С одной стороны, наиболее распространенное понимание этой категории как "области рамочных значений, представляющих собой указание на источник сведений" говорящего об описываемой ситуации [Козинцева 1994:92] (именно этому пониманию мы следовали в предшествующей части статьи) не позволяет квалифицировать *ji* и *ni* как маркеры граммы этой категории. С другой стороны, под эвиденциальными могут пониматься любые средства языкового кодирования эпистемических значений – подход, в значительной степени принятый, например, авторами сборника [Chafe, Nichols 1986]³⁵. В рамках такого подхода цахурские *ji* и *ni*, как и тибетские глаголы-связки, указывающие не на источник знаний об описываемой ситуации, а, скорее, на некоторый в ы д е л е н н ы й с т а т у с этого знания, можно охарактеризовать как показатели эвиденциальности.

Вопрос о подходящем категориальном ярлыке для некоторого языкового явления имеет, однако, скорее конвенциональный, чем содержательный характер – действительно, исследователи всегда могут принять определенное соглашение о том,

³⁵Широкое понимание эвиденциальности, заметим, не избавлено от проблем. Требуются, например, специальные усилия, чтобы отграничить эвиденциальность "в широком смысле" от модальности, особенно от группы значений эпистемической модальности. См., в частности [Willett 1988:52–56], где обстоятельно обсуждаются существующие в лингвистической теории подходы к определению эвиденциальности.

какими ярлыками они пользуются и каким языковым объектам соответствует тот или иной ярлык. С содержательной точки зрения здесь существенно другое. Трудности с подбором ярлыка сигнализируют, как правило, о наличии проблемы адекватности модели исследуемого явления.

В самом деле, цахурские *ji* и *ni* обладают кластерами признаков, присущих различным категориям – времени, модальности, эвиденциальности в широком понимании – но при этом неверно утверждать ни то, что данные частицы являются маркерами какой-либо одной из этих категорий, ни то, что они выражают значения "склеенных" грамем. Имеются, далее, очевидные основания для сближения *ji* и *ni* с группой категорий, выражающих отношение речевого акта и говорящего, в частности, с категорией *д и с к у р с и в н о с т и*, как ее понимает И.А. Мельчук (в печати)³⁶.

ji и *ni*, таким образом, плохо укладываются в жесткие рамки описания, основанного на "классической" структуралистской идеологии, предполагающей, что утверждение вида "а является членом категории α " всегда имеет определенное истинностное значение из области $\{0,1\}$. Более адекватной в данном случае оказывается модель, оперирующая не четкими категориями, которая допускает возможность того, что истинностное значение подобного утверждения не равно в точности ни 0, ни 1, а, скорее, располагается в интервале между ними. Такая модель³⁷, предполагающая не дискретную организацию грамматических значений в категориальном континууме "...время-наклонение-модальность-эвиденциальность-..." технически более сложна, но, как представляется, она обеспечивает возможность доступа к явлениям, подобным цахурским частицам *ji* и *ni*, на более высоком уровне адекватности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.Д. 1988 – Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. 1993 – Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993.
- Бондарко А.В. 1996 – Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб, 1996.
- Гловинская М.Я. 1982 – Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гулыга О. 1973 – Глагольная система цахурского языка. Рукопись. М., 1973.
- Зализняк А.А. 1988 – О понятии имплицативного типа // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.
- Зализняк А.А. 1990 – О понятии "факт" в лингвистической семантике // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Ибрагимов Г.Х. 1990 – Цахурский язык. М., 1990.
- Кибрик А.Е. (ред.) в печати – Элементы цахурского языка в типологическом освещении.
- Кобозева И.М. 1991 – Проблемы описания частиц в исследованиях 80-х годов // Прагматика и семантика. М., 1991.
- Козищева Н.А. 1994 – Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ. 1994. № 3.
- Магометов А.А. 1965 – Табасаранский язык. Тбилиси, 1965.
- Мельчук И.А. (в печати) – Курс общей морфологии.
- Падучева Е.В. 1996 – Семантические исследования. М., 1996.
- Паршин П.Б. 1996 – Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века. // ВЯ. 1996. № 2.
- ТФГ 1991 – Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1991.
- Bybee J. 1985 – Morphology: a study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
- Chafe W., Nichols J. (eds.) 1986 – Evidentiality: The Linguistic coding of epistemology. Ablex, Norwood, 1986.
- Comrie B. 1976 – Aspect. Cambridge, 1976.
- Comrie B. 1985 – Tense. Cambridge, 1985.
- Dahl Ö. 1985. – Tense and aspect systems. Oxford, 1985.
- DeLancy S. 1986. – Evidentiality and volitionality in Tibetan // Evidentiality: The linguistic coding of epistemology. Edited by W. Chafe, J. Nichols, Ablex (Norwood), 1986.

³⁶И.А. Мельчук дает этой категории следующее определение: "Категорией дискурсивности называется такая категория, элементы которой характеризуют роль данного высказывания в дискурсе". Мельчук, в частности, обсуждает данные языка явапай, в котором эта категория принимает значения "частная констатация", "общая констатация" и "не-констатация".

³⁷См., в частности, [Dahl 1985:1–35], где подробно обсуждается модель "нечетких" грамматических категорий и ее эмпирические возможности.

- Fauconnier J* 1985 – Mental spaces. MIT Press, 1985.
- Fleischman S* 1991 – Toward a theory of tense-aspect in narrative discourse // The function of tense in texts / Ed by J Gvozdanović, A J M Janssen, Ö Dahl Amsterdam, 1991
- Grice H P* 1975 – Logic and conversation // Speech Acts Syntax and Semantics 3 / Ed by P Cole, J Morgan New York, 1975
- Haspelmath M* 1993 – Lezgian grammar Berlin, 1993
- Hopper P J* (ed) 1982 – Tense-aspect. between semantics and pragmatics Amsterdam, 1982
- Labov W* 1977 – Language in the inner city studies in the Black English vernacular Oxford, 1977
- Reichenbach H* 1947 – Elements of symbolic logic N Y , 1947
- Starostin S , Nikolajev S* 1995 – Ethymological dictionary of North Caucasian languages Moscow, 1995
- Wierzbicka A* 1994 – Semantics and epistemology The meaning of 'evidentials' in a cross linguistic perspective // Language sciences 16. № 1. 1994
- Willett T* 1988 – A cross-linguistic survey of grammaticization evidentiality // Studies in Language 12 № 1 1988

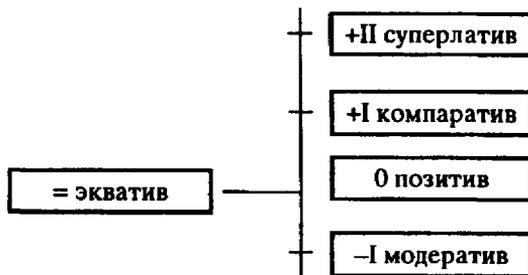
© 1998 г. К. ЛЕРНЕР, В. КУПЕРМАН

**КАТЕГОРИЯ "СРАВНЕНИЯ И ОЦЕНКИ" С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ГИПОТЕЗЫ О "ТИПАХ ЯЗЫКОВОГО ДВИЖЕНИЯ"**

Наблюдаемые в естественных языках разнообразные структурные средства выражения оценки объектов по степени качества в рамках предлагаемой гипотезы рассматриваются как вариативные реализации инвариантной категории "сравнения и оценки" (СО). Последняя, в свою очередь, понимается в качестве одного из компонентов универсальной естественно-семиотической системы, каковой, по сути дела и является язык. Соответственно, данная категория языка предстает как семиотический коррелят некоторой ментальной операции, которая может быть названа операцией сравнения (сопоставления) и признана элементом интеллектуальной активности человека. В этой связи интересно наблюдение Б.А. Серебренникова ". по-видимому, универсальным для восприятия человека является феномен сравнения и сопоставления' он находит основания как в психологии восприятия, так и в ассоциативном мышлении и предметной деятельности" [Серебренников 1989: 89]¹.

Вместе с тем, к числу возможных реализаций категории СО относятся и такие субкатегории качества, которые в парадигму рассматриваемой категории обычно не включаются, например, м о д е р а т и в (ср. груз. *mo-cit-al-o* "красноватый", нем *weisslich* "беловатый") и э к в а т и в (занск. *ma-ĉit-a* "такой же красный", валлийск *glaned* "такой же чистый") Последние, подобно растущим степеням сравнения, соотносятся с положительной степенью по множителю качества².

Таким образом, обобщающая парадигма реализации универсальной категории СО может быть представлена в виде системы семантически неравноценных вариантов, группирующихся вокруг п о л о ж и т е л ь н о й степени:



¹ Все возможное разнообразие языковых средств выражения идеи сравнения (и оценки) накладывает очевидное ограничение на исследование, представленное в рамках журнальной статьи. Ниже рассматриваются только а) прилагательные – прототипические выразители качества [Dressler 1986: 519ff] и б) синтетический способ выражения степени качества.

² Наблюдаемое в картвельских языках привлечение исторически общего морфологического инвентаря для образования разных видов качества [(м о д е р а т и в в груз. *mo- --o* (*mositalo* "красноватый"), занск. *mo- --e*, сванск. *ma- --al ma- --e*, экватив занск. *ma- --el ma- --a* (*ma-ĉit-a* "такой же красный"), и с у п е р л а т и в в сванск. *ma- --e* (*ma-srap-e* "краснейший")], очевидно, свидетельствует о глубинном семантическом родстве всех этих субкатегорий качества, об их принадлежности к набору возможных реализаций единой универсальной категории и, таким образом, подтверждает правомерность включения их в общую парадигму.

Независимо от генетической принадлежности языка и типологии выражения самой идеи сравнения по качеству, отдельные языковые системы предстают с тем или иным дискретным набором вариантов инвариантной категории и, таким образом, не только отличаются, но и "дополняют друг друга"³. И с этой точки зрения каждая языковая система в данный момент времени оказывается на той или иной ступени реализации обсуждаемой категории.

При этом структурная реализация любой подобной универсальной категории (в нашем случае – категории СО) характеризуется некоторыми общими тенденциями, что позволяет говорить о присутствии ей типа движения по конкретным языковым системам⁴.

Вместе с тем, присущий рассматриваемой категории тип движения наиболее ясно прослеживается в раскрытии синтетической парадигмы *р а с т у щ е й* степени качества, что дает возможность на данном этапе исключить из рассмотрения такие разновидности оценки, как экватив и модератив. Закономерности раскрытия рассматриваемой универсальной категории регулярно повторяются в языковых системах, что и будет показано ниже на материале некоторых языков, в которых действует синтетический способ выражения степени качества.

Исходным пунктом становления синтетической парадигмы *р а с т у щ е й* степени в протоиндоевропейском языке, видимо, можно считать возникновение особых форм прилагательного с интенсифицирующим суффиксом **-(i)-yos*. Сложившиеся формы *и н т е н с и в а* (э л а т и в а)⁵ вовлекаются в оппозицию с положительной степенью, отличаясь от нее не только изменением степени качества, но и способностью сочетаться с аргументом в аблативе⁶: **suād(-i)*: **suād(-i)-yos* "сладкий": "очень сладкий" [Kuryłowicz 1964: 227], и **suādi*: **suād(-i)-yos*: *suād(-i)-yos medhyos* "очень сладкий": "слаще меда" [Benveniste 1948: 125]. Таким образом формируется э л а т и в н а я (двухступенчатая) парадигма, выражающая недифференцированную б о л ь ш у ю степень качества, сочетающую в себе семантику, с одной стороны – абсолютного, не подвергающегося сравнению качества и, с другой стороны, – выделения (по множителю качества) объекта из класса объектов:



³ Ср. соображение В. Гумбольдта о том, что конкретные языки, будучи "целостными, завершенными фрагментами" общей картины мира, "если отвлечься от их родства, скорее дополняют друг друга" [Гумбольдт 1985: 38]. Аналогичные отношения можно предположить не только для языковых систем в целом, но и для фрагментов этих систем – на уровне соотношения реализованных вариантов той или иной инвариантной, универсальной категории.

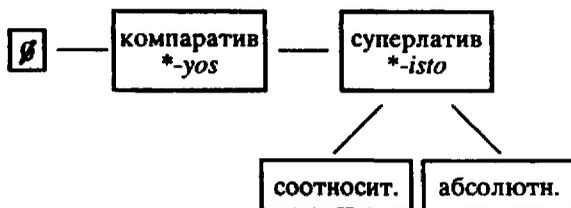
⁴ Лингвистике, видимо, еще предстоит определить инвентарь категорий, содержащихся в универсальной системе языка как бы в свернутом виде, и описать присущий им тип раскрытия. Уже сегодня можно говорить о таких универсальных категориях, как, например, категория классификации, характеризующейся коммуникативной эквивалентностью реализаций или, во всяком случае, неиерархическими связями между реализациями (диффузный тип движения). Другим примером универсальной категории становится категория действия, процесса, проявляющаяся, в частности, в аспектуальных и/или темпорально-модальных подсистемах, способных переходить, "переливаться" друг в друга (см. по этому поводу [Lerner 1994; 1996]).

⁵ Следует заметить, что языки разных групп обнаруживают определенную общую тенденцию движения от номинации качества к фиксации его интенсивности (что, возможно, и маркирует выделение собственно прилагательных из общего класса имен) и далее к высшим степеням качества (см. об этом ниже).

⁶ Или в ином косвенном падеже, например, в дативе или генитиве, как это имеет место в грузинском языке.

Затем в парадигму включается новая морфологическая единица – суффикс **-isto*, присоединяющийся к форме положительной степени: санскр. **yuvan* – **yuva-iṣ-tha* "молодой" – "самый молодой" [Brugmann 1889]. При этом старый элатив утрачивает семантику абсолютного качества, сохраняя лишь способность употребления с аргументом (эксплицитным или имплицитным), тогда как семантическая область абсолютного элатива как бы захватывается новым суффиксом. Таким образом, соотносительный элатив, т.е. элатив с обязательным аргументом, становится собственно компаративом, в то время как абсолютный элатив, маркированный новым формантом, занимает следующую ступень в иерархии, представляя тем самым собственно суперлативом⁷ [Kuryłowicz 1964: 230]. Как следствие, оппозиция складывается между положительной степенью качества и двумя другими морфо-семантическими сущностями: \emptyset **(-ī)-yos*: **-isto*⁸. Иными словами, формируется трехступенчатая парадигма р а с т у щ е й степени качества.

Далее, как и в случае функционального расщепления элатива (см. рис. 2), возникает оппозиция между абсолютным и соотносительным суперлативом:



(ср. санскр. *lagh-u-s*: *lagh-īyas*: *lagh-iṣ-tha-s* [Brugmann 1889: 421]; лат. *suav-i-s*: *suav-ior*: *suav-issim-us* "приятный": "приятнее": "приятнейший").

Такова общая семантико-типологическая модель развертывания синтетической парадигмы р а с т у щ е й степени качества.

Протогерманский функционально и материально унаследовал трехступенчатую систему, сложившуюся в протоиндоевропейском: компаративы на **-izan* (< **-yos*/**-yes*/**-is*) [Kuryłowicz 1964: 223; Bammesberger 1990: 232] и **-ōzan*, суперлативы на **-ista* (< **-isto*) и **-ōsta* [Bammesberger 1990: 233]⁹ (ср. др.-англ. *swiðe*: *swiðor*: *swiðost* "приятный"). Схема реализации категории остается такой же (см. рис. 3).

В праславянской языковой системе раскрытие категории СО начинается с элативной, т.е. двухступенчатой парадигмы, где синтетический элатив выражен суффиксом **-jbs̥*/**-ejbs̥* (ПИЕ **-yos*/**-yes*/**-is*), причем соответствующие формы, как это и следует ожидать для элативной парадигмы, обнаруживают способность к употреблению и в абсолютном, и в соотносительном (с единичным или множественным аргументом) значении [Шахматов 1957: 130] (см. рис. 3).

⁷ Типологически возможна и иная ситуация, когда новая ступень – ступень суперлатива маркируется прежним аффиксом элатива, а семантическая область соотносительно элатива, т.е. собственно компаратива, получает новое выражение – или посредством нового аффикса, как это имеет место в русском, или же формируется новая (аналитическая) модель, как это произошло в грузинском (см. ниже).

⁸ Эта же система в протоиндоевропейском реализуется посредством материально иной серии суффиксов: компаратив **-ero* (*-tero*): суперлатив **-mo* (*-mmo*) [Brugmann 1891: 420]. Однако общая схема формирования парадигмы остается той же самой и в исторических языках равноправно заполняется суффиксами обеих серий.

⁹ В протогерманских суперлативах отражена и вторая группа суффиксов **-uma* (< **-mmo*) готск. *innuma* "самый близкий, внутренний" и **-um-ista* (ср. готск. *auhūmists* "высочайший" наряду с *auhūma*), представляющий собой контаминацию суффиксов разных групп: **-uma* + **-ista* [Kluge 1897: 483].

Следующая ступень раскрытия инвариантной категории (см. рис 3) прослеживается в ряде славянских языков, для которых характерна общая схема, наблюдаемая в протоиндоевропейском. Здесь также семантическая область абсолютного э л а т и в а вычленяется в отдельную концептуальную сущность и получает свое материальное выражение – в данном случае приставку **naj-* (в отличие от нового суффикса в протоиндоевропейском) ср. серб.-хорв *наивештии* "старейший", польск *naj-lepszy* "красивейший" и т.п.

Несколько иное положение сложилось в русском языке, где формы с у п е р л а т и в а на *naj-* не прижились [Борковский, Кузнецов 1965: 245]. Так, в русском в функции с у п е р л а т и в а закрепляется древняя форма э л а т и в а, а новая морфологическая единица [суффикс *-ee (-ше)*] привлекается для выражения к о м п а р а т и в а.

Однако функциональная оппозиция между к о м п а р а т и в о м [*-ee (-ше)*] и с у п е р л а т и в о м (*-ейш*) еще долго оставалась виртуальной, поскольку форма с у п е р л а т и в а сохраняла способность употребляться в сравнительной конструкции с аргументом, наряду с формой к о м п а р а т и в а ср *Сии первые законы еще древнейшие Ярославовых и удобнее и лучше обыкновенных* (Карамзин), а также – *сильнейшего себя противника* (Л Толстой). "В XVIII–XIX вв простые формы превосходной степени еще сохраняли... древнейшее свое значение сравнительной степени" (точнее было бы сказать – б о л ь ш е й степени – Л К, К В) [ГРЯ Т 1, 1953 237–248]. Иными словами, парадигма оценки р а с т у щ е й степени качества в русском языке вплоть до XIX в. оставалась по сути дела двухступенчатой.

Для протогрузинского состояния реконструируется отглагольная по своей природе синтетическая форма большей степени качества, состоящая из показателя объекта (или аргумента), форманта версии, суффиксального элемента *-e*¹⁰ и показателя родительного падежа *-is (-e + -is > ēs > es)*: **mi-did-es-i* "больше меня", **gi-did-es-i* "больше тебя", **h(x)u-did-es-i* "больше него" [Март 1925, Шанидзе 1938, Мачавариани 1958]¹¹.

В результате субстантивизации форм степени и нейтрализации противопоставления по лицам сохраняется лишь форма третьего лица на **h(x)u- -es > u- -es*, утратившая, однако, способность самостоятельно выражать соотношение по качеству и перенявшая только часть прежнего семантического объема – значение большей степени, т.е. значение абсолютного э л а т и в а. Функция же соотношения в порядке компенсации была возложена на ту же синтетическую форму элатива в сочетании с эксплицитно выраженным аргументом в косвенном (род или дат падеже) *u-did-es-i* "очень большой": *u-did-es-i čemsa* "больше меня". Таким образом, грузинский язык (по крайней мере, с V в) мы застаем на этапе двухступенчатой системы, включающей положительную степень (*didi* "большой"), противопоставляющуюся абсолютному (*u did-es-i* "очень большой") или соотносительному (*u-did-es-i čemsa* "больше меня") э л а т и в у (ср рис. 2). Это наблюдение подтверждается способностью древней и единственной для грузинского языка формы б о л ь ш е й степени употребляться как без аргумента, так и в сочетании с единичным и множественным аргументом а) в функции абсолютного э л а т и в а:

ražams ixilnes mocapeni netarisa Grigolisani upicxlesa monazonobisa kanonsa " как узрели ученики блаженного Григола в усерднейшем (факт "более усердном" – Л К,

¹⁰ Сюда же, видимо, нужно добавить и вариант *-o*, поскольку известны формы *u-pi-o* (*u-pi-o is* 'более'), *u-xl-o* (*u-xl-o-is* 'толще').

¹¹ В последнее время предложена новая, возможно, более убедительная интерпретация, согласно которой древнейшей является т н краткая форма степени (без показателя родительного падежа) **h(x)u-did e* [Мачавариани 1987 49–50]. Однако разное понимание генезиса синтетической формы не меняет общей картины раскрытия парадигмы степеней сравнения в грузинском, хотя и оказывается существенным с точки зрения оценки положения в других картвельских языках (см ниже).

К В) исполнении канонических монашеских.. " ("Житие Григола Ханцтийского" 255, 31–32 (иллюстративный материал см. [И. Абуладзе (ред.) 1963]).

б) в функции соотносительного э л а т и в а

umaylesi sluata mat adgilta borcui "выше других мест холм.." ("Житие Серапиона Зарзмского" 226, 24); *da ikmna yvino uhamovnes pirvelsa mis yvinisa* "и стало вино вкуснее того прежнего вина" ("Мученичество св. Евстафия" 169, 24)

Таким образом, актуальная для древнегрузинского состояния парадигма остается двухступенчатой.

Переход к трехступенчатой парадигме завершается лишь во второй половине XX в.¹² При этом вычлняющийся в отдельную морфо-семантическую сущность с у п е р л а т и в оформляется посредством древнего циркумфикса э л а т и в а *и- -es* Одновременно противопоставляющийся а б с о л ю т н о м у с у п е р л а т и в у собственно к о м п а р а т и в получает описательное выражение в виде морфологизируемой краткой формы старого э л а т и в а *ipro < и-pr-ois* "более" (которая фактически превращается в формант степени) и прилагательного (или наречия) в положительной степени – *ipro mayali* "выше": *umaylesi* "высочайший". Вместе с тем, и в к о м п а р а т и в н о й, и в с у п е р л а т и в н о й ветвях парадигмы закрепляются аналитические конструкции, равно содержащие форму п о л о ж и т е л ь н о й степени и отличающиеся лишь характером аргумента (единичный vs множественный) – *masze mayali* "выше него": *qvelaze mayali* "выше всех" В современном грузинском трехступенчатая парадигма сочетает синтетические и аналитические средства выражения растущей степени качества.

Становление трехступенчатой парадигмы, таким образом, знаменует этап категоризации тех концептуальных сущностей, которые изначально, в свернутом виде содержатся в универсальной категории. В этой связи актуально звучит мысль, высказанная И.И. Мещаниновым еще полвека назад: "...формальное выделение тех или иных языковых категорий является результатом того выделения, которое уже существует в отдельном их восприятии... если отличительные формальные показатели выявляются в грамматических категориях, то лежащие в основе их семантические, выделяемые в языке категории можно было бы назвать понятийными категориями" [Мещанинов 1945 195]. По крайней мере, в рамках синтетического способа¹³ раскрытие анализируемой категории СО предполагает вычленение семантической области абсолютного э л а т и в а и введение комбинаторных ограничений на элементы парадигмы. В частности, к о м п а р а т и в, как было показано выше, лишается способности выражать абсолютное (т.е. безаргументное) значение степени, тогда как на с у п е р л а т и в накладывается ограничение на употребление с единичным аргументом.

Вместе с тем, в течение некоторого времени после того, как формальная оппозиция между к о м п а р а т и в о м и с у п е р л а т и в о м уже сложилась в данном языке, указанные ограничения еще могут нарушаться, как это имело место в русском языке в XIX в. (см. примеры выше) и как это спорадически наблюдается в грузинском языке, преимущественно в речи монолингвов¹⁴. С другой стороны попытки рассмотрения материала того или иного языка без учета степени категориализации способны привести к гиперкоррекции, к выявлению с у п е р л а т и в о в (по сути дела, семантических, понятийных с у п е р л а т и в о в) в тех языках, для носителей которых

¹² Детальный анализ становления трехступенчатой парадигмы степеней сравнения в грузинском см [Лернер 1989, 1990 89–100]

¹³ Формализация той же семиотической категории аналитическими средствами регулируется иной процедурой, которая требует специального рассмотрения Однако, можно утверждать, что результатом последовательной реализации аналитической процедуры также оказывается трехступенчатая парадигма

¹⁴ Нами записаны фразы типа – *amazze ulamazesi gogo ubanši ar daiareboda*, "в районе не было девушки, красивее этой", где конструкция, отражающая э л а т и в н ы й этап – *amazze ulamazesi*, употреблена вместо вполне нормативной для современного языка конструкции к о м п а р а т и в а с п о л о ж и т е л ь н о й степенью – *amazze lamazi*

различение компаратива и суперлатива еще не является релевантным или, во всяком случае необходимым, что нередко можно встретить в грамматических описаниях¹⁵. В этом плане другие картвельские языки оказываются на разных этапах раскрытия данной категории.

С точки зрения синтетических средств реализации данной универсальной категории лазский язык (или по другой классификации – чанский диалект занского языка) фактически остается на начальной (положительной) ступени, поскольку синтетические средства выражения растущей степени качества в нем отсутствуют.

Большая степень здесь выражается или посредством типичной для северокавказских (преимущественно – восточных) языков конструкцией, содержащей прилагательное в положительной степени и объект сравнения (аргумент) в аблативе: *oxuri-šen didi ren* "большой (от) дома есть" или же при помощи лексических интенсификаторов, не прошедших ступень морфологизации: *daha nosṭoney* "много (очень) вкусный", *henni nosṭoney* "всех вкусный". Таким образом, с точки зрения аналитических средств язык находится на этапе двухступенчатой парадигмы.

В мегрельском действует та же аналитическая конструкция с положительной степенью и аргументом в аблативе: *arti-še meṭi* "много (т.е. больше) одного" (ср. *oxori-šen meṭi* и груз. *imaze meṭi*). Однако здесь уже известна и единственная синтетическая форма степени с циркумфиксом *u-* – *aš*, увязываемая с груз. *u-* – *-es* и возводимая на уровень грузинско-занского единства [Климов 1964: 185]¹⁶. Подобно грузинскому элативу, эта форма сохраняет способность сочетаться с единичным аргументом в аблативе (или генетиве) *tuma-še u-did-aš-i* "(от) отца больше". Учитывая отсутствие специальной формы с суперлатива, можно предположить, что эта форма остается на уровне элатива. Таким образом, с точки зрения синтетической парадигмы мегрельский, подобно древнегрузинскому, предстает на этапе двухступенчатой системы.

В сванском языке представлена трехступенчатая парадигма, где синтетический компаратив выражается с помощью форманта *xo-* – *-a*, а суперлатив – посредством циркумфикса *ma-* – *-e* (*cerni* "красный": *xo-cran-a* "краснее": *ma-cran-e* "краснейший").

Сванский формант *xo-* – *-a*, генетически увязываемый с "ханметной" формой грузинского элатива *h(x)u-* – *-s* [Март 1915; 1925: 92; Шанидзе 1936]¹⁷, в отличие от грузинского закрепляется в функции собственно компаратива, тогда как для суперлатива привлекается иная единица (ср. модель в протоиндоевропейском и некоторых славянских языках) – формант *ma-* – *-e*.

Подобно груз. *u-* – *-es*, формант растущей степени *xo-* – *-a* может быть интерпретирован как древний элатив¹⁸, отражающий период функционирования двух-

¹⁵ Например, когда характерная для языков с аналитической процедурой элативная по сути конструкция типа "(от) меня большой" интерпретируется посредством собственно компаратива "больше меня". Точно так же неразличением ступеней раскрытия объясняется трактовка древней большей степени как одновременно сравнительной и превосходной. Эта методологическая непоследовательность встречается и в дефиниции грузинского элатива. А.Г. Шанидзе справедливо указывает, что для грузинско видеть определения иного толка – "...в префиксе *u-* грузинской сравнительной степени (она же и превосходного языка характерна единственная форма большей степени [Шанидзе 1973: 140]. Однако чаще возможная) мы усматривали" [Март 1915: 51]; или "мы не находим никаких следов изменения сравнительно-превосходной степени в 1-ом и 2-ом лице" [Дондуа 1975: 105]. И наконец, А.С. Чикобава интерпретирует рассматриваемую форму как форму сравнительной и превосходной степени [Чикобава 1967: 37].

¹⁶ Если принять реконструкцию М. Мачавариани (см. сноска 10), то мегрельский формант степени обнаруживает параллель со вторичной грузинской формой, уже усложненной показателем род. падежа *-is*.

¹⁷ Хотя более логично было бы связать сванскую форму с первичной (М.М. Мачавариани), краткой грузинской формой элатива (*h(x)u-* – *-e* (ср. *u-did-e* "больше"), широко распространенный в памятниках среднегрузинского языка.

¹⁸ Рудиментом этапа элативности в сванском, очевидно, являются некоторые формы древней большей

ступенчатой парадигмы в сванском, в то время как вовлечение в систему новой единицы – форманта *ma-* – *e* знаменует переход к трехступенчатой парадигме. Этот процесс прошел в сванском достаточно давно – формы с у п е р л а т и в а на *ma-* – *e* зафиксированы уже в народной сванской поэзии – и, видимо, независимо от грузинского, с использованием иной типологической возможности.

Итак, даже краткий анализ ограниченного числа языковых систем обнаруживает четко выраженную направленность раскрытия универсальной категории СО – исходный (абсолютный) и н т е н с и в¹⁹ реинтерпретируется как э л а т и в (соотносительный и абсолютный), затем соотносительный э л а т и в закрепляется в функции к о м п а р а т и в а, тогда как семантическая область абсолютного э л а т и в а вычленяется в с у п е р л а т и в (с подразделением на абсолютный и соотносительный) – что позволяет говорить о характерном для нее векторном типе движения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абулдазе И. (ред.). 1963 – Памятники грузинской агнографической литературы (V–X вв.). Т. I. Тбилиси. 1963 (на груз. яз.).
- Борковский В.И., Кузнецов П.С. 1965 – Историческая грамматика русского языка. М., 1965.
- ГРЯ 1965 – Грамматика русского языка. Т. I. М., 1965.
- Гумбольдт В. 1984 – О различении строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // В. Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Дондуа К. 1975 – К генезису формы сравнительно-превосходной степени в картвельских языках. Л., 1975.
- Камбечоков А.М. 1987 – О месте сравнительной частицы *naх* в атрибутивном словосочетании кабардино-черкесского языка // Научная конференция аспирантов и молодых научных сотрудников Института языкознания АН ГССР. Тезисы докладов. Тбилиси. 1988.
- Климов Г.А. 1964 – Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
- Лернер К. 1989 – Социальная природа языка и процесс языкового взаимодействия. Социолингвистический анализ контактной реинтерпретации. Тбилиси, 1989.
- Лернер К. 1990 – К вопросу о социо-лингвистических условиях эволюции грамматической категории // ВЯ. 1990. № 1.
- Март Н.Я. 1915 – Определение языка второй категории Ахеменидских клинообразных надписей по данным яфетического языкознания // Записки Императорского Русского Археологического Общества. Т. 22. 1913–1914. СПб., 1915.
- Март Н.Я. 1925 – Грамматика литературного древнегрузинского языка. Л., 1925.
- Мачавариани Г. 1958 – К генезису форм сравнительной степени в картвельских языках // Труды ТГУ. Тбилиси. 1958 (на груз. языке).
- Мачавариани М. 1987 – Семантика грамматической категории версий. Тбилиси. 1987.

ш е й степени типа *хо-ѐ-а* "лучше", *хо-1-а* "хуже", *хо-лиаг-а* "младший", утратившие свою исходную форму э л а т и в а и закрепившиеся в форме п о л о ж и т е л ь н о й степени. Затем эта же форма в качестве опорной основы вовлекается во вторичную деривацию для образования компаратива: *хоѐа* "хороший" > > *хоѐа-ил* > *хоѐил//хоѐелл//хоѐул* "лучше" [Чкадуа 1987]; в то время как суперлатив образуется от корневых морфем тех же форм: *ma-ѐ-en-e* "самый хороший", *ma-huk-en-e* "самый младший". Ср. супплетивное образование в грузинском, где форма э л а т и в а на *и-* – *es-*: *u-ket-es-i* не становится с у п е р л а т и в о м, как другие формы с этим циркумфиксом, а закрепляется в значении к о м п а р а т и в а – "лучше" и подвергается вторичной деривации *sa-u-ket-es-o* "наилучший".

¹⁹ Ср. замечание относительно древнегрузинского элатива: "In Old Georgian adjectives have an intensive form, which can express the comparative or superlative degree" [Fähnrich 1994: 151]. С другой стороны, к морфологизации лексического показателя интенсивности прибегают и те языки, в которых действует аналитический способ выражения степени. Например, удийский: *ѐѐа* "красный", *lap ѐѐа* "очень красный" и неологизм *ѐо-р-ѐѐа* "краснейший", где элемент *-р* восходит к *lap* [Сихарулидзе 1985], т.е. имеет место двойное выражение интенсивности. Или кабардино-черкесский, где в роли показателя степени (в отличие от удийского к о м п а р а т и в а) морфологизируется частица *laх* "очень" или редуцированный вариант той же частицы [Камбечоков 1987]. Можно предположить, что морфологизация показателя интенсивности в языках с аналитическим э л а т и в о м служит одной из типологических возможностей перехода к трехступенчатой системе. Точно так же языки с синтетическим э л а т и в о м на этапе переложения системы обращаются к аналитической конструкции (ср. возникновение компаративной конструкции *ѐemse didi* "(от) меня большой" в грузинском).

- Мещанинов И.И.* 1949 – Члены предложения и части речи. М., 1949.
- Серебренников Б.А.* 1988 – Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление. М., 1988.
- Сихраулидзе Т.* 1985 – Органическое образование превосходной степени имен прилагательных в удийском языке // Научная конференция аспирантов и молодых научных сотрудников. Институт языкознания АН ГССР. Тезисы докладов. Тбилиси, 1985.
- Чикобава А.С.* 1967 – Грузинский язык // Языки народов СССР. Т. 4. М., 1967.
- Чкадуа Р.Б.* 1987 – Некоторые вопросы образования степеней сравнения в сванском языке // Научная конференция аспирантов и молодых научных сотрудников. Институт языкознания АН ГССР. Тезисы докладов. Тбилиси, 1987.
- Шанидзе А.Г.* 1936 – Показатель лица в склоняемых именах // Труды ТГУ. I. Тбилиси, 1936.
- Шанидзе А.Г.* 1973 – Основы грамматики грузинского языка. Тбилиси, 1973 (на груз. языке).
- Шахматов А.А.* 1957 – Историческая морфология русского языка. М., 1957.
- Vanmesberger A.* 1990 – Die Morphologie des Urgermanisches Nomens. Heidelberg, 1990.
- Benveniste E.* 1948 – Noms d'agent et noms d'action en Indo-Europeen. Paris, 1948.
- Brugmann K.* 1889 – Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1886–1893.
- Dressler W.* 1986 – Explanation in natural morphology, illustrated with comparative and agent-noun formation // Linguistics, 1986.
- Fähnrich H.* 1994 – Old Georgian // The indigenous languages of the Caucasus V. / Ed. by A.C. Harris. New York, 1994.
- Kluge F.* 1897 – Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte. 2 Aufl. Strassburg, 1897.
- Kuryłowicz J.* 1964 – The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
- Lerner K.* 1996 – Towards transition of the aspectual system into modal-temporal system in the Georgian Verb // Societas Caucasicologica Europaea. Caucasian Colloquim. Leiden, 1996.

© 1998 г. Ю.В. МОНИЧ

**ПРОБЛЕМЫ ЭТИМОЛОГИИ И СЕМАНТИКА
РИТУАЛИЗОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

0. За относительно короткий срок своего существования этимологическая дисциплина, сложившаяся в рамках сравнительно-исторического метода, прошла практически все стадии оформления и, можно без преувеличения констатировать, что в итоге она достигла выдающихся результатов в области формы существования основного объекта своего исследования – слова. В процессе разработки и совершенствования приемов этимологического анализа содержательная сторона языковой единицы по объективным причинам играла вспомогательную роль. Однако закономерно, чем меньше оставалось претензий к формальной стороне исследовательской процедуры, тем больше становилось их по отношению к семантическим штудиям. Как говорят современные исследователи: «Семантические аспекты этимологии весьма сложны и с трудом поддаются регламентации. Никакого "закона", который можно было бы сопоставить со звуковым законом, в семантическом развитии слов установить не удастся. Здесь приходится опираться не на необходимое, а на возможное в рамках здравого смысла» [Абаев 1986: 20]. К настоящему времени актуальность этой проблемы выросла настолько, что содержательная сторона слова из верного на начальных этапах вспомогательного орудия превратилась в серьезное препятствие на пути дальнейших разработок в области формы.

В середине нашего столетия вышел в свет выдающийся труд Ю. Покорного "Indogermanisches etymologisches Wörterbuch" [Pokorny 1959], который явился обобщением главных достижений сравнительно-исторического языкознания. На сегодняшний день – это основное и богатейшее собрание индоевропейских корней и возводимой к ним лексики, без которого не обходится ни один этимолог. Естественно, движение научной мысли требует пересмотра некоторых принципов группировки слов в данном словаре. В частности, уже давно замечено, что в словаре Ю. Покорного имеет место довольно разветвленная корневая омонимия и еще более разветвленная синонимия, что иной раз производит впечатление некоторой гипертрофированности этих явлений. Как известно, современная критика словаря идет именно в этом направлении. Например, указывается, что в отдельных (быть может, и довольно многих) случаях у Ю. Покорного разведены по омонимичным рубрикам слова, которые было бы более целесообразно поместить под одной рубрикой, и наоборот. Важно подчеркнуть, что эта критика строится в анализе именно отдельных конкретных случаев, а не самого принципа группировки слов, на основе учета конкретных штудий, "портретов" слов, а также общих данных акцентологии, ларингальной теории, ностратики, морфосемантических полей и т.д.

В своей работе мы не предпринимаем попытки обобщить или суммировать эти зачастую убедительные критические данные. Наш главный вопрос – иной: каков главный массовый критерий Покорного, на основании которого в его словаре существуют столь обширные, представленные десятками и сотнями слов под одной "заглавной формой" группы? Нам кажется очевидным, что эти группировки нельзя опровергнуть критическими замечаниями об отдельных "ошибках" Покорного в

определении омонимии и/или полисемии. Вопросы омонимии и полисемии применительно к группировкам слов в словаре Покорного мы рассматриваем не в плане суммирования отдельных конкретных наблюдений, а по двум магистральным линиям – 1) "массовидность" (нашим объектом являются именно массы, группы корней) и 2) "подвижность границ между омонимией и полисемией". Подчеркнем, что вторая из этих линий, к сожалению неза заслуженно забытая, впервые прочерчена в отечественной лингвистике в работе О.С. Ахмановой "Очерки по общей и русской лексикологии" [Ахманова 1957]. Предваряя дальнейшее изложение, сформулируем наш общий тезис: мы полагаем, что таким путем в основе группировок Покорного может быть обнаружен "ситуативный принцип", общность некоторой реальной ситуации ("фрейм"). Этот принцип, разумеется, является гипотезой, аргументировать которую и является целью нашего дальнейшего изложения. Сразу скажем, что, поскольку речь идет об о б о б щ е н н ы х ситуациях (в смысле фреймов), то, применительно к отдаленной реконструкции может возникнуть вопрос – имеются ли в виду "ситуации глоттогенеза вообще" или же это ситуации семантической деривации, хотя и ситуации, зачастую значительно отдаленные от письменных периодов. Подчеркнем, что мы затрагиваем здесь только вторые, связанные, по нашему мнению с динамикой особого типа существования, господствовавшего не только в доисторические времена, но и на протяжении многих столетий исторического периода.

В связи с тем, что семантика языковых единиц долгое время являлась вспомогательным средством на пути выявления исходной формы, значения реконструированных корней, что неоднократно отмечалось исследователями (см. например [Откупщиков 1967: 167]), несут довольно абстрактный характер. Естественно, любой этимолог осознает, что семантика индоевропейских архетипов, являющаяся для него удобным рабочим ориентиром, вряд ли могла существовать в сознании носителя праиндоевропейского языка в таком виде, в каком она представлена в словаре Ю. Покорного. В противном случае было бы необходимо считать, что человек сначала наделял именами абстрактные сущности и уже потому с их помощью описывал конкретные жизненные ситуации. Однако это совершенно противоречит как современным взглядам на развитие человеческого мышления, так и данным общей семиотики. Последние недвусмысленно указывают на то, что знак, прежде чем стать немотивированным, проходит весьма продолжительный путь по эволюционной лестнице, постепенно вычлениваясь из реалии, с которой он соотносится (см. [Степанов 1971: 28–32]). Этот процесс великолепно иллюстрируется ритуализацией по Лоренцу-Хаксли (см. [Степанов, Проскурин 1992: 6]).

Очевидно, что уже давно назревает насущная необходимость кардинального пересмотра абстрактной семантики, сопровождающей не только праиндоевропейские архетипы, но зачастую архетипы реконструкций праязыков отдельных диалектных групп. Не случайно поэтому, что взгляды исследователей все чаще начинают обращаться к реалиям, сопровождавшим носителя языка. За последние десятилетия в отечественной науке появились фундаментальные работы О.Н. Трубочева [Трубочев 1966], Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.В. Иванова [Гамкрелидзе, Иванов 1984], а также ряд других заслуживающих внимания публикаций, соприкасающихся с данной проблемой (см. в частности [Топоров 1981; Степанов 1995]). Среди последних крупных публикаций следует отметить работы М.М. Маковского, в которых автор убедительно показал, что ряд корней, приводимых в словаре Ю. Покорного как омонимы, в действительности являются метафорами от единого корня с первоначанием "рвать, гнуть" [Маковский 1996а; 1996б].

Среди первых, кем отчетливо была сформулирована проблемная ситуация в области семантической реконструкции, был Э. Бенвенист. В статье "Семантические проблемы реконструкции", впервые опубликованной в 1954 г., он настойчиво призывает лингвиста, занимающегося реконструкцией исходного значения какой-либо формы, учитывать совокупность контекстов, в которых эта форма употребляется [Бенвенист 1974: 331–332]. На анализе многих примеров автор блестяще демонстрирует свой метод, вскрыв-

вая явные изъяны переносов "абстракций" современного здравого смысла в "темные углы" древних языков, как, например, абсурдность прямолинейного вывода значения "кормить, выращивать ребенка" из значения "створаживать (молоко)", якобы первичного у др.-греч. τρέφω, что подразумевает, будто ребенка вскармливали прокисшим молоком или только получаемыми из него вторичными продуктами. Анализируя контексты, автор показывает, что семантика τρέφω заключала в себе куда более сложные представления об активном способствовании естественному росту и развитию [Там же: 336], и подобные целостные представления, объединяющие в себе смыслы более специальных терминов типа "створаживать" и "кормить", которыми привык оперировать здоровый смысл современного исследователя, были характерным явлением, составляющим ядро семантики древнего слова.

Проблема, которую можно и нужно решать посредством изучения контекстов там, где таковые существуют, т.е. на уровне древнеписьменных памятников, на более хронологически глубоких уровнях, т.е. там, где необходимо реконструировать и сам контекст, требует для своего решения какого-то иного подхода. В данной статье мы предпринимаем попытку вскрыть исходные семантические отношения посредством реконструкции особенностей отражения в сознании носителя языка тех е л о с т н о в о с п р и н и м а е м ы х ж и з н е н н ы х с и т у а ц и й, в которых он вступал во взаимодействие с о с о б о з н а ч и м ы м и для его существования реалиями внешнего мира. Для этой цели мы посчитали целесообразным воспользоваться приемами семантического анализа, сложившимися в рамках когнитивной парадигмы лингвистики (в частности, теории скриптов). С помощью этих приемов мы стремимся определить рамки тех ментальных репрезентаций, которые, по нашему предположению, составляли семантическое ядро естественных знаков, называемых ритуализованными действиями, и дальше пытаемся сопоставить реконструируемые репрезентации с семантикой уже собственно языковых знаков. В соответствии с естественным направлением метода построена и композиция статьи, и, таким образом, речь сначала пойдет о реалиях.

1. РИТУАЛИЗОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

С точки зрения биосемиотики живой организм познает окружающий мир посредством цикла взаимодействий с различными его аспектами. Взаимодействие или с в я з ь между организмом и его внешней средой здесь можно интерпретировать как з н а ч е н и е на низшей ступени знаковости [Степанов 1971: 28].

Знаковость той или иной реалии проявляется в том, что организм выделяет ее по каким-либо отличительным признакам из множества других, несущественных для него реалий. То есть организм распознает быстрее всего те реалии, с которыми он взаимодействует наиболее часто и регулярно, и от этого прямо зависит степень выделенности определенных отличительных признаков, являющихся представителями (=знаками) той или иной реалии. Чем чаще и интенсивнее взаимодействует организм с определенной реалией, тем интенсивнее вычленяются из этой реалии опознавательные признаки. Таким образом, знаки развиваются прежде всего в тех взаимодействиях, которые наиболее регулярны и значимы для поддержания жизненного цикла.

На психическом уровне организации живой системы складывается с и с т е м а з н а н и я, которая формируется и структурируется особыми модусами взаимодействия: восприятием и обработкой поступающей информации. В процессе восприятия тот или иной фрагмент действительности структурируется по законам гештальта: на общем фоне наиболее броские и существенные детали вырисовывают фигуру. Эти же отношения закономерно отображаются и на уровне системы знания, где структурирующим фактором является з н а ч и м о с т ь, или ценность, воспринимаемой реалии. Степень значимости и будет определять место того или иного отрезка действительности в системе репрезентаций, и – соответственно – центр системы будет занимать та область взаимодействий организма с внешней средой, которая н а и б о л е е з н а ч и м а для поддержания жизненного цикла. На уровне биологической жизни эта

область находится в точке пересечения интересов двух фундаментальных – диаметрально противоположных и в то же время постоянно перерастающих друг в друга – инстинктов: агрессии и размножения¹. На отрицательной шкале степень значимости растет по мере роста угрозы существованию, на положительной – по мере гармонизации отношений между особями одного вида, причем рост второй прямо зависит от роста первой.

В указанной области взаимодействий происходит явление ритуализации: возникающая в процессе эволюции упорядоченная совокупность определенных действий становится средством общения между особями одного вида². Таким образом, биологические ритуалы приобретают сигнальную функцию и становятся первичными знаками (см. [Степанов, Проскурин 1992: 6]). У многих видов животных, объединяющихся в крупные сообщества, ритуал становится автономным побуждением – "особенным инстинктом, который мы вправе называть с о ц и а л ь н ы м" [Лоренц 1994: 188].

Как показывают тщательные исследования этологов, "все человеческие ритуалы возникли естественным путем, в значительной степени аналогичным эволюции социальных инстинктов у животных и у человека" [Лоренц 1994: 90]. О том, что языковые явления развивались изначально в русле ритуала, уже не раз говорилось и лингвистами (см. [Топоров 1988: 22; также Маковский 1997: 75]). Таким образом, можно предполагать, что в своих истоках человеческий ритуал обладал теми же смыслами, что и ритуалы животных.

В пределах сигнальной функции ритуала выделяются два аспекта: 1) ритуализованные действия, изначально направленные на угрожающий объект, выполняют функцию отвода агрессии, 2) будучи особым образом переориентированными (см. [Лоренц 1994: 173–174]), те же действия принимают на себя функцию объединения особей одного вида (см. [Степанов, Проскурин 1992: 6]). Эти две частные функции ритуала и определяют его естественный смысл в двух исходных значениях: "защита, отражение угрозы" и "объединение, связь особей одного вида в замкнутую группу". Этот смысл рождался в е с т е с т в е н н ы х с и т у а ц и я х, которые и будут рассматриваться в данной статье в качестве реалий.

Конечно, могут возникнуть возражения с позиций глоттохронологии. Единственное, что мы можем противопоставить этому, – это наше нижеследующее изложение. Приступая к данному исследованию, мы исходили из соображения, что если хотя бы что-то имело шанс пройти сквозь "фильтр" Сводеша, не изменив до неузнаваемости своей внутренней структуры, то этого следует ожидать прежде всего от центра системы.

2. СТРУКТУРА СИТУАЦИИ

Как прямо указывают функции ритуализованных действий, изначальным и базовым фоном, на котором возникали первые человеческие ритуалы, являлись жизненные ситуации, в которых присутствовала непосредственная угроза существованию. Естественно, жизнь первобытного человека протекала среди множества типов подобных ситуаций, которые различались по самым различным параметрам. Хотя описание этих типов не входит в задачи данного исследования, все же мы не можем избежать некоторой типологизации, возникающей как бы спонтанно при определении границ прототипической ситуации и в последующем наблюдении происходящей на ее основе категоризации. Поэтому мы не посвящаем типологии специального раздела и сначала постараемся дать определение тому, что здесь будет пониматься под словом "ситуация".

2.1. Ситуация в лингвистике и психологии. Лингвист и психолог, ставящие перед

¹ К. Лоренц к так называемым "основным" инстинктам относит питание, размножение, бегство и агрессию (см. [Лоренц 1994: 73]).

² В некоторой мере она также затрагивает и взаимодействия между разными видами, но этот вопрос для нас малосуществен.

собой разные задачи, по-разному определяют субъект ситуации. Поскольку психолога интересуют прежде всего мотивы поведения, то его субъект всегда является наблюдателем, по отношению к которому прочие участники ситуации только внешние объекты. Лингвиста же интересуют способы описания, и поэтому его наблюдатель – всегда отстраненное от происходящего в ситуации лицо, которое по собственному произволу выделяет в противостоящей и независимой от его участия ситуации субъект и объекты. По этой причине лингвист безразличен к мотивам поведения своего субъекта, но не безразличен к мотивам речевого поведения своего наблюдателя.

Поскольку у психолога субъект и наблюдатель – одно лицо, то из этого невольно вытекает, что в ситуации подчеркивается ее статический аспект. Ситуация у психолога – это совокупность определенных внешних обстоятельств, отраженная в сознании субъекта. Во временном отношении она предшествует его активной реакции [Психология 1990: 364], т.е. в рамках ситуации активность субъекта ограничивается только актом фиксации некоторого положения дел, по отношению к которому нужно действовать надлежащим образом и которое в период активного действия остается в его сознании как статическая картина.

Лингвист же, напротив, склонен описывать ситуацию как процесс. Например, если наблюдатель-лингвист опишет некоторую ситуацию пропозицией *Человек преследует зверя*, то человек будет являться субъектом, зверя – объектом. Но при ином видении они могут поменяться местами: *зверь преследуется человеком*. Если же на месте наблюдателя-лингвиста окажется наблюдатель-психолог, то и "человек" и "зверь" тут же превратятся в равноправных объектов, отразившихся в сознании субъекта. т.е. наблюдателя-психолога. Эти два объекта и их отражение психолог опишет как три составляющих ситуацию элемента и приступит к описанию реакции субъекта. Последняя, таким образом, отделяется от ситуации и называется поисковой или надситуативной активностью.

Поскольку нас интересует прежде всего то, как отражаются в сознании носителя языка и как естественным путем структурируются воспринимаемые реалии, для нас более выгодной представляется позиция психолога. Но поскольку нас еще в большей степени интересует отражение субъектом не объектов, а собственных взаимодействий с объектами, то мы включаем в рамки ситуации также активную реакцию субъекта. Таким образом, метод, используемый в данной статье, можно охарактеризовать как "рефлексия над собой действующим".

2.2. Статический аспект ситуации. С точки зрения наблюдателя, включенного в ситуацию, определенное стечение обстоятельств – в рассматриваемой категории ситуаций оцениваемое субъектом как угрожающее его существованию – будет являться стимулом, побуждающим его к действию, направленному на выход за пределы ситуации. Пока длится процесс выхода, некоторые значимые отношения в ситуации могут изменяться только количественно, тогда как качество их остается неизменным. В данном случае это угроза, которая может убывать или возрастать, оставаясь при этом только угрозой.

Таким образом, в ситуации необходимо выделить статический аспект, включающий действующих лиц и неизменное в качественном плане отношение между ними, т.е. своего рода фрейм, задающий рамки, внутри которых осуществляется взаимодействие между субъектом и объектом.

2.2.1. Субъект. Под субъектом ситуации следует понимать носителя языка, который является обобщенным членом группы (сообщества), где область взаимодействий каждого отдельного индивида в общих и самых существенных чертах совпадает с областью взаимодействий любого другого индивида. Это является необходимым условием для того, чтобы в процессе коммуникации один индивид мог ориентировать другого в его когнитивной области [Матурана 1996: 117]. Однако следует учитывать, что здесь рассматриваются не акты коммуникации, а только психические процессы формирования семантических структур.

2.2.2. Объект. Объектом ситуации в рассматриваемом случае будет обобщенный источник угрозы плюс некоторые отношения – пространственные или иерархические – между ним и субъектом, которые последнему надлежит преобразовать так, чтобы максимально снизить или устранить угрозу.

2.2.3. Угроза или эмоциональный фон. Общий фон эмоционального отражения объекта в субъекте трудно охарактеризовать каким-либо общим термином, так как степень эмоционального накала будет находиться в прямой зависимости от того, насколько высоко субъект оценивает степень угрозы. Мы будем в основном оперировать такими понятиями, как тревожность, страх и гнев.

Выделение данного элемента представляется необходимым для описания, так как в процессе восприятия эмоция играет роль связующего фактора³, создающего на своем фоне целостное психическое образование, имеющее структуру гештальта⁴. Поэтому статический аспект ситуации в целом можно определить как фон, на котором динамика взаимодействия между субъектом и объектом вырисовывает фигуру.

2.3. Динамический аспект ситуации. В рассматриваемом типе взаимодействия, где объект является активной сущностью, действия субъекта и объекта вырисовывают две параллельные фигуры, имеющие сходные очертания. Несмотря на внешнее сходство, действия субъекта и объекта согласно принятым нами условиям диаметрально различаются в психологическом плане. Установка объекта исходно агрессивная, и он же выступает инициатором взаимодействия, где действия субъекта являются защитной реакцией и мотивируются необходимостью избежать и/или устранить угрозу. Таким образом, действия объекта как бы отражаются в реакциях субъекта.

2.3.1. Скрипты. С момента оценки субъектом некоторого стечения обстоятельств как угрожающего существованию в его сознании на фоне возникшей тревожности активизируются особые ментальные структуры. Для их обозначения мы посчитали целесообразным использовать термин "скрипт", который в когнитивной лингвистике определяется как "набор ожиданий о том, что в воспринимаемой ситуации должно произойти дальше" [Демьянков 1994: 70] и который "позволяет понимать не только реальную или описываемую ситуацию, но и детальный план поведения, предписываемого в этой ситуации" [Там же: 72].

Таким образом, скрипт есть ментальная репрезентация ситуативной динамики. С одной стороны, он складывается в реальных ситуациях, с другой – являясь результатом предшествующего опыта, руководит действиями субъекта в ситуациях того же типа⁵.

Каждый скрипт тесно связан в сознании "со стереотипизированной серией других скриптов с общими для них участниками-деятелями... Есть центральный и зависимые скрипты, иерархизованные и связанные между собой" [Там же]. Это означает, что в описанных выше статических рамках возможны различные фигуры: главная или центральная для наиболее типичного развития событий и периферийные для отклонений от стандарта.

2.3.2. Структура скрипта. Скрипт состоит как минимум из действующих лиц и сюжета [Демьянков 1994: 71]. Первые определены нами как "носитель языка" и "источник угрозы". По ходу изложения источник угрозы будет принимать несколько более конкретные формы.

Завязке и развязке сюжета скрипта в реальной ситуации будут соответствовать момент фиксации субъектом угрожающего стечения обстоятельств и момент достижения преследуемой им цели. Последняя появляется в сознании субъекта на фоне

³ О роли эмоции в образовании так называемых "систем конденсированного опыта (СКО)" см. [Гроф 1993: 115].

⁴ О том, что событийные категории структурируются по законам гештальта см. например [Лакофф 1996: 163–165].

⁵ Можно даже сказать, что скрипт – это своего рода действующее лицо. Непонятная для субъекта природа руководящей роли этого лица закономерно начинает обожествляться в ритуале (см. ниже). Именно так, по нашему мнению, в жизнь человека начинают вмешиваться Боги.

возникшей потребности в устранении угрозы и определяет общую направленность предписываемой тем или иным скриптом деятельности. По ходу развертывания сюжета, т.е. по мере реализации субъектом предписаний скрипта, в ситуации возникают также промежуточные цели, которые в конечном счете подчинены главной. Моментом возникновения промежуточных целей в структуре скрипта соответствуют промежуточные узлы сюжета, между которыми расположены сцены скрипта.

2.3.3. Цель деятельности субъекта. Основным объектом приложения действий активированного скрипта являются некоторые создающие угрозу пространственные или же иерархические отношения, которые субъект стремится преобразовать в такие отношения, где между ним и источником угрозы была бы установлена некая преграда, играющая роль з а щ и т ы. В этом и будет заключаться главная цель, преследуемая субъектом в рассматриваемой категории ситуаций. Иными словами, субъект стремится создать и отграничить свое, безопасное пространство от чужого, враждебного.

2.4. Определение ситуации. На основании очерченных выше контуров взаимодействия ситуации можно дать такое определение.

Ситуация, описываемая с позиции субъекта, есть процесс взаимодействия субъекта и объекта, протекающий на временном интервале от момента возникновения какой-либо жизненной потребности до момента ее снятия или удовлетворения. В этом процессе на эмоциональном фоне единого качества происходит реализация активированных в сознании субъекта скриптов, нацеленных на достижение желаемого результата.

2.5. Ситуация и знак. Наличие в сознании субъекта единого эмоционального фона и преследуемой конечной цели обуславливают целостность психического образования, возникающего в процессе восприятия субъектом собственного взаимодействия с объектом. В теоретическом плане это означает, что в процессе коммуникации один индивид может ориентировать другого на аналогичный гештальт посредством не описания, а только одного знака или сигнала. Мы считаем, что это находится в полном согласии с определением, говорящим о том, что лингвистическим выражением ситуации в развитых языках является пропозиция, но не отдельное слово [Степанов 1989: 131], так как обоснованно предполагается, что язык ведет свое начало от эквивалентных пропозиции односложных команд-сигналов, развивающихся впоследствии в повелительное наклонение глагола (см. например [Якушин 1985: 121]).

Однако сказанное вовсе не означает, что с рассматриваемой категорией ситуаций должен был соотноситься только один знак. Напротив, как нам представляется, было жизненно необходимо существование довольно большого их количества, которое могло зависеть от весьма различных причин, например, от специфики значимых объектов или от различных вариаций сюжетов скриптов. Возможно также влияние системы табу в различных типах коммуникативных ситуаций. Вероятно, существовали и иные причины, вскрыть которые мы пока не в состоянии.

2.6. Прототипическая ситуация. К рассматриваемой категории ситуаций, определяемой по признаку наличия угрозы, можно отнести довольно много типов ситуаций. Поскольку угроза – величина переменная в количественном отношении, то среди них, бесспорно, существуют ситуации "опасные" в большей или меньшей степени. Как известно, процесс формирования категории осуществляется на базовом уровне восприятия: объект становится представителем категории в том случае, если в нем обнаруживается достаточное сходство с прототипом, являющимся наилучшим представителем категории [КСКТ: 42–45].

Очевидно, базовый уровень в формировании категории опасных ситуаций должны составлять такие ситуации, в которых присутствует прямая угроза существованию, требующая немедленного устранения, т.е. это должны быть ситуации относительно кратковременные, с непрерывающимся эмоциональным фоном и отчетливо выраженным объектом.

На статус прототипа, вероятно, должны претендовать такие ситуации, которые наиболее регулярны в повседневной жизни носителя языка и в которых

участвуют одни и те же типы объектов. Благодаря постоянству взаимодействий с ними выкристаллизовывается набор отличительных признаков, составляющих образец категории.

Согласно наблюдениям этологов, прототипические ситуации рассматриваемой категории возникают во внутривидовой конкуренции, – в столкновениях особей одного вида, ведущих борьбу за жизненное пространство. В этих столкновениях в ходе эволюции происходит ритуализация, т.е. характерные для ситуации (=значимые для существования) действия становятся символическими и приобретают знаковую функцию (см. выше п. 1). Таким образом, семантика тех знаков человеческого языка, которые возникли на базе ритуализованных действий, должна отражать прежде всего структуру прототипических ситуаций, и под источником угрозы следует подразумевать особей вида *Homo sapiens*.

2.6.1. Два вида прототипических ситуаций. В пределах внутривидовых отношений мы посчитали целесообразным выделить два постоянно взаимодействующих и пересекающихся прототипа. Первый и, можно сказать, "старший" в эволюционном аспекте прототип характеризуется тем, что субъект в нем предстает как отдельный, защищающий свое место в иерархии индивид. Этот прототип всегда актуален для внутригрупповых отношений. Восходящие к нему ситуации будем называть ситуациями иерархического типа.

Второй прототип хотя и возникает на основе первого, но не во всех отношениях сводится к нему. Поэтому не будет слишком грубой ошибкой называть его тоже прототипом. В нем субъект предстает уже как обобщенный член согласованно действующей группы и одновременно как группа в целом. Восходящие к этому прототипу ситуации будем называть ситуациями военного типа.

Основное различие между взаимодействиями в этих типах ситуаций заключается в том, что в ситуациях "военного" типа есть особая, несводимая к иерархическому прототипу сцена (см. ниже 3.3.2), так как основана она на полном отрицании обязательного для него противостояния всем без исключения особям своего вида. Произведенное отрицание образует группу, и после этого происходит регенерация прежних отношений. Таким образом, можно говорить, что "военный" прототип порождает из себя субкатегорию с перемещением акцента на свою специфическую сцену. Во всем остальном различий на структурном уровне не наблюдается и поэтому мы даем одну схему для обоих прототипов, оговаривая отдельные детали уже по ходу описания.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СКРИПТАМИ И НАЛИЧНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

Мы постараемся дать краткое описание характерных для подобных ситуаций взаимодействий (отражающихся в действиях субъекта) с условным выделением значимых моментов, изменяющих характер деятельности субъекта. Скрипт в данном описании можно понимать в двух противоположно направленных аспектах: первый – реализация уже имеющейся в сознании субъекта репрезентации скрипта, второй – формирование его репрезентации в процессе взаимодействия с объектом.

Естественно, мы не можем дать описание конкретных событий, поэтому выделяемые сцены – это своего рода обобщенные имена более частных сцен. Их можно интерпретировать и как некие цели, осуществлением которых будет являться конкретная деятельность. Например, цель "подать сигнал тревоги" может осуществляться посредством голоса, выстрела, колокольного звона и т.п.

3.1. "Фобос" или скрипт "слабого". При определенных обстоятельствах отражение объекта в субъекте на эмоциональном уровне может принимать формы сильного аффекта, вызывающего такую стереотипную реакцию как бегство. Это своего рода "общепсихологическое предписание" – простейший скрипт на уровне безусловного рефлекса. В подобных ситуациях аффект прочно ассоциирован с бегством, что судя по всему должно находить отражение и в языковых фактах. Как типичный пример можно привести др.-греч. φοβέομαι "убегаю, боюсь", т.е. "в страхе (ужасе) спасаюсь бег-

ством". Даже если считать, что одно из значений фазы вторично, то оно, безусловно, развивалось по указанному самой природой образцу.

Однако такой "аварийный" способ разрешения ситуативного конфликта оправдывает себя в довольно редких и специфических условиях. Если же он станет доминирующим, то, с точки зрения эволюционного отбора или просто с точки зрения элементарной логики, неизбежно приведет к отеснению вида или особи в самую "неуютную" экологическую нишу. Совершенно очевидно, что такое предписание на фоне прототипических ситуаций должно было представлять собой самый периферийный скрипт. Однако редуцированный вариант скрипта или его функциональная замена – подчинение воле сильного – необходимый элемент для образования иерархии, и еще на биологическом уровне вырабатываются особые ритуализованные жесты умиротворения [Лоренц 1994: 114–143].

3.2. Тревожность. Гораздо более сложную картину представляет собой типичное поведение в ситуациях, характеризующихся неопределенностью источника угрозы. Применительно к впечатлениям базового уровня это поведение можно описать следующим образом. Субъект всеми органами восприятия вынужден постоянно и с следовател ьно окружающее пространство с целью определить координаты источника угрозы. Из этого вытекает необходимость постоянно поворачивать голову или все тело. На каждый подозрительный шум субъект реагирует резкими поворотами. Все это можно отобразить в схеме некоего "судорожного" вращения, где действия наблюдения и поворотов взаимообусловлены и неотделимы друг от друга. На это накладывается предельная осторожность действий, вытекающая из естественного стремления быть незамеченным и готовым к встрече противника, а также – постоянно нагнетаемая мысленная актуализация необходимых скриптов, т.е. известных способов обороны или бегства.

3.3. От визуального контакта – к акциональному (через сигнальный). Ядро прототипа, разумеется, складывается не в описанных выше сценах. Их можно охарактеризовать как сопутствующие или как периферийные сцены. Для образования устойчивой репрезентации необходим аффективный след, получаемый в кульминации взаимодействия.

3.3.1. Сцена 1. Ситуация, как было условлено, начинается с момента фиксации субъектом определенного стечения обстоятельств, сигнализирующего ему о необходимости действовать. В 3.2 была в общих чертах описана реализация скрипта, предписывающего поведение в случаях недостаточной осведомленности субъекта об объекте. Из сходных элементов складывается также начальное поведение при возникновении уже явной угрозы и необходимости предпринимать конкретные меры, только здесь фокус внимания с поисков объекта перемещается на изучение особенностей окружающего пространства с целью наметить наиболее удобные пути выхода из ситуации или выбрать наиболее выгодное в стратегическом отношении место для встречи противника. В более "затяжном" варианте развития событий субъект также ведет внимательное наблюдение за поведением объекта. Таким образом, можно выделить первую сцену скрипта, являющуюся отражением поведения, которое можно охарактеризовать как "охранное наблюдение". Активизация элементов этого поведения – в внимания и осторожности – значима на протяжении всей ситуации.

3.3.2. Сцена 2. Следующий момент и, соответственно, узел скрипта – фиксация некоторого исходящего от объекта сигнала, говорящего о том, что источник угрозы или его поведение переходит через какие-то условные границы. В ситуациях "военного" типа здесь возникает сцена, которая при разных обстоятельствах может интерпретироваться либо как "подача сигнала тревоги", либо как "призыв на помощь". Вслед за сигналом происходит незамедлительный сбор всех членов группы, которая становится субъектом, функционально тождественным субъекту-индивиду ситуаций иерархического типа.

3.3.3. Сцена 3. Здесь одинаково (в структурном плане) действуют и субъект-группа и субъект-индивид. Они производят действия, способные предотвратить столкновение,

т.е. пытаются отвести угрозу встречной угрозой или демонстрацией готовности к активной защите (скрипт "сильного"), или же снимают угрозу посредством жеста, выражающего покорность (скрипт "слабого"). Это и есть так называемые ритуализованные действия.

3.3.4. Сцена 4. Если источник угрозы не отреагировал на предупреждение субъекта, то естественно возникает очередная – на этот раз кульминационная – сцена: взаимодействие переходит в прямой контакт. В общих чертах действия субъекта можно охарактеризовать как уклонение от ударов, отражение ударов и нанесение ответных ударов.

3.3.5. Сцена 5. Поскольку скрипты должны содержать информацию, способствующую выживанию, а отнюдь не вымиранию, то развязка должна быть более или менее благополучной для субъекта. Эту сцену можно охарактеризовать как достижение конечной цели: субъект восстанавливает нарушенные границы своего жизненного пространства, оттеснив или даже физически устранив противника.

3.3.6. Разные замечания. Разумеется, предложенное выделение сцен условно и основано на предельно обобщенных критериях. На наш взгляд, мы выделили наиболее типичные узлы, в которые как бы "ввязываются" более конкретные действия. Естественно, ситуация может прерваться в любой момент. Возможно также расположение сцен в ином порядке, хотя предлагаемый здесь нам представляется наиболее естественным и – согласно, законам гештальта, стремящегося к симметрии и завершенности, – именно этот порядок следует ожидать запечатленным в центральных скриптах.

4. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ МОТИВАЦИИ

4.1. Семантика ситуативных сигналов. Действия, описанные в 3.3.2. и 3.3.3 – "подача сигнала тревоги" или "призыв на помощь" и "предупреждение противника о готовности к встречной агрессии" – как видно, имеют знаковую функцию. Вычленимые в естественном процессе взаимодействия, они по логике вещей должны относиться к скрипту описанной ситуации как означающее к означаемому.

Перый сигнал направлен к "своим" и несет вполне однозначную информацию о необходимости совместной защиты и отражения угрозы. Второй сигнал направлен в противоположную, "чужую" сторону. Его смысл интерпретируется также вполне однозначно для всего животного мира. Особь, охраняющая границы своего жизненного пространства, как бы заявляет "агрессору": "Внимание! Будь осторожен! Здесь мои границы, которые я буду защищать". Таким образом, субъект, издающий сигнал тревоги или предупреждающий сигнал, ориентирует адресата – как "своего", так и "чужого" – на ментальное образование, структуру которого мы попытались описать выше.

Сигнал встречной угрозы, направленный на противника, выполняет функцию отвода агрессии. Если в то же время он воспринимается "своими", то для них он служит призывом к совместному противодействию. В подобных случаях один сигнал совмещает функции предостерегающего сигнала и сигнала тревоги. С одной стороны он отвращает угрозу, с другой – сплачивает особей в единую, согласованно действующую группу. Собственно, это и есть главные функции ритуализованных действий (см. выше п. 2).

Таким образом, еще на биологической стадии развития человека можно постулировать наличие семантики с противоположной направленностью: "охранять границы, защищаться, отражать угрозу" и "собираться вместе, объединяться (для защиты и отражения)" > "войско, народ, множество". На этой же стадии начинает развиваться еще одно, уже надситуативное значение, которое можно приблизительно охарактеризовать как "праздновать совместное торжество (с исполнением ритуала)". От него, как мы думаем, ведет начало линия семантики увеличения и распространения "множества".

Итак, мы описали исходное состояние семантики, которое будем называть первым уровнем мотивации.

4.2. Знак знака. Осмысление ритуализованных действий. Как принято считать (см. например [Якушин 1985: 77]), выделение человека из животного мира сопровождалось и было обусловлено развитием способности к рефлексии, т.е. можно сказать, что у человека появилась новая область взаимодействия – это взаимодействие с собственными ментальными репрезентациями. Как отмечалось выше (см. 3.3.3), совокупность ритуализованных действий имеет два типа с различными значениями: "встречная угроза" и "смирение, признание покорности". В результате актов рефлексии взаимодействие этих двух типов ритуалов осмысливается как проявление **б е з у с л о в - н о г о з а к о н а**, обеспечивающего существование коллектива. Указывая на границы деятельности каждого отдельного индивида, они регулируют отношения и являются средством установления естественной иерархии. Таким образом, внося **п о р я - д о к** в жизнь сообщества, они обеспечивают его гармоничное существование, необходимое для успешного противостояния внешней среде.

В результате нового осмысления происходит качественный скачок в развитии степени знаковости: совокупность ритуализованных действий, являясь означающим центрального скрипта прототипической ситуации, становится в то же время **о з н а ч а е - м ы м н о в о г о з н а к а**, который, следуя естественной логике, должен был вычлениваться из самой совокупности ритуализованных действий. Означаемое этого знака – ритуал, договор, предписание, закон и т.п. – в данном исследовании будет рассматриваться как второй уровень мотивации.

4.3. Упорядочивание и связь в трудовых процессах. В результате развития способности человека к абстрагированию и генерализации становится возможным соотнесение знака с другими реалиями.

4.3.1. 1 этап. Ритуализованное упорядочивание и связь воплощаются в строительстве защитных укреплений, где единицы строительного материала располагаются в ряд и скрепляются, связываются между собой. Создание искусственной преграды рассматривается здесь как третий уровень мотивации.

4.3.2. 2 этап. Из связывания и плетения развивается ткаческое ремесло. Результатом ткаческого процесса является одежда, которая изначально выполняет функцию защиты от олицетворяемых атмосферных явлений. Схема действий здесь та же, что и в строительстве: объединение, упорядочивание и связывание. Соответственно – это четвертый уровень мотивации.

4.4. Космология. Итогом осмысления всех описанных выше реалий становится спекулятивная картина мира, самым наглядным прообразом которой является модель первобытного селения (=укрепленного военного лагеря). Эта модель закономерно наделяется вращением благодаря специфике деятельности субъекта в реальных ситуациях, где от него постоянно требуется качество, которое можно было бы определить как "изворотливость". На это наслаиваются и более сложные представления о природных циклах.

Космологические представления можно определить как пятый уровень мотивации.

4.5. Резюме. Предлагаемая последовательность выделения уровней, разумеется, условна. В исторической реальности лексические дериваты, ведущие начало от ритуализованных действий, вероятнее всего, отражали две развивавшиеся в тесном взаимодействии линии: ритуально-религиозную и, если можно так сказать, "ритуализованно-строительно-техническую", эволюционировавшую в ремесленную. Но, как нам думается, построение выделенных уровней в один ряд не противоречит последовательности появления представлений, обусловивших, на наш взгляд, расширение референтной сферы и, соответственно, стимулировавших деривацию от слов, возникших в контексте ритуализованных действий.

Следует учитывать, что в семантике рассматриваемой ниже лексики эти уровни предстают как взаимопронизанные, где каждый последующий как бы вбирает в себя

предыдущие. Поэтому однозначного соответствия какому-либо определенному уровню ожидать не следует, так как возможно соответствие только в большей или меньшей степени.

5. ИССЛЕДУЕМЫЙ ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ

В очерченных выше рамках, по нашему предположению, протекало развитие тех первичных знаков звукового языка, которые продолжали линию ритуализованных действий и исходная семантика которых опиралась на гештальт описанной выше прототипической ситуации.

Наиболее полно и многогранно, на наш взгляд, теоретически ожидаемые смысловые связи и отношения иллюстрируются индоевропейской лексикой, возводимой к форме **uer-*. Во многом показательна также и лексика, продолжающая другие индоевропейские архетипы, но она, по нашему мнению, в плане описания исследуемых реалий либо дает более тускло выраженную картину, либо отображает не все основные ее грани.

Мы считаем вполне вероятным, что большая часть слов, теоретически возводимых к форме **uer-*, является следствием деривации от одного из первичных знаков, зародившихся в ритуальном контексте. Однако также вполне возможны случаи формальной конвергенции с последующим семантическим сближением. В таких случаях, думается, позволительно считать, что рассматриваемая лексика возводится не к одной форме, а к одному типу естественных ситуаций, отображенному в сознании носителя языка в виде целостной структуры, которая способна оказывать влияние как на формальную, так и на содержательную сторону слова, поскольку – как показывают наблюдения исследователей – "семантическая близость определяет фонетические трансформации и формальное сближение, омонимическое сближение усиливается сближением значений до полного скрещения" [Варбот, Куркина 1980: 190].

По данным словаря Ю. Покорного [Рокоту 1959], форма **uer-* явно превосходит все прочие индоевропейские формы как количеством приписываемых ей значений, так и количеством возводимой к ней лексики. Кроме 13 отдельно пронумерованных статей, посвященных соответствующему количеству значений этой формы и ее ответвлений, еще довольно внушительная часть лексики помещается под рубриками рассматриваемых отдельно форм с различными расширениями первой: **uerg-*, **uerdh-*, **uers-*, **ureg-* и т.д. Естественно, здесь мы не сможем затронуть весь этот богатый материал, но постараемся осветить хотя бы его основные, на наш взгляд, семантические грани и особенности.

Оговоримся сразу: предлагаемое ниже исследование не является этимологической процедурой в строгом смысле. Мы ставим перед собой несколько другие задачи, которые носят скорее не этимологический, а общесемантический характер. Этимологическая процедура рассчитана на работу с отдельными словами, мы же намерены исследовать свойства массы слов, поэтому мы с самого начала стоим перед дилеммой: либо этимологический анализ по всем правилам – и тогда мы сможем осветить лишь фрагмент задуманного, либо пусть далеко и не полный, но относительно законченный показ целого. В соответствии со своими задачами мы выбираем второе, но это не говорит о том, что мы отказываемся от этимологического анализа. В некоторых случаях он необходим, но пока в целях предварительной примерки лексического материала к природной семантике ритуализованных действий и ожидаемого от нее развития нам представляется возможным вместить в рамки статьи только то, что предлагается ниже.

6. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ (ФОНОВАЯ СЕМАНТИКА)

Сначала постараемся увидеть уровень прототипической ситуации, который, естественно, едва проглядывает сквозь толщу последующих напластований.

Согласно логике языкового развития, исходное состояние следует искать в исходно глагольной лексике, в то время как производные от нее именные образования, осо-

бенно если они отражают результат действия или какую-либо специфическую характеристику действующего лица или объекта действия, более показательны в плане установления соответствий по хронологической шкале.

Самый общий семантический фон, как нам видится, отражен в этимоне **цер-* "запирать, покрывать; защищать, спасать, отражать" [Рокоту 1959: 1160]. Другой фон – несколько более конкретный – просматривается в этимоне **цер-* "смотреть, наблюдать, обращать внимание" [Там же: 1164]. Но гораздо более четкими для сопоставления с ситуативным фоном и, на наш взгляд, гораздо более верно отвечающими семантическим особенностям возводимой под рубрики указанных этимонов лексики представляются формулировки, данные Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ивановым: "с м о т р е т ь, о б р а щ а т ь в н и м а н и е, б ы т ь о с т о р о ж н ы м" [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 808] и "з а щ и щ а т ь (ся), о б о р о н я т ь (ся), с п а с а т ь (ся)" [Там же: 741].

6.1. Охранное наблюдение и осторожность. В лексике, возводимой к **цер-* "смотреть, обращать внимание, быть осторожным", как нам представляется, отчетливо отражено поведение субъекта в сцене "охранного наблюдения" (см. выше 3.2 и 3.3.1), а также одно из двух основных предписаний, которое, на наш взгляд, правильнее всего было бы именовать как предписание для органов восприятия. Это предписание актуально на протяжении всей ситуации, и его обязательно содержит любой из серии скриптов, объединяемых прототипической ситуацией. Второе из основных предписаний, которое можно было бы назвать кинетическим, рассматривается отдельно.

В большей части слов, возводимых к **цер-* "смотреть, обращать внимание, быть осторожным" в слитном виде отражено осторожное поведение и работа органов зрения: др.-греч. (эол.) *ῥεῦεῖν* "быть бдительным, остерегаться, быть настороже", др.-исл. *varr* "осторожный, предусмотрительный, робкий, пугливый", д.-в.-н. *wara* "внимательность, предупредительность, надзор, попечение", лтш. *vėriba* "внимательность, предусмотрительность" и т.д. Будет нелишним добавить, что субъект действия отражается не как какой-либо праздный наблюдатель, а именно как наблюдатель в ситуациях описываемой категории, т.е. как страж, охранник (ср. гом. *ὄυρος* "сторож, стражник", д.-в.-н. *wart* "сторож, надзиратель, охранник" и т.д.). Кроме того, описываемая семантика довольно свободно переходит в семантику защиты (например, гом. *φρουρός* "стражник" (<*про-*орос*>φρουρά "защита", ион. *ῥρη* не только "забота, беспокойство, тревожность", но и "охрана, защита"), в чем можно видеть как исходную синкретичность, так и обуславливающее метонимию совмещение функций стражника и защитника, которое в конечном счете основывается опять же на смежности сцен охраны и активной защиты.

6.2. Защита-отражение. Объединяемая Ю. Покорным в одном этимоне с семантикой защиты семантика типа "запирать, закрывать, открывать" явно вторична по отношению к семантике защиты. Об этом можно судить хотя бы по тому, что подобные значения реализуются в основном посредством аффиксов (ср. др.-инд. *api-vrñóti* "запирает, покрывает", *apa-vrñóti* "открывает", лат. *operiō* "закрываю", *aperiō* "открываю", лит. *ūžvērti* "замыкать", *atvērti* "отворять" и т.д.), а также по тому, что основная отражаемая в них материально выраженная реалья – это ворота, т.е. самое слабое в искусственном укреплении место, требующее, соответственно, самой бдительной охраны и усиленной защиты. Последнее отражается в оск. *veru* 'portam' и *vereias* gen. sg. 'Jungmännerbund' ("караул, стража у ворот") [Рокоту 1959: 1160]. Ср. возводимые к **цер-* "смотреть" гот. *daurawards* "привратник", др.-греч. *θυρωρός* "охраняющий дверь", *πυλωρός* "охраняющий ворота" [Там же: 1164]. Подобные трансформации исходной семантики мотивируются третьим по нашему исчислению хронологическим уровнем. Более близкие к исходному состоянию значения имеют гом. *ἔρυσθαι* "отражать, защищаться, спасать, оберегать", гот. *warjan* "запрещать, пре-

пятствовать", др.-исл. *verja* "запрещать, предотвращать, защищать", др.-инд. *urusyāti* "освобождает, избавляет, спасает", авест. *vareθra-* "противостояние, оборона, щит" и т.д. [Там же: 1161].

6.3. Сбор по тревоге. Совместная защита. Уже несколько более отчетливо на общем фоне проступает поведение субъекта-группы в сцене 3.2. Собирательная функция сигнала тревоги, возможно, отражена в семантике этимона **цег-* "связывать, присоединять, ставить в ряд, навешивать" [Рокоту 1959: 1150]⁶. Характерно, что большинство возводимых к данному гнезду именных образований, обозначающих результат действия присоединения, имеют значения типа "группа, войско": алб. *vargari* "ряд, военное подразделение", др.-ирл. *foirenn* "партия, отряд, толпа", англос. *weorn, wearn* "войско, отряд, множество" и т.д. Подобное значение обнаруживается и среди слов, возводимых к **цег-* "преграждать, защищать": др.-инд. *varū-ṭha* "защита, щит, войско, стадо, толпа".

В семантике "связывать, присоединять", дающей результат действия "войско, толпа, партия и т.п.", можно видеть исходный смысл объединяющей функции ритуализованных действий (см. выше п. 1).

6.4. Освобождение охраняемой территории. С пятой сценой (см. 3.3.5), рисующей благополучный исход ситуации (изгнание агрессора за пределы охраняемой территории), соотносим этимон **црег-* "выталкивать, прогонять, враждебно преследовать"⁷ [Рокоту 1959: 1181]. Однако здесь, как и в 6.3, наблюдается отделение от фона, и в этом допустимо видеть следствие дифференциации первичного синтеза, о чем может свидетельствовать как появление расширения -g-, так и некоторые особенности семантики, встречающиеся у возводимых к **црег-* слов.

6.5. Исходно "расщепленный" синтез. В разграничении семантики "быть осторожным" и "защищаться, отражать нападение" можно видеть первый этап дифференциации исходного гештальта, хотя, на наш взгляд, это разграничение гораздо древнее человека: оно, по всей видимости, существует у всех высших животных, живущих в слаженно действующих сообществах, и в основе своей является ничем иным, как отражением употребления одного и того же знака в различных коммуникативных контекстах. Описание специфики активации тех или иных аспектов связанного со знаком гештальта в зависимости от типа коммуникативной ситуации мы намерены дать в другой раз. Пока же будем рассматривать только внутренние семантические связи.

С психологической точки зрения протопипическая ситуация естественно делится на два различных периода. Первый можно охарактеризовать как ожидание агрессии: субъект занят охранным наблюдением и приготовлением к обороне или отражению агрессора. На протяжении второго периода, начинающегося либо с подачи сигнала тревоги, либо с непосредственного столкновения и длящегося вплоть до завершения ситуации, происходит разрядка психической энергии, накопленной в первый период. Иначе говоря, усиленно активируемые в период ожидания защитные скрипты реализуются в конкретных действиях. Таким образом, первый и второй периоды, рассматриваемые в данном аспекте, обнаруживают изоморфизм: воображаемым действиям первого периода соответствуют реальные действия второго. Поскольку первые обусловлены знанием того, как вести себя в подобных ситуациях, то можно сказать, что посредством ментальных репрезентаций первый и второй периоды относятся друг к другу как предшествующий и последующий опыт участия в ситуациях одного и того же разряда. В этом заключается их неразрывная ситуативная связь и полная взаимо-

⁶ В свете данных ларингальной теории для этого этимона принято обозначение **Нцег-* [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 719]. Мы не стремимся к установлению генетических связей (хотя наличие ларингальной в такой позиции вовсе не отрицает их возможности). Для нас не менее значимы ситуации, в которых происходит формальная конвергенция. Поэтому будем придерживаться традиционного написания.

⁷ Этот же смысл выражает лит. *varūti* "гнать", которое Ю. Покорный относит к **цег-* "запирать, покрывать; защищать, спасать, отражать" и пытается объяснить как "открывать ворота, чтобы выгнать скот из загона" [Рокоту 1959: 1160].

обусловленность. Таким образом, семантика "смотреть, обращать внимание, быть осторожным", рассматриваемая в контексте прототипической ситуации, имплицитно содержит семантику "защищать(ся), спасать(ся), оборонять(ся)" и "выталкивать, прогонять, враждебно преследовать".

Но, как можно заметить, между первым и вторым периодами есть как бы промежуточное звено – это ритуализованные действия третьей сцены (см. 3.3.3), которые представляют собой нечто вроде попытки "договориться" и уладить конфликт "мирным" путем. В этом "договоре" посредством ритуализованных сигналов и происходит обмен описанными в 4.1 смыслами, или – правильнее говоря – взаимоориентация договаривающихся сторон на аналогичные ментальные образования.

7. РИТУАЛ. ИСТОКИ ЗАКОНА

Как уже отмечалось, действия второй и третьей сцен, являясь сигнальными, несут сходную информацию (см. 3.1). Однако они существенно отличаются в плане фокусировки внимания. В сигнале тревоги внимание фокусируется в первую очередь на необходимости незамедлительного объединения усилий, т.е. в нем подчеркивается собирающая функция. Основной сигнал третьей сцены в первую очередь у к а з ы в а е т адресату на некоторые границы, через которые ему не следует переступить, и, соответственно, исходная его функция – указывающая или предупреждающая. Но если сигнал тревоги существует исключительно в наличной ситуации, то второй сигнал – ритуализованные действия – еще на биологическом уровне вычленяется из ее контекста, и в нем также, как и в сигнале тревоги, развивается собирающая, объединяющая функция, восходящая к совместному торжеству над побежденным (изгнанным с территории) противником (более подробно об этом см. ниже). Только реализуется эта функция уже в н е к о н т е к с т а наличной ситуации: исполнение ритуализованных действий становится автономной потребностью совместно проживающих особей и удерживает их группу от распада в случаях длительного отсутствия внешней угрозы. Здесь ритуализованные действия, исходно направленные на "отвращение" угрозы, приобретают смысл т о р ж е с т в е н н о г о о б я з а т е л ь с т в а, к л я т в ы в е р н о с т и каждого индивида всем остальным членам группы. Весьма характерно, что эта "первозданная" раздвоенность до сих пор сохраняется в семантике боевого клича. Русское "ура", направленное на противника, несет угрозу⁸. Однако этот же возглас выражает и торжество победителя, и торжественное приветствие войска военачальнику, причем последнее символизирует е д и н е н и е войска. Такая консервативность боевого клича не должна представляться удивительной, если учитывать, что он регулярно воспроизводится на базе аффективных состояний, которые не позволяют развиваться его семантике, консервируя ее на биологическом уровне⁹.

Таким образом, можно сказать, что знаки, вычленяющиеся в ходе естественного развития из ритуализованных действий, вбирают в себя их природную семантику и, кроме того, начинают означать также и сами ритуализованные действия, исходно осмысливаемые как "ритуал торжественной клятвы верности в совместной защите и поддержке друг друга". Исполнение этого ритуала становится з а к о н о м для всех членов группы.

Выше было условлено называть этот уровень развития семантики вторым уровнем мотивации значений индоевропейских слов, возводимых к форме **uer-*. Как нам думается, именно этот уровень отражает лексика, объединяемая Ю. Покорным под этимонами **uer-* "торжественно говорить" (>**uere-*, **urelo-to* "приказ, заповедь", **uer-dho-*

⁸ Отсюда не нужно делать вывод, что мы пытаемся возвести "ура" к **uer-*. Это слово приводится только в качестве семантической параллели. Здесь можно говорить пока не более чем о "ситуативном" родстве этих форм.

⁹ Сходное явление наблюдается также в случаях, когда "ругательные" выражения используются как знаки одобрения или восхищения чьим-либо поступком в восклицаниях типа "Во дает, сукин сын!" и т.п., также в некоторых других ситуациях, но это уже отдельная тема.

"слово") [Рокорну 1959: 1162] и **уер*- "проявлять приветливость, дружелюбие" (>**уеро*- "заслуживающий доверия, истинный") [Там же: 1165].

Если в фоновой семантике можно было бы видеть исходную полисемию, обуславливаемую различными коммуникативными контекстами, то здесь скорее следовало бы вести речь о первичной деривации, о выделении на рассмотренном выше фоне особой фигуры.

Деривацию допустимо видеть и в случае **урег*- "выталкивать, прогонять, враждебно преследовать" (см. выше 6.4), однако здесь она идет в несколько ином направлении, где в новом знаке фиксируется скорее не переосмысление, а определенный фрагмент общего фона. Вообще, как показывают наблюдения исследователей, словообразовательная и семантическая деривация не обязательно совпадают, но могут находиться и в противоположных отношениях. В таких случаях за новым знаком закрепляется не новое, а как раз исходное значение [Трубачев 1988: 205-206].

7.1. Амбивалентность. "Изоморфизм" боевого клича и закона-приказа. Исходным "продуктом" ритуализованных действий, исполняемых особями одного вида, является своего рода "пакт о ненарушении границ", выливающийся в мирное сожительство, в терпимость по отношению к соседу [Лоренц 1994: 169]. Эволюционируя по этой линии, человеческий ритуал объединяет отдельных индивидов и становится законом – основополагающим принципом, обеспечивающим их мирное сосуществование. При этом исходные отношения не отмирают, а проявляются вновь и вновь, когда происходит заключение новых договоров-пактов, в которых "обговариваются" границы – как пространственные, так и задающие определенные рамки деятельности – внутри которых локализуется мир, терпимость, доверие и согласие (см. ниже); нарушение этих границ ведет к негативным последствиям. Таким образом, устойчивый гештальт или архетип "границы", покоящийся на страхе ее переступания, обуславливает специфическую амбивалентность семантики слов, так или иначе связанных с представлениями о законе. Это та же амбивалентность, которая проявляется и в боевом кличе "ура", только как бы в вывернутом наизнанку виде.

7.1.1. Внутренний произвол. В боевом кличе человек реализует себя как силу, "карающую" противника, т.е. здесь он сам как бы закон. И поэтому ура-угроза после "наказания" тут же переходит в торжественное ура, – это торжество человека-закона, которому все дозволено по отношению к побежденному. Это закон, спроецированный внутрь. Можно сказать, что торжество всегда питается преодоленным страхом перед "чужим законом", и связано с разрыванием каких-либо ограничивающих личность пут. Это "прорыв" личности, в связи с которым страх, перейдя "границу", меняет свой отрицательный знак на положительный.

7.1.2. Внешний диктат. Исходящие от власти указы, наставления старших и т.п. всегда представляют собой предписание, спроецированное во вне. И здесь, так же как и в "ура", амбивалентность благополучно существует в наши дни, когда, например, мы с большой легкостью употребляем слова *учить* или *воспитывать* в значении "наказывать". Да и в употреблении самого слова *наказывать* мы опять же в разных контекстах реализуем противоположные значения. Конечно, более привычно употребление в "карательном" смысле: *наказывать кого-либо*. Но еще не совсем отжило и употребление в смысле *наказывать кому-либо что-либо*, т.е. "поручать". Здесь уже акцентируется не кара, а доверие, но опять же с оттенком предписания, где кара всегда существует имплицитно. Другого рода двойственность проявляется в слове *заказывать* "просить, приказывать" и "запрещать" (*Ему туда вход (путь) заказан*). В первом случае это "приказ делать что-либо", во втором – "приказ не делать чего-либо".

В историческом плане здесь показательно развитие значений у слов, однокоренных со словами *приказ, указ, заказ, сказать* и т.п. и возводимых к о.-с. **kaz-n-ъ*. В большей части славянских слов в историческом развитии закрепились значения, принадлежащие локусу "по ту сторону границы": рус. *казнь* "смертный приговор", с.-хорв. *kázna* "наказание, кара" и т.д. Но также немало слов зафиксировали в себе значения локуса

"по эту сторону границы, в границах": слова *kázen* "проповедь", в.-луж. *kaznja* "приказ, повеление, дисциплина, воспитание", чеш. *kázen* "дисциплина". П.Я. Черных объясняет эту двойственность контаминацией о.-с. **kaz-n-ь* и **kaj(a)-zn-ь* и возводит слова с "карательными" значениями ко второй форме [Черных 1994: 368-369]. Нам же это видится в ином свете: совпадение форм, вероятно, имело место. Но его могло обусловить только то, что у этих слов были сходные семантические структуры, и слова, продолжающие **kaz-n-ь*, поглотили параллельные слова от **kaj(a)-zn-ь*¹⁰, а это равносильно тому, что язык просто избавился от избыточных форм, вытесненных словами типа *покаяние, раскаяние*.

7.2. Локализация закона в психическом пространстве. Психологические корни понятия "закон", как нам представляется, уходят в "нулевое" пространство, у которого нет места в чувственно воспринимаемом пространстве. Происхождение такой локализации закона нам видится в следующем свете. Не всегда осознаваемый "страх переступания границ" по законам гештальта собирает все каким-либо образом ограничивающие деятельность человека линии в одну, очерчивающую к р у г, внутри которого находится все с положительным знаком (жизнь, свет и т.д.), вне его – с отрицательным (смерть, тьма и т.д.). Эта окружность и полярность типа "жизнь-смерть" обусловлены стремлением гештальта к симметричному построению своих частей, к их равновесию, максимальной простоте и отчетливой, завершенной оформленности [Психология 1990: 78]. Эти бессознательные процессы и вычерчивают именно круг, а не квадрат, суммировав и обобщив все мелкие и крупные повороты, оборачивания и т.п.

Очерчивающая круг линия своими корнями восходит к зоне взаимодействия субъекта и объекта прототипической ситуации (к "нейтральной полосе"), где равновесие плюса и минуса (т.е. "своего" и "чужого"), возникающее в результате договора, дает нуль – условную черту, знак. В этом "нулевом" психическом пространстве, на наш взгляд, и локализован закон.

Активируемые при приближении к какой-либо запретной грани (табу) аффективные следы – реминисценции негативных эмоций, связанных со всеми прошлыми наказаниями за какие-либо проступки – осознаются древним человеком как голос закона, т.е. приказ, который в связи с тем же стремлением гештальта к симметрии и максимальной простоте признает только утвердительный ответ. Если человек как солдат произносит "есть!", он оставляет за собой право существовать. Отрицательный ответ, соответственно, отрицает жизнь.

Поскольку эмоциональное состояние человека никогда не равняется нулю, то и семантика связанных с представлениями о законе слов неизбежно либо положительна, либо отрицательна и самопроизвольно перетекает одна в другую в зависимости от того, на чем сосредоточен в данный момент фокус внимания говорящего, что и отражается в рассмотренных выше словах. Однако по-настоящему положительная окраска смысла проявляется при прорыве "границ", освобождении (см. п. 8). В семантике же связанных с законом слов всегда так или иначе присутствует отрицательный знак.

7.3. Высшая власть. Диктат сверхъестественных сил. Как нам представляется, именно посредством "нулевой" локализации закона человек, вывернув наизнанку "этот" мир, создает из него "тот", из которого ему слышатся голоса предков, ибо первые Боги, в каком бы виде они ни выступали, на наш взгляд, это всегда предки – матери матерей и отцы отцов, воспитывающих и дающих предписания.

По этой причине лексика, связанная с ритуальной практикой, закономерно приобретает мистическую окраску и функционирует в сфере культа. Ритуал (=установленный порядок, закон) воспринимается носителем языка как абсолютный внешний диктат, исходящий от сверхъестественных сил. Древнеиндийский термин *vratá* в классический период обнаруживает значения "воля, приказ", "закон", "обряд, ритуал", "поручение", "господство", "обет; соблюдение обета", "образ жизни", "привычка" [Кочергина 1996:

¹⁰ Не исключено, что сходство семантики **kaz-n-ь* и **kaj(a)-zn-ь* уходит корнями в прандоевропейскую эпоху и, возможно, и.-е. **kʰeǵ-* и **kʰe(i)-* имеют один источник.

630]. Такое разнообразие значений, вероятнее всего, отражает ситуацию, в которой в ритуальной обстановке (например, при посвящении в полноправные члены общества) дается торжественное обещание, заключающееся в том, что клянущийся обещает вести образ жизни согласно установленному божественной волей закону. Соблюдение обета рассматривается древним индусом как соответствующий норме образ жизни. В композитах *vrata-pā* "охраняющий ритуал" и *vrata-lopa* "нарушение обета, клятво-преступление" клятва и ритуал не различаются. Поэтому закономерно, что любая клятва, даваемая перед лицом всевидящего Варуны или Митры (т.е. клятва над водой или огнем), имела характер закона.

Таким образом, можно прийти к выводу, что термин *vratā* синкретично обозначал комплекс ритуальных понятий, отражающих договор человека с божеством, где каждая сторона берет на себя определенные обязательства: человек – соблюдение закона, божество – воздаяние. «В соответствии с "условиями" этого договора человек приносит жертвы, а божества наделяют его долей жизненных сил, богатства, благополучия» [Байбурин, Фрадкин 1996: 274].

С др.-инд. *vratā* сопоставляют авест. *urvāta* "предопределение, предписание, заповедь", слав. *rota* "клятва", др.-прусск. *wertemmai* "клянемся"; др.-греч. ῥήτος "договоренный, установленный", эол. ῥήτρα, эл. ῤράτρα "изречение"; "приговор; договор", кипр. εὐῤῥήτασату "договор, закон"; хет. *ḫerija-* "звать, поручать", гот. *wrōhjan* "обвинять, выносить приговор", слав. *rokъ* "предопределение, судьба" [Рокоту 1959: 1162–1163].

7.4. От клятвы к слову. Как можно заметить, человеческий ритуал сохраняет свои природные функции и является прежде всего средством общения, регулирующим отношения между общающимися сторонами. Центральный элемент ритуала – речевой акт, клятва – является также непререкаемым, как и его прообраз на биологическом уровне. Как вслед за предостерегающим звуком в случае его игнорирования следует немедленная агрессия, так и нарушение клятвы жестоко наказывается карающим божеством. Страх перед этой карой – а также семантику ритуализованных жестов подчинения или умиротворения – отражают лат. *vereor* "почитаю, боюсь, опасаясь" и хет. *ḫerite-* "бояться, трепетать", *ḫeritema-* "страх" [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 808].

Произносимая и в том и в другом случае речь (слово) является и с т и н н о й речью (словом), согласно которой нужно действовать, будь то личная клятва или же приказ, – как получаемый, так и даваемый, – поскольку получаемый приказ необходимо выполнять, чтобы избежать наказания, а за выполнением отдаваемого приказа нужно следить и обязательно наказывать невыполнение, чтобы не потерять место в иерархии.

Речевой акт, утрачивающий связь с ритуальным контекстом, постепенно теряет сакральное значение и осмысливается (вероятно, в довольно поздние периоды) как просто слово, речь. Это др.-греч. ῥήμα "речь, слово, изречение", лат. *verbum*, гот. *waurd*, др.-прусск. *wirds* "слово", лит. *vaĩdas* "имя" и т.д. Хотя, нужно заметить, отголоски ритуального контекста еще долгое время сохраняются во многих словах, в частности, в античный период у др.-греч. ῥήμα, подразумевающего торжественную обстановку.

7.5. Позитивные последствия договора. Концепт "вера", как и концепты "слово", "воля", "любовь", строится по модели "круговорота общения" и "восходит к ситуации договора, соглашения" [Степанов 1994: 15].

Думается, именно такая ситуация отражена как в рассмотренных выше словах, так и в словах, сопоставимых с русск. *вера*. Слав. *věra* соответствуют др.-исл. *Vār* "богиня верной клятвы", *vārar* "обет верности", англос. *wār* "договор, верность, защита", с.-в.-н. *wāre* "договор, согласие, мир" [Рокоту 1959: 1165]. С этими словами также сопоставляют авест. *var-* "верить", *varəna-* "вера", осет. *irɣun* "верить" [Фасмер 1964–1973, I: 292]. Характерно, что у др.-рус. *вѣра* в XVII в. обнаруживается значение "присяга, клятва" [Черных 1994, I: 141]. Вероятнее всего, это значение существовало

и раньше, только не отражалось в письменных памятниках благодаря тому, что они в большинстве случаев создавали контексты, в которых у русск. *в Бра* реализовывалось более отвлеченное значение "религиозное мировоззрение". Можно отметить, что у др.-греч. πίστις имеются те же значения: "вера, доверие", "договор, клятва" [Вейсман 1991: 1004], а лат. *fidēs* употреблялось также в значении "защита, покровительство" [Дворецкий 1976: 426].

Следствием заключения договора являются союз, согласие, мир и вытекающие отсюда доверие и приветливость в отношениях. Это отражается в др.-греч. гом. ἔρα φερεῖν "делать одолжение, оказывать любезность", ἐρί-πρες "доверенный", ἐρίπρος "дорогой, милый", а также, возможно, и в германских словах, отражающих законы гостеприимства: гот. *wairdus* "чужой, гость"¹¹, др.-сакс. *werd*, д.-в.-н. *wirt* "хозяин, господин". На сопутствующую заключению договоров или встрече гостей церемониальную, торжественную атмосферу, вероятно, указывает др.-греч. ἑορτή (<Ἔε-Форτά) праздник, торжество" [Pokorny 1959: 1165–1166].

На почве ритуала развивается также значение "истинный" (первоначально "верный клятве, закону"), только здесь истина дана не в статическом аспекте, как в образованиях от **es-* (ср. др.-инд. *satyá-* "правда, истина", хет. *ašant-* "истинный, правильный"), а в динамическом, т.е. это существование не само по себе и не кем-то данное, а постоянно достигаемое и поддерживаемое самим субъектом-носителем истины благодаря выполнению предписываемых законом правил. Это значение развивается в лат. *vērus*, др.-ирл. *fír*, кимр. *qwir*, др.-сакс. *wār*, д.-в.-н. *wār*, н.-в.-н. *wahr* [Pokorny 1959: 1166].

7.6. "Отвращающий" ритуал. В гнезде **uer-* "торжественно говорить" Ю. Покорный наряду с рассмотренными выше словами, обозначающими "приказ, заповедь" и т.п., помещает также рус. *врач*, ст.-слав. *врачь*, др.-греч. ἔρων "притворяющийся", εἰρωμεῖα "притворство, увертка, отговорка, насмешка". Эти слова зарождались также в ритуальном контексте, однако, учитывая, что *врач* исходно означало "заговариватель, заклинатель, колдун" [Черных 1994, I: 170], правильнее было бы считать, что восходят эти слова не к объединяющей функции ритуала, а к противоположной – к функции отвода агрессии. То есть здесь мы имеем дело с другим типом ритуальной практики. Если в рассмотренных выше случаях речевой акт связан с клятвой, обетом и является истинным словом, то здесь наблюдается противоположная картина: речевой акт – это заговор, заклинание и намеренный обман противника. "В народной культуре ритуальный обман (как вербальный, так и акциональный) часто служит магическим приемом для защиты от нечистой силы, болезней и других опасностей" [Толстая 1995: 109]. Можно считать, что "отвращающий" ритуал функционально продолжает линию боевого клича-угрозы.

С подобной ритуальной практикой можно было бы также связать некоторые слова, которые Ю. Покорный относит к **uer-* "вертеть, поворачивать, гнуть", например, англос. *wrenc* "изменение голоса, уловка, увертка, коварство, хитрость, вероломство", *wrenkan* "крутить, обвивать, обманывать", др.-инд. *vṛjiná* "кривой, искривленный, злокозненный, коварный" и т.п. [Pokorny 1959: 1154]. Однако эта семантика может быть мотивирована также отклонением от нормы, закона и связываться с понятием преступления (например, др.-исл. *vargr* "волк, изгой, преступник", англос. *wearg* "грабитель, преступник" и т.п.). Иной раз сюда вкрадываются и мотивации типа "негодный (= несоответствующий норме) строительный материал" (голл. *werken* "коробиться, сморщиваться (о дереве)", англос. *wrang* "искривленная древесина" и т.п.). Вероятно, все эти мотивы слабо отличимы от колдовства по той причине, что последнее поддерживается только в тесной группе, где каждый уверен, что оно будет обращено не на него, а на врага. С ростом сообщества и усложнением социальной

¹¹ Ср., однако, у У. Лемана [Lehmann 1986: W16], который, указывая на общую неясность этимологии, все же склонен возводить гот. *wairdus* к **uer-* "быть внимательным, осторожным".

организации такая уверенность быстро исчезает и колдовство часто объявляется вне закона (см. например [Леви-Строс 1985: 152; Токарев 1990: 88–90]). Всему этому на уровне прототипической ситуации соответствуют уворачивание от ударов противника и вообще изворотливость и хитрость как необходимые качества война (ср. гот. *warg* "осторожность, хитрость, коварство", возводимое Ю. Покорным к **uer-* "смотреть, наблюдать, обращать внимание" [Pokorny 1959: 1164]). Так что некоторые подобные мотивации можно вести прямо от исходного уровня.

Вообще, мы склонны считать, что в словах с подобной семантикой способны уживаться одновременно все перечисленные мотивации, поскольку и член группы, нарушивший закон, и негодная или испорченная вещь становятся тем, что надлежит отвергнуть, отбросить, от чего нужно очистить свое пространство, т.е. и преступник и испорченная вещь безоговорочно приравниваются к "врагу", и по этой причине все эти реалии вполне могли получать имена по признаку "отвергаемое", закономерно вычлениющемуся из имени соответствующего действия. Слова с подобной семантикой чаще всего возводятся исследователями к этимону **uer-* "вертеть, поворачивать, гнуть". В целом же, если судить по Ю. Покорному, внушительный пласт слов, возводимых под эту рубрику, весьма разнообразен как в формальном, так и в семантическом плане. Мы не имеем возможности рассмотреть здесь всю эту многочисленную лексику, так как это требует тщательного анализа. Скажем пока в двух словах, что, на наш взгляд, большая часть этой лексики по отношению к рассмотренной выше отражает несколько более продвинутый этап языкового развития, и в ней довольно отчетливо прослеживаются все выделенные нами в 4 хронологические уровни мотивации.

8. ТОРЖЕСТВО "УМНОЖАЮЩЕЙСЯ МАССЫ"

Вернемся к уровню прототипической ситуации. Выше уже отмечалось, что объединяющая функция ритуала восходит к совместному отражению угрозы. Известно, что те же ритуализованные действия, с которых начинается столкновение с противником, спонтанно воспроизводятся сразу после благополучного разрешения конфликтной ситуации. Здесь очевидным образом вступает в силу универсальная психологическая закономерность, которая состоит в том, что успешный ритуальный акт воспринимается его участниками как подлинная причина успеха и принимается ими как бы к дальнейшему "тиражированию". Ритуал становится автономной потребностью и функционирует уже без всяких внешних стимулов [Лоренц 1994: 174]. Можно предположить, что психологическая подоплека этой потребности заключается в том, что у каждого индивида или животной особи возникает сначала другая потребность – это потребность пережить те ощущения, которые были испытаны в момент снятия сильного напряжения при успешном выходе из наличной угрожающей ситуации. А поскольку правильно исполненный ритуальный акт неразрывно связан с этими ощущениями, то его исполнение автоматически влечет их за собой. Таким образом, можно полагать, что торжественная, праздничная атмосфера ритуала восходит в конечном счете к "торжеству победителя". Последнее же, что представляется вполне очевидным, берет свое начало в тот момент, когда снятие необходимости противостоять угрозе порождает ощущения внезапного освобождения, свободного пространства, роста возможностей и т.п., к чему, вероятно, восходят ощущения сопричастности с чем-то возвышенным и вечным, возникающие у участников ритуала.

Как нам думается, есть некоторые основания полагать, что слова, возводимые к **uerdh-* "расти, увеличиваться" [Pokorny 1959: 1167] каким-то образом могут быть связаны с описанными аспектами ритуала. В пользу этого могла бы свидетельствовать семантика древнеиндийских слов: *vardh-* "расти; усиливаться; поднимать дух, вдохновлять", *vardhana* "помощь, успех; рост, усиление" [Кочергина 1996: 558], *vidh* "радостный, веселый; увеличивающийся, усиливающийся", *vardha* "покровитель; поощрение, помощь; поклонение", *viddhi* "рост, увеличение; счастье; успех" [Там же: 617]. С одной

стороны, семантика приведенных слов отражает как раз те эмоции, которые свойственны описанному выше состоянию, с другой – прослеживаются мотивы защитной ("покровитель", "помощь") и культовой ("поклонение") ориентации.

Среди возводимых к **cer-* слов немало таких, которые обозначают как структурированное, так и не структурированное сплоченное множество: алб. *vargari* "ряд, отряд, войско", др.-инд. *vrndam* "толпа, отряд, масса, множество, стадо", др.-ирл. *foirenn* "партия, группа, отряд, толпа", англос. *weorn* "толпа, отряд, множество, гряда, войско" [Pokorny 1959: 1151-1152], др.-инд. *várū-ṭha* "защита, щит, войско, толпа, стадо, стая" [Там же: 1161] и т.д. По наблюдениям исследователей, естественным свойством человеческой массы является стремление к росту, умножению [Канетти 1997: 34]. Что касается уровня первобытных групп, всегда немногочисленных по своему составу, то это стремление существует там в форме острейшей жизненной потребности [Там же: 105]. Поэтому первобытный коллектив в своих общениях с потусторонним миром испрашивает у богов в обмен на приносимые им жертвы прежде всего роста, приумножения, увеличения собственного количества, что является для него лучшим средством для выживания и процветания. Подобно тому, как торжество победителя сопровождается ощущениями освобождения, роста, увеличения жизненного пространства, так и всякое пополнение первобытного коллектива является торжеством, праздником. По словам Э. Канетти, праздник – это достигнутая цель, и исходное назначение праздника – приумножение жизни [Там же: 71–72]. Таким образом, и стремление к росту-приумножению, и стремление к празднику-торжеству суть явления одного порядка. Победитель восторженно кричит "ура!", которое он только что с яростью выплескивал в лицо врагу. То же самое "ура!" звучит и на праздниках.

На основании сказанного можно предположить, что дериваты от **yerdh-* первоначально соотносились в ритуальном контексте с "растущим, умножающимся коллективом (= войском, защитой)", т.е. с тем, что формулировалось в посылаемых богам молитвах, или, иными словами, с тем, чем видел себя коллектив в испрашиваемом (= творимом посредством ритуального акта) будущем. В пользу такого предположения говорит то, что большинство возводимых к этой форме слов связано с представлениями о плодородии, продуктивности: гот. *gawrisqan* "приносить плоды", слав. *rodь, roditi*, лтш. *radīt* "творить, порождать", лит. *rasmė* "рост, процветание, продуктивность" и т.д. [Pokorny 1959: 1167]. В др.-греч. ὀρθός "прямой, правильный, истинный", возможно, отражается соответствие ритуальной норме, обеспечивающее желаемое.

Возможно, с описанным кругом явлений соприкасается и **cer-* "широкий, далекий, просторный" [Pokorny 1959: 1165]. Др.-инд. *várivās* соотносится с представлениями о свободе, воле, мире, согласии, радости, удобстве, комфорте. Г. Грассман относит *várivās* и *váriman* к *vī* "покрывать, защищать, отражать" [Grassmann 1936: 1218–1219]. С другой стороны, поскольку "умножение массы" неизбежно приводит к экспансии, семантика "широкий, просторный" может являться и "гипертрофией" первоначального "огороженного пространства" (см. п. 9). Впрочем, такая "гипертрофия" могла развиться и в космологических представлениях.

9. ЗАЩИЩЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Среди возводимой к **cer-* лексики имеется значительный пласт слов, в которых семантика защитного характера отражается в виде различных искусственных укреплений. Это др.-инд. *vrī-* "ограда, забор", алб. *vathē* "огороженное место, двор вокруг дома, плетень, закон", ср.-кипр. *gwerthyr* "крепость", англос. *weord* "двор, хозяйство", тох. В. *wārto, wart(t)o* "огород, сад, лес", слав. *vora* "забор, ограда, частокол" [Pokorny 1959: 1161-1162], др.-инд. *vrajá* "плетень, загон, окружение", др.-греч. атт. εἰρυμός "тюрьма, замок", н.-ирл. *fraigh* "плетеная стенка, крыша, плетень, загон" [Там

же: 1168], фрак.-фриг. *βρα* "крепость", тох. АВ *ri* "город" [Там же: 1152], словен. *vzrēt* "забор, живая изгородь" [Там же: 1155].

Подобные значения могут быть мотивированы как самыми общими представлениями о защите, так и строительным процессом, направленным на возведение защитных укреплений. Учитывая защитную и связующе-объединяющую функции ритуализованных действий, естественно предположить, что строительный процесс с самого начала являлся жестким предписанием и протекал в ритуально-магической обстановке, поскольку выполнял абсолютно те же функции, что и ритуализованные действия: упорядочивал, тесно связывал в единое целое отдельные строительные элементы, и это целое было предназначено для защиты.

Вполне вероятным нам представляется предположение, что обозначение самой жизненно важной деятельности человека, как и обозначение главного речевого акта – клятвы, должно было восходить к ритуалу, где "слово" и "дело" слиты и немислимы друг без друга. По указанным выше соображениям наряду с собственно ритуальными действиями самая жизненно значимая деятельность включала в себя также ритуализованный процесс сооружения защитных укреплений. Поэтому есть основания предполагать, что **цerg-* "делать, действовать, работать", как и омонимичное **цerg-* "запирать, окружать; плетень, закон" [Рокоту 1959: 1168] восходит к синкретичному кругу понятий, отражающемуся в описанных выше значениях формы **цer-*. В пользу этого могло бы говорить то, что в словах, возводимых к **цerg-* "действовать, работать" кроме обозначений деятельности вообще встречаются указания на то, что она высшая (галл. *vergo-bretus* "верховная власть племени эдуев") и истинная (др.-брет. *guerg* "успешно действующий, верный, надежный", ср. также н.-в.-н. *wirklich* "действительный, настоящий, истинный" < *wirken* "действовать, творить; ткать"). На высший и к тому же конкретно ритуальный характер деятельности указывает также др.-греч. *δρυα* "(тайное) богослужение", *δρυιδξω* "праздничные мистерии", *ἔρδω* (< **Fepzδw* < **цerg'iδ*) "действую, жертвую". Возможно, с жертвоприношением связано и алб. *rregj* "очищать". На связь данной деятельности с высшим порядком явно указывают гот. *frawaurhts* "грех", *uswaurhts* "справедливость, законность, правосудие" [Feist 1909: 311]. Таким образом, можно с достаточной уверенностью говорить о том, что **цerg-* "запирать, окружать; плетень, загон" относится к **цerg-* "работать, действовать" так же, как к нему относятся др.-греч. *δρυα* "(тайное) богослужение", алб. *rregj* "очищать" и др., т.е. как более конкретное значение к более абстрактному.

Возможные отражения различных элементов строительного процесса, а также ткаческого ремесла и их тесную связь с рассмотренным выше комплексом представлений мы намерены рассмотреть в другой раз.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье мы стремились показать, что в развитии рассмотренной лексики допустимо видеть определенную зависимость от господствовавшего в первобытные времена типы существования, динамика которого вырабатывалась в ситуациях взаимодействия с враждебным окружением. Естественно, мы осветили далеко не все аспекты и этапы ожидаемого семантического развития. Однако в семантике той лексики, которую мы сумели здесь охватить, довольно отчетливо, как нам кажется, вырисовываются следующие реалии.

Носителем ритуализованных действий (здесь – средств коммуникации) является тесно сплоченная, представляющая собой единое целое группа, которая живет по единому закону, где каждый связан клятвенным обязательством соблюдать верность группе и всему, что составляет ее мир. В группе существует жесткая иерархия и связанная с ней система правил, а также другие, основывающиеся на ней системы правил, регулирующие отношения с внешним и сверхъестественным мирами. Внешний, всегда расцениваемый как чужой мир всегда окружает группу. Здесь нет места

современной психологии фронта и тыла, спереди – враг, сзади – свои. Здесь есть только тесный круг, на который отовсюду давит враждебное окружение. Поэтому группа всегда стремится обнести свое жизненное пространство со всех сторон надежной защитой. В связи с тем, что бессознательные психические процессы выравнивают все охранно-наблюдательные и оборонительные движения, это жизненное пространство находится в непрерывном вращении (что отражается на уровне космологических представлений). Центробежные силы последнего отбрасывают – как и свойственно безучастному ко всему закону – как чужого, так и своего, нарушившего клятву-обязательство.

Все это составляет тесно связанный комплекс представлений. Лексика, маркирующая этот комплекс, непротиворечиво связывается между собой довольно простыми семантическими отношениями, которые можно называть универсальными семантическими законами. Например, между семантикой "группа, войско, масса, стая и т.п." и семантикой "забор, плетень, город, двор, огороженное место и т.п." допустимо видеть типичную метонимию, как в рус. *город* "населенный пункт" и "население данного пункта". Но, опять же, и та и другая группы значений могут быть истолкованы как "то, что связано, объединено (с целью защиты)", т.е. как результат соответствующего действия, а семантика защиты и связи-объединения особей в группу, как не раз отмечалось выше, есть природный смысл ритуализованных действий, заложенный в них общебиологической динамикой существования.

Третий природный смысл ритуализованных действий – их назначение являться знаком – закономерно стремится в своем развитии к значению "знак". Однако следует заметить, в рассмотренной группе слов это развитие не уходит дальше значений "слово", "рисовать", "клеймить", "писать". Этому, на наш взгляд, имеются объективные причины. В целом же, есть некоторые основания полагать, что семантика "знак" – как это можно наблюдать на примере др.-греч. *σῆμα* *сѳѳолов*, лат. *signum*, тюрк. **уран* ("пароль, боевой клич" > "фабричная марка, знак" [Севортян 1974: 602]) – развивается именно на базе лексики, связанной с рассматриваемым здесь комплексом представлений. Естественно, эти предварительные наблюдения требуют тщательной проверки с охватом гораздо более широкого материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И. 1986 – Как можно улучшить этимологические словари // *Этимология* – 1984. М., 1986.
- Ахманова О.С. 1957 – Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
- Байбурин А.К., Фрадкин В.З. 1996 – Николай Федорович Сумцов и его работы в области обрядовой символики // Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов. М., 1996.
- Бенвенист Э. 1974 – Семантические проблемы реконструкции // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
- Варбот Ж.Ж., Куркина Л.В. 1980 – *Этимология* – 1978. М., 1980. Рец.: *Etymologie* // Hrsg. von R. Schmitt.
- Вейсман А.Д. 1991 – Греческо-русский словарь. М., 1991.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ протоязыка и протокультуры. Кн. 1–2. Тбилиси, 1984.
- Гроф С. 1993 – За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М., 1993.
- Дворецкий И.Х. 1976 – Латинско-русский словарь. М., 1976.
- Демьянков В.З. 1994 – Теория прототипов в семантике и прагматике языка // *Структуры представления знаний в языке*. М., 1994.
- Канетти Э. 1997 – Масса и власть. М., 1997.
- Кочергина В.А. 1996 – Санскритско-русский словарь. М., 1996.
- КСКТ – Краткий словарь когнитивных терминов / Отв. ред. Е.С. Кубрякова. М., 1996.
- Лакофф Дж. 1996 – Когнитивное моделирование // *Язык и интеллект*. М., 1996.
- Леви-Строс К. 1985 – Структурная антропология. М., 1985.
- Лоренц К. 1994 – Агрессия (так называемое "зло"). М., 1994.
- Маковский М.М. 1996а – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.
- Маковский М.М. 1996б – Язык – миф – культура. Символы жизни и жизнь символов. М., 1996.
- Матурана У. 1996 – Биология познания // *Язык и интеллект*. М., 1996.

- Откупщиков Ю.В. 1967 – Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967.
- Психология 1990 – Психология: Словарь. М., 1990.
- Севортян Э.В. 1974 – Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974.
- Степанов Ю.С. 1971 – Семиотика. М., 1971.
- Степанов Ю.С. 1989 – Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Степанов Ю.С. 1994 – Слово // *Philologica*. 1994. V 1. N 1/2.
- Степанов Ю.С. 1995 – "Слова", "понятия", "вещи". К новому синтезу в науке о культуре // Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. 1992 – Концепт "действие" в контексте мировой культуры // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992.
- Токарев С.А. 1990 – Ранние формы религии. М., 1990.
- Толстая С.М. 1995 – Магия обмана и чуда в народной культуре // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
- Топоров В.Н. 1981 – Ведийское *ṛtá-* к соотношению смысловой структуры и этимологии // *Этимология* 1979. М., 1981.
- Топоров В.Н. 1988 – О ритуале. Введение в проблематику // Архаичный ритуал в фольклорных и ранне-литературных памятниках. М., 1988.
- Трубачев О.Н. 1966 – Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
- Трубачев О.Н. 1988 – Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.
- Фасмер М. 1964–1973 – Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973.
- Черных П.Я. 1994 – Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1–2. М., 1994.
- Якушин Б.В. 1985 – Гипотезы о происхождении языка. М., 1985.
- Feist S. 1909 – *Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache*. Halle, 1909.
- Grassmann H. 1936 – *Wörterbuch zum Rig-Veda*. Leipzig, 1936.
- Lehmann W. 1986 – *A Gothic etymological dictionary*. Leiden, 1986.
- Pokorny J. 1959 – *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bd. 1–2. Bern; München, 1959–1965.

© 1998 г. Т.А. МИХАЙЛОВА, Н.А. НИКОЛАЕВА

**НОМИНАЦИЯ СМЕРТИ В ГОЙДЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ:
К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КЕЛЬТСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ***

Настоящее небольшое исследование представляет собой, по сути, робкую попытку приблизиться к решению достаточно глобальной и сложной проблемы – реконструкции представлений об Ином мире у кельтских народов. В отличие от германцев, кельты не оставили письменных свидетельств наличия у них развитой системы космогонических и эсхатологических представлений. Причины, которыми принято объяснять этот пробел, достаточно разнообразны, дискуссионны и находятся вне рамок нашего исследования. Однако, что для нас важно, сам факт отсутствия в письменных (и фольклорных) источниках развернутых описаний Иного мира квалифицировался всегда именно как утрата, но не как изначальное отсутствие соответствующей системы представлений, что, в свою очередь, предполагало возможность реконструкции.

Подобные реконструкции, естественно, проводились и проводятся постоянно, однако ни к какому единому решению исследователи так и не пришли¹. Однако следует заметить при этом, что, несмотря на отдельные концептуальные разногласия, практически все попытки реконструкции кельтских представлений об Ином мире отличались общностью методики; в их основе лежал детальный анализ текстов (как письменных, так и фольклорных) с точки зрения их содержания, за которым прочитывался, преломленный и искаженный, некий пра-миф. Предлагаемая же нами методика заключается в первую очередь в ориентации не на текст, а на слово, отдельную лексему, в сжатой форме содержащую в себе иногда целый комплекс представлений. "Имя в тексте может иконически отражать (воспроизводить) то, что происходит с самим носителем имени в мифе" – пишет В.Н. Топоров об именах собственных [Топоров 1993: 83], однако в равной степени сказанное применимо и к апелляциям и особенно – к идиомам, являющимся своего рода слепками духовных и материальных культурных срезов.

Возвращаясь к теме смерти, отметим, например, такие русские устойчивые выражения как *пребывать на небесах*, локализирующее Иной мир, *вечный сон*, отражающее установку на неназывание отрицательного явления и его метафорическую замену, и *сыграть в щик*, отсылающее к специфической погребальной обрядности. Аналогичные выражения, естественно, можно в изобилии найти и в языках гойдельской группы (древне-ирландский, современный ирландский и гэльский), причем анализ семантической мотивированности подобных выражений должен не только приблизить нас к решению основной задачи, реконструировать представления об Ином мире, но и попутно обрисовать, что называется, "портрет коллективной языковой личности", "объединенной общностью диалекта и ценностной картины мира, запечатленной в общем тезаурусе" [Никитина 1989: 36].

* Исследование финансировано РФФИ (грант № 97-06-80352).

¹ Литература по вопросу, естественно, огромна. В качестве обзорных, относительно недавних и содержащих большую библиографию работ мы могли бы рекомендовать в первую очередь большую статью П. Симс-Вильямса [Sims-Williams 1990], цикл трудов Дж. Кэри [Carey 1982; 1987; 1989; 1993 и др.], а также обзор В.П. Калыгина «Кельтский концепт "мир" в сравнительно-исторической перспективе» [Калыгин 1995].

Для человеческого сознания смерть всегда вторична, но при этом неизбежна и поэтому трагична (в той или иной степени), что на уровне языковом должно было привести к установке на эвфемистичность самих номинаций умирания. Смерть не только не является "семантическим примитивом", но и в силу разного рода причин бывает иногда табуирована для открытого называния, поэтому, говоря строго, все ее обозначения в той или иной степени эвфемистичны, так как описывают одно явление через другое или другие. С другой стороны, отдельные номинации смерти самими носителями языка как эвфемизмы уже не воспринимаются и поэтому анализ их семантических мотивировок сводится, по сути, к этимологии, реконструирующей тот же эвфемизм, но на уровне уже более архаическом. Причем интересно, что спецификация значения и стилистические рамки употребления лексемы могут практически не зависеть от лежащей в ее основе идеи. Так, русские глаголы *скончаться* и *прикончить* не только отличаются по смыслу, но и принадлежат к разным языковым стилям, но при этом оба они базируются на идее смерти как к о н ц а существования.

Смерть неизбежна и универсальна, она в равной степени ждет богача и бедняка, короля и раба, человека и животное, что называется – перед смертью все равны. Однако на языковом уровне эта достаточно банальная мысль далеко не всегда находит свое воплощение, что выражается в разности номинаций смерти животного и человека, короля и святого, человека, умершего от старости, от болезни или в бою. Именно эта разность номинации должна выявить определенную систему оппозиций, характеризующих каждую конкретную языковую и ментальную общность. Естественно, анализ номинаций смерти с данной точки зрения, опирающийся на методику группы, работающей над составлением "Нового объяснительного словаря..." [Апресян 1995; 1997] в нашем случае из-за разброса материала как на диалектном уровне, так и в диахронии, необычайно сложен и принципиально не может быть исчерпывающим, однако сама попытка такого подхода кажется нам достаточно перспективной.

И, наконец, прежде чем перейти к непосредственному анализу собранного материала, который по-прежнему представляется нам все еще недостаточно полным, оговоримся, что ввиду того, что нами было отмечено очень большое число лексем, в той или иной степени обозначающих прекращение жизни, в предлагаемом исследовании мы намеренно отказываемся от рассмотрения глаголов типа *убивать*, *нападать*, а также типа *утонуть*, *сгореть*, *разбиться*, ограничивая круг анализа номинациями умирания как такового.

Попытка классифицировать собранный материал с точки зрения семантической привела нас к идее выделения нескольких групп-концептов смерти, в которых умирание соотносится с разными исходными действиями или состояниями, с которыми смерть оказывается связанной метафорически. Учитывалось при этом и то, кто именно, умерший или живущие, оказывается в том или ином случае в фокусе эмпатии, то есть – с чьей точки зрения описывается смерть. Забегая вперед, отметим, что данное противопоставление, практически не реализуемое для русского языка, ориентированного в первую очередь на самого умершего, для ирландского языкового сознания, как мы увидим в дальнейшем, оказывается необычайно актуальным.

Для гойдельских языков нами было выделено семь лексических групп, отражающих семь концептов смерти, однако, данное членение является в достаточной степени условным. Широко отмечаемое для ирландской языковой культуры влияние христианства и латинского языка накладывает на диффузность архаической лексемы в целом, с одной стороны, и многоаспектность самого представления об умирании, с другой. Поэтому выделение так называемых "поздних" обозначений, в отдельных случаях сомнений не вызывающее, в других оказывается достаточно сложным.

В качестве условных групп – концептов умирания были выделены следующие:

1. Смерть как у т р а т а ;
2. Смерть как н е д о с т у п н о с т ь д л я с е н с о р н о й п е р ц е п ц и и о к р у ж а ю щ и х (полная или частичная);

3. Смерть как деформация материи;
4. Смерть как вредоносная субстанция;
5. Смерть как уход;
6. Смерть как погребение;

7. Смерть как смерть (в последнюю группу были включены основы, которые, в принципе, также могут быть рассмотрены как один из концептов умирания, но которые для гойдельской языковой общности уже являются семантически немотивированными и реконструируются лишь на уровне индоевропейском).

Вероятно, для русскоязычной аудитории может показаться странным отсутствие таких, казалось бы, естественных в данном случае групп как "смерть как сон" и "смерть как конец". Но, как показали наши наблюдения, данные представления о смерти для ирландского языка действительно оказываются не актуальными. Причина их отсутствия, возможно, коренится в несколько ином отношении к смерти у кельтских народов в целом. Так, с одной стороны, смерть далеко не всегда мыслится как нечто отрицательное: вспомним, например, ирландский народный обычай веселиться и танцевать во время поминок, а также выражение *Ar mhaith leat bheith adhlactha le mo mhuintirse?* ("Не хотела ли бы ты быть похороненной рядом с моими родными?") как традиционную формулу предложения "руки и сердца"². Характерно, что в одном из учебников современного ирландского языка в теме "Больница" вопрос "Что надо сделать, если пациенту вдруг стало хуже?" предполагает ответ не "вызвать врача" или "поместить его в палату интенсивной терапии" (как это было бы естественно для носителей иной культуры), а "послать за священником". Ирландское сознание не отрицает смерти, не стремится избежать ее и не боится называть ее открыто. Поэтому тенденция "метафорического умолчания", с известной долей лицемерия заменяющая *смерть* – *сном*, достаточно архаическая по своему происхождению (ср. в эпосе о Гильгамеше: "Спящий и мертвый друг с другом схожи..."), для ирландского языка не характерна. Более того, нами было встречено уподобление глубокого сна – смерти, но не наоборот (ср. также русск. *спать мертвым сном*, имеющее два значения): "...chruit ...co corastar for sluaгу *suanháis* [OD: 20] – "...арфа, ...которая погрузила воинов в "сно-смерть".

Более того, идея уподобления сна смерти может в ирландской эпической традиции развиваться до полной реализации данной метафоры уже на уровне сюжета. Так, в саге "Похищение стада Фроеха" неоднократно встречается мотив смерти, причиной которой является прекрасная музыка: *Sennait dóib iarum conid aphantar dá fher déc dia muintir la sóf 7 torsi* [TBF: 4] – "Так они им играли, что умерло двенадцать мужей из их людей от восторга и наслаждения"; *Aithélat fir le clúas ngléssa dóib* [TBF: 5] – "Многие мужи умрут, слушая их исполнение".

Идея смерти как сна, а точнее – Воскресения – как пробуждения была встречена нами лишь в житийных текстах. Так, в анонимном Житии св. Колума Килле XII в., составитель которого говорит о святом, что он *no duisced marbu* – букв. "пробуждал мертвых" [Herbert 1988: 242]. Ср. помещенное там же описание воскрешения юным Колумом Килле своего внезапно умершего учителя: *Tancatar na caillecha iarum 7 fuagatar in clerech marb fora cind, 7 atbertsat frisium duscad in chlerig dóib. Teitsium fo cétoir do duscad in clerig. Atracht didiu in clerech a bás la brethir Coluim Cille amal bid ina chotlad no beth* [Herbert 1988: 227] – «Тогда пришли монахини и поняли, что клирик мертв и сказали ему разбудить клирика. "Сейчас иду я, чтобы разбудить его". Покинула клирика смерть от слов Колума Килле, будто тот просто спал». В данном эпизоде почти дословно повторяются слова Христа, сказанные им о Лазаре: "Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его" [Иоанн, 11:11]. (ср. в ирландском переводе: *Tá an eodladh i ndiaidh teacht ar ár gcara, ar Lasarus, ach táimse ag dul lena dhúiseacht as a chodladh*), что заставляя, предположить влияние христианской метафоры на традиционное уподобление смерти сну.

² За предоставление отдельного материала, находящегося за пределами письменных текстов и словарей, авторы благодарят своего ирландского коллегу Г. Баннистера.

В том, что касается отсутствия концепта смерти как окончания жизни, то проблема эта представляется более сложной. Ее интерпретация, видимо, коренится в особом отношении к смерти как к некоему исходному состоянию, предшествующему жизни (ср. "Загробная жизнь в представлении кельтов, по всей вероятности, представляла как продолжение и предшествование земной и, таким образом, была как бы интермедией в этом бесконечном существовании" [Носенко 1987: 192]). Понять эту, достаточно распространенную в кельтологии, идею, безусловно, не так просто и интерпретация ее выходит за рамки данного исследования. К тому же, видимо, под влиянием христианской культуры представление о смерти как о конце все же проникли и в кельтское сознание: ср. совр. валл. *tranc* 'конец, смерть' [Lewis 1960: 153] и ср. ирл. *crích dheidheanach*, букв. 'последний предел' [CDIL, D-2: 12]. Однако надо отметить, последние примеры взяты из словарей, в том же, что касается конкретных текстов, то, повторяем, идея представления о смерти как о конце нами встречена не была.

Приступая к конкретному анализу выделенных групп-концептов смерти, отметим еще раз условность предлагаемой предварительной классификации и принципиальную неполноту материала: тема обозначений смерти – как мы понимаем – всегда остается и будет оставаться открытой как для новых интерпретаций, так и для дополнительных данных.

1. СМЕРТЬ КАК УТРАТА

Данная идея, казалось бы, является достаточно распространенной, однако именно в ирландском языке она оказывается грамматикализованной и органично входит в синонимнику умирания, а не в ряд перифрастических описаний факта смерти. Так, русская фраза *Она потеряла мужа на войне*, с одной стороны, действительно может быть интерпретирована как синонимичная фразе *Ее муж погиб на войне*, однако, с другой стороны, для русского сознания идея утраты или потери оказывается немислимой без указания адресата потери, который является не только логическим, но и грамматическим субъектом высказывания (ср. **Ее муж был потерян ею на войне*). Для ирландского языка, напротив, пассивные конструкции с логическим субъектом – умершим и глаголом или отглагольным существительным, выражающим идею утраты, являются достаточно распространенными, однако, как мы понимаем, в фокусе эмпатии в данном случае все равно оказывается не умерший, а живые. Иными словами, если для русского сознания факт утраты мужа принадлежит, все же, биографии вдовы и поэтому не может быть включен на вербальном уровне в ряд обозначений умирания, ирландская "потеря", хоть и также описывает смерть "глазами живых", входит в число анализируемых нами лексем, так как предполагает возможность пассивных конструкций и не требует указания субъекта потери.

Так, для современного ирландского языка (независимо от стиля высказывания) являются достаточно регулярными конструкции типа: *cailleadh é*, букв. "он потерян" (при *caillim* 'теряю'), употребленные в значении 'он умер', причем необходимо отметить при этом полную нейтральность и продуктивность глагола "терять". Ср. *Tá sé caillte sa bliain 1968* – "Он умер в 1968 году"; *Do bhí feirmeóir, fado, ann agus do cailleadh a bhean* [BI 1928: 283] – "Жил-был один фермер и жена его умерла"; *Cailleadh an leanbh iarnamháireach* [BI 1928: 212] – "Ребенок умер на следующий день"; *Cúig bliana déag tar éis í chailliúint* [BI 1928: 207] – "Через пятнадцать лет после ее смерти" (букв. "потери") и т.д.

Другая группа слов, передающая идею смерти как утраты, представляет собой целый пучок лексем, соотносимых друг с другом (*tesbaid, tesbail, testail, testaigid, estecht, etsecht, esbaid* и пр.). Главным значимым элементом в них оказывается префикс *ess-* 'из, вне', передающий общую идею отсутствия, собственно же глагольных основ при этом – две: *ta-* и *be-*, причем обе входят в парадигму глагола бытия. В отдельных случаях перед *ess-* стоит *t-*, восходящее к пустой семантически глагольной частице *do-*. Например: *...teasta Tea ingen Luigdeach* [RR: 168] – «...умерла (букв. – "отсутствовала")

Тэа, дочь Лугайда»; *Do ragnir tra Boíste mac Brónaig i n-uair a etsechtaí in tríú Colum Cille* [Herbert 1988: 224] – "Предсказал же Боите сын Бронага в час своей смерти приход Колума Килле"; *Esbaidh mór do Éirinn aníú Mac Ercá* [AMME: 27] – "Утрата великая для Ирландии сегодня сын Эрк" (т.е. – "сегодня погиб сын Эрк"), ср. *ní fes méd a n-esbada* [CDIL, E: 183] – "не известно количество их утрат" (т.е. – "не известно число погибших").

То, что при обозначении смерти как отсутствия, утраты сохраняется установка на живых, а не на самого умершего, говорят и другие значения данной группы слов, обозначающих широкий комплекс понятий, связанных с общей идеей нехватки, недостачи, утраты: ср. *Ní fitir Medb tesbaid in claidib* [CDIL, T-1: 156] – "Не известна была Медб нехватка мечей" (т.е. "Медб не знала недостатка в мечях") или – *in tan theasdaigheas bó uait...* [CDIL, T-1: 159] – "когда будет нужен скот тебе..."; или – *so mbeth sé ar esbaid tri n-aidhici* [CDIL, E: 184] – "так что он отсутствовал три ночи" и пр.

Строго говоря, в эту же группу могут быть включены и выражения с глаголом *быть* в отрицательной форме – ср. русск. "его нет" = "он умер": например, *Colum cen beth* – букв. "Колум без бытия" [ACC: 160]. Общей при этом остается идея описания смерти как отсутствия умершего среди живых, т.е. смерть описывается глазами живущих.

Видимо, эта же идея присутствует и в лексеме *díth*, семантическая мотивированность которой представляется нам достаточно сложной. В современном ирландском языке *díth* обозначает в первую очередь "отсутствие, нехватку, потребность в чем-л." (ср. *tá... de díth orm* – "мне нужен..."). В древнеирландском данная лексема также, как мы можем судить по данным словаря (CDIL), имела в качестве основного значения 'нехватка; ущерб; недостача' (в Вюрцбургских глоссах глоссируется как *detrimentum*). В отдельных случаях оказывается трудно сказать, какое именно значение лексемы имеется в виду в тексте, например – *flaith cen díth cen dǫbad* [CDIL, D-2: 144] – "царство без ущерба без смерти" или "царство без гибели без смерти" (нанизывание аллитерирующих синонимов является одной из характерных черт древнеирландской прозы); или – *Táinic díth do buaib Éirenn ina flaith* [RR: 294] – "Пришел недостаток (падеж – ?) скота в Ирландии в его правление". *Díth* с чистым значением "гибель" употребляется обычно как поэтизм: *Dubhach sin, a dhúin na fíogh, / ní hiongnadh dhuit do dhíth Néill...* [Knott 1966: 24] – "Мрачно это, о крепость королей / не привычна для тебя гибель (утрата) Ниала...".

Ср. также интересный пример употребления лексемы в саге "Разрушение Дома Да Хока" (рукопись XV в.) – *Batar Ulaidh hi comairle iat díth Conchbair díá fis cia díá tiberdais fíghé* [BDC: 150] – "Стали улады держать совет после смерти Конхобара, дабы решить, кому передать королевскую власть". Выбор лексемы ясно показывает установку составителя текста, который делает акцент не столько на факте умирания короля, сколько на его последствиях: смерть Конхобара лишает уладов правителя и ставит их перед необходимостью искать ему замену.

Таким образом, как мы видим, значение 'смерть' у данной лексемы является вторичным. Однако, при этом очевидно, что др.-ирл. *díth* соотносится с многочисленными лексемами, особенно широко представленными в германских языках, обозначающими смерть и традиционно возводимыми к и.-е. **dheu-* 2 'умирать, исчезать' (см. [Топоров 1990: 53]). Однако употребленный нами глагол "соотносится", естественно, не может подменить конкретного анализа и мы можем в данном случае лишь повторить слова Д. Бака о том, что "глубинные взаимоотношения разных представителей **dheu-* групп не ясны" [Buck 1949: 237]. Рефлексы **dheu-* в ирландском представлены в первую очередь обозначением "человека" (*duine*) как "смертного" (ср. хет. *danduki-* 'человек; смертный' – [Иванов 1987: 7]), а также, возможно, слабым глаголом *ru-deda* 'ослабляться, иссякать' (глосс. как *contabuit* [Thurneysen 1946: 474]), соотносимым скорее с **dheu-* 4 'рассеиваться, разноситься (о запахе и звуке)'. Включение же в **dheu-* группу др.-ирл. *díth*, предложенное еще Ю. Покорным [Pokorny, 1: 260], строго

говоря, не является самоочевидным фактом, так как значение 'смерть' у данной лексемы, как мы пытались показать, является вторичным, значения же 'конец' – нет вообще. Принятие данной гипотезы, как мы полагаем, возможно лишь при допущении следующего пути семантического развития: у данной основы сохраняется исходное значение 'исчезать' в пракельтском, а затем и в прагойдельском, сам же переход к 'умирать' происходит уже в эпоху историческую, одновременно со спецификацией значений к 'ущерб, разрушение, недостаток'. В принципе, с учетом характерной для гойдельского консервацией архаических черт подобный переход вполне возможен (ср., например, сохранение архаического значения 'правый – южный' в ирл. *deas*).

2. СМЕРТЬ КАК НЕДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ СЕНСОРНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ (ОКРУЖАЮЩИХ)

Данная группа, естественно, реализуется в первую очередь как недоступность для зрения, т.е. как "потемнение" (ср. аналогичный пример из Анандавардханы в уже цитированной нами работе В.Н. Топорова [Топоров 1990: 53]), что отчасти также соотносимо с и.-е. **d^heu-*. Однако для др.-ирл. архаическая идея смерти как недоступности для зрительного восприятия (ср. также и.-е. **mer-* 'мерцать, меркнуть') реализуется на уровне вербальном при помощи других основ.

Среди них следует в первую очередь выделить лексему *bás*, являющуюся как в древнеирландский период, так и в современных гойдельских языках основным, базовым обозначением смерти (через него, как правило, глоссированы другие ее обозначения – *bath*, и. *bás* и пр.). Этимология данной лексемы явилась предметом ряда дискуссий, видимо, ввиду поспешного ее соотнесения с другими, созвучными фонетически и семантически, лексемами (*ba-*, *bath*, *at-bath* и др., см. [Vendryes 1981: B-21, а также – B-1, B-22], о чем – ниже). В настоящее время очевидным является ее возведение к и.-е. **g^wes-* 'гасить' (ср. санскр. *jása-ti* 'угаснуть, выдохнуться, опустеть', тох. А *kás*, латв. *dziēsti* 'гаснуть', русск. *гаснуть*, *гасить* 'то же', при гот. *qistjan* 'уничтожать', *fra-qistjan* 'гибнуть').

Широкое распространение лексемы, как можно предположить, вызвало спецификацию нюансов ее употребления уже в среднеирландский период, что выразилось в конкретных синтаксических и лексических особенностях введения ее в текст. Так, традиционное выражение *fuair sé bás* букв. "он получил смерть", которое для современного языка является нормативным, предполагает осмысление умирания как получения извне некоей субстанции (ср. также – ср.-ирл. *im-birt bás* "причинить смерть", букв. "внести"). В то же время, сочетание *dál báis* – "встреча со смертью" (ср. *Dar th'ordan ocus darsin dáil i tiag-sa* и. *dál báis*... [FR: 7] – "Клянусь твоей властью и встречей, на которую я иду, встречей со смертью..."), а также народное выражение *Tá sé ag comhra leis an mbás* – букв. "он разговаривает со смертью" в значении "он при смерти", предполагают осмысление смерти как некоей персонификации умирания. С другой стороны, глагольный ряд с общей идеей перемещения, субъектом которого также является *bás*, не только подкрепляет идею возможной персонификации смерти, но и добавляет к ней нюанс возможного пребывания смерти в некоем фиксированном месте, откуда она время от времени может появляться и куда она уносит умершего (или он отправляется туда сам). Ср., например: ...*hi fiu leu bás n-aill du techt fortu* (из Миланских глосс [CDIL, B: 41]) – "...та другая смерть должна прийти к ним" или – *Ead pot-béga* и. *bás do ginn* [BS: 10] – "Это тебя унесет, т.е. смерть от копья". Последняя идея соприкасается с другой выделенной нами группой – смерть как уход – и с изначальным осмыслением умирания как затемнения или угасания в сознании носителя языка уже в древнеирландский период, скорее всего, не ассоциировалась.

Другая лексема этой группы, *cel* (совр. *ceal*), на наш взгляд, осознавалась как более мотивированная семантически, поскольку являлась производным от *ceilim* 'прячу'. Основа возводится к и.-е. **k'el-*, откуда вал. *celu* 'скрывать', лат. *celo* 'прячу', греч.

καλυκτω 'то же', гот. *huljan*, др.-исл. *hylja*, др.-англ. *be-hyllan* 'покрывать, укрывать' при (!) гот. *halja*, др.-исл. *Hel*, др.-англ. *hell* 'мир мертвых, Хель, ад'. Таким образом, обозначение *cel* – смерти может интерпретироваться и как продолжение идеи об умирании – исчезновении (для перцептивного восприятия), сокрытии, недостатке, и, одновременно, выступать в качестве обозначения некоего скрытого пространства, осмысляемого в качестве локуса Иного мира.

С точки зрения частотности употребления, *cel* является гораздо менее распространенной лексемой, чем *bás*, и относится скорее к сфере книжной лексики (в христианском контексте соотносится скорее с Раем или небесами). Ср. в ср.-ирл. тексте Жития св. Колума Килле (XVI в.) – *O ra boi Colum Cille tricha bliadan i nAlbain ro gab inmalle figu Egeinn ima fhaicsin 7 ima imacalluim gin ndul ar ceal* [Herbert 1988: 244] – "После того, как пробыл Колум Килле тридцать лет в Шотландии, охватило желание мужей Ирландии его видеть и говорить с ним, прежде чем он умрет (букв. – уйдет в укрытие)".

Идею исчезновения как затемнения выражает и относительно редкая лексема *teme* (*teime*), образованная от основы *tem-* 'тьма' (ср. др.-ирл. *teimen* 'темный, неясный; темного цвета' при русск. *темный* 'то же', литов. *témi* 'темнеть, смеркаться', перс. *temel* 'мрак', к и.-е. **tem-* 'отсутствие света'). Вторичность обозначения смерти в этом случае не вызывает сомнений. Однако надо признать, что *teme* как обозначение смерти встречается лишь в глоссариях или в текстах подобного типа. См. известную глоссу XII в. к "Чуду Колума Килле" (поэме, датируемой концом VI) – *dibath 7 bath 7 ba 7 bu 7 cel 7 teme ic sluid erpiten* [ACC: 170] – "...обозначают умирание". Ср. там же – *fo lith doluid ar theme* – "(он) счастливо ушел во тьму (т.е. – умер)". Ср. также совр. гэльск. *teamhal* 'обморок, беспамятство' [MacIennan 1925: 336].

Таким образом, умерший оказывается погруженным во мрак, он одновременно скрыт от глаз живущих, т.е. не виден ("угас") и сам находится во мраке ("тьме"), т.е., видимо, сам в силу ряда неизбежных изменений утрачивает способность видеть мир живых (ср. распространенную тему слепоты и кривизны как сопричастности Иному миру). Но метафора зрения является не единственной, охватывающей сферу перцепции. Данные ирландской эпической традиции предоставляют нам другой пример осмысления умирания – как утраты способности говорить, что на уровне вербального реализуется в распространенном выражении *athelat a béoil* – "помертвеют его/ее губы" = "он/она умрет". Это словосочетание, надо отметить, часто встречается в контексте вербальной акции (типа "помертвеют его губы, если он скажет неправду" и др.), однако может быть использовано и изолировано – ...*atbélat a bhéoil side i mbarach d'adaig* [TBF: 9] – "...она умрет завтра ночью". Данное выражение встречается обычно в текстах саг и, видимо, может быть соотнесено с архаическими кельтскими представлениями о том, что мертвые теряют способность разговаривать (ср. в валлийском эпосе рассказ о чудесном котле, куда можно было положить тело убитого воина – на следующее утро он мог опять сражаться, но терял способность говорить; ср. также фольклорный рассказ об обретении крестьянином его умершей жены – она нашлась на небольшом острове, где жила как обычный человек, но была нема [Síscealta... 1977: 234]).

Итак, мертвые невидимы и немы. С точки зрения живых и их комплекса перцептивных ощущений, "тело человека предстает как достаточно пестрое соединение разнородных элементов. Смерть рассматривается прежде всего как их уничтожение" [Иванов 1990: 10].

Однако в ирландской традиции прекращение возможности восприятия умершего живыми людьми интерпретируется не столько как уничтожение, сколько как исчезновение. Недоступные для сенсорного восприятия, мертвые, как кажется, не прекращают своего существования, но форма его становится принципиально иной, недоступной для ординарной личности мира этого. Ср. при этом мотив одноногости, однорукости и одноглазости инфернальных существ в ирландской мифо-поэтической традиции: вторая

их половина находится в мире ином и поэтому для восприятия живущими в мире этом остается недоступной.

Мертвый, таким образом, не уничтожается, но меняется, что на вербальном уровне воплощается в достаточно позднем эвфемизме, распространенном в Шотландии – как пишет об этом Э. Росс, "находясь в современной шотландской деревне, человек должен остерегаться употребить выражение *fuair sè bas*, которое применяется только по отношению к животным. Говоря о людях, современный шотландский крестьянин скажет скорее *do caochail sè* 'он переменялся' [Ross 1990: 110]. Совр. гэльск. *caochail* 'изменяться' восходит к др.-ирл. *con-imchldim* 'изменяю, изгибаю' (к и.-е. **kleu-* 'гнуть'), что соотносится с общегерманским обозначением конца мира как результата закругления и загибания (см. [Топорова 1994: 45–46]), а также с русским *гибель*.

3. СМЕРТЬ КАК ДЕФОРМАЦИЯ МАТЕРИИ

Если концепт смерти как утраты и смерти как исчезновения описывает умирание скорее глазами живущих людей, через их эмоциональное и сенсорное восприятие, то группа лексем "смерть как деформация материи", естественно, уже предполагает направленность на самого умирающего. Среди лексем, представляющих данную группу (надо отметить – достаточно малочисленных по употреблению) следует назвать в первую очередь основу *tám-* (откуда *támach* 'вялый, изнемогающий', *támaid* 'умирает', *támgail* 'чума' и др.), восходящую к и.-е. **ta-/te-/tai*, откуда вал. *tawdd*, брет. *teuzi* 'таять', а также гр. τῆκω 'таять' и русск. *таять*.

Др.-ирл. *tám* означает в первую очередь естественную смерть, обычно – наступившую в результате болезни, а также – саму эту смертельную болезнь или обморочное состояние, предшествующее смерти. Ср.: *Dofic a móirthart íad 7 aplis do thám* (LU-версия саги TBDD, цит. по [Bhreatnach 1982: 257]) – "Напала на него великая жажда и он потерял сознание и умер" (букв. – "умер в потерю сознания"). Ср.: *Tainic iaromh taimnell do Shuibhne* [BS: 154] – "Напал потом смертельный обморок на Суибне" (поскольку в дальнейшем описывается погребение героя, видимо, данное словосочетание в саге имеет значение 'смерть').

Но, надо отметить также регулярное использование клише *aibath do tám* 'умер от болезни' (как правило – чумы или иной эпидемии) в хрониках [RR: passim]. В современном ирландском языке *támh* утратило значение 'смерть' и употребляется для обозначения ступора, обморочного состояния, близкого к летаргическому сну. В гэльском – слилось с *teamhal* 'беспамятство'.

Но если *tám* предполагает разрушение материи как "таянье", то есть – деформацию постепенную (при смерти естественной), то основа *tuit* – "падать", входящая в клише, описывающие смерть противоестественную (обычно – на поле битвы), означает внезапное нарушение исходного состояния материи – ср. русск. *пал* в аналогичном значении и др.-англ. *hryre* 'смерть, гибель' от *hreošan* 'падать' [Русяцкене 1990: 18], а также лат. *cecedit*, используемое и в ирландских хрониках. Однако, надо отметить, что в ирландском претеритная супплетивная форма *do(to)-rochair* используется не только для обозначения гибели в бою, но и для описания практически любой неестественной, то есть – внезапной смерти. Например: *Crimthand mac Fidaig... co torchair la Mongfind, la derfiar féin* [RR: 346] – "Кримтан сын Фидага... погиб от (руки) Монгфинд, его собственной сестры" (она его отравила), или – *Do rochair tra Donnall mac Aeda iar teacht ón Roim* [RR: 376] – "Погиб же Домналл сын Аода после возвращения из Рима" (видимо, умер внезапно и причина смерти осталась не известной).

Ограниченность глагола *tuit*- в значении 'погибать', в основном, текстами хроник заставляет предположить латинское влияние, однако сама идея смерти как внезапного изменения исходного вертикального состояния вполне органически вписывается в ирландскую языковую систему, входя в оппозицию "постепенное разрушение (таянье) – внезапное разрушение (падение)".

Особый интерес представляет лексема, присутствующая в современном ирландском (в основном – в диалектах) и также передающая идею смерти как разрушения материи, но одновременно – постепенного и внезапного и включающего как деформацию мягких тканей (вытекание), так и измельчение твердых (рассыпание). Мы имеем в виду группу лексем, восходящих к др.-ирл. *síthal* ‘котел, ведро, воронка, фильтр’ (из и.-е. **setlo-*, откуда русск. *cumo*), при др.-ирл. *síthal* ‘труп, мертвец’ [Vendryes 1974: S-122]. В современном языке рефлексы данной основы закреплены в двух формах, отчасти – синонимичных, *síothluighim* ‘иссыхаю, ослабляюсь, умираю’ и *séaluighim* ‘фильтрую, просеиваю, выпадаю в осадок, умираю’ [Dinpen 1927: 1003, 1042]. Возможно, идея распада материи, вызванная общим представлением о смерти как утрате изначальной формы и энергии (ср. русск. разг. *выпадать в осадок* в значении ‘лишиться сил’ и ‘не принимать участия в какой-либо деятельности’), в данном случае была поддержана др.-ирл. *síth (síth)* ‘мир, покой’. Ср. *Shíothlaigh an ghaoth* ‘ветер успокоился’ (англ. *died* [Dinpen 1927: 1042]).

Корень *mel-* с общим значением ‘разрушать, разбивать’ (ср. русск. *молоть*), видимо, лежит в основе двух других обозначений смерти, *melg* и *melt*, встречающихся только в глоссах и в композитах: *melgteme .i. bás* (“смертельная тьма”) и *melgtene* (букв. “смертный огонь” – ‘погребальный костер’). См. [Vendryes 1960: M-33].

Близкая идея смерти как разрушения кодируется и основой *mad-* с общим значением “распад материи, расщепление, уничтожение исходного состояния”. Ср. др.-ирл. *mudugud* ‘гибель, разрушение, смерть’ при *madae* ‘напрасный, бесполезный, бессильный, вялый’. Присутствующая в и.-е. **mad-e* общая идея таянья и превращения во влагу (лат. *madere* ‘быть мокрым’, греч. *μαβαω* ‘теку’, санскр. *mádat* ‘он пьян’) в ирландском развивается в общий концепт разрушения в целом (при *tomadma* ‘наводнение’). Например: *Is leog mo mudugud m’oenur* [ODR: 20] – “Хватит и одной моей смерти”. Ср. также пример соединения обеих смысловых нюансов (изливания жидкости и общего разрушения) – *La sodain maidid a loim fola for a beolu ocus at-bail fo chetoir* [FR: 11] – “Тут поток крови хлынул у него изо рта и он умер”.

Осмысление смерти как деформации материи вследствие ее внезапного разрушения присутствует также в широкой палитре глаголов убивания, выходящей за рамки нашего непосредственного исследования.

4. СМЕРТЬ КАК ВРЕДОНОСНАЯ СУБСТАНЦИЯ

Семантически группа примыкает к предыдущей, поскольку, во-первых, также ориентирована на самого умирающего и, во-вторых, на умирание как процесс, а не как результат. Несмотря на то, что к данной группе могут также примыкать отдельные лексемы из других групп, оформленные соответствующим образом (например, “получать смерть”), в чистом виде она представлена только одной лексемой – *tonnad*, глоссируемой и как ‘яд’ (.i. *neimh*), и как ‘смерть’ (.i. *bás*). Ж. Вандриес отмечал неясность этимологии *tonnad* [Vendryes 1978: T-110], однако представляется очевидной ее вторичность по отношению к др.-ирл. *tonn* ‘волна, влага, жидкость’, а также ‘прилив гнева, поток’ и ‘извержение экскрементов, рвота, кровотечение’. *Tonnad*, таким образом, это то, что вызывает *tonn* – некое разрушительное для организма истечение влажной субстанции и, одновременно, вредоносная жидкая субстанция как таковая, т.е. яд (смертельная жидкость). Ср.: *Nírbo lór dano la Cobhtach in chétfhingal, co tart argat do neoch do-rat dig tonnaid do Ailill combo marb de* [ODR: 19] – “Не хватило же Кобтаху первого убийства родича и сделал он ему серебра для питья и дал питье смерти Айллилю, от чего тот умер”. Ср. также разные интерпретации одного и того же эпизода с отравлением в разных рукописях “Хроники королей” – (Min) ...*conerbailt do digh thondaig* (“умер от питья смерти”) и (R³) ...*conerbailt don digh nimhe* (“умер от питья яда”).

В отдельных контекстах *deoch tonnaid* может употребляться метафорически как

"смерть" вообще – "питье смерти", например, в "Разрушении Дома Да Дерга": Is sochuide día tarad deorga tondaig anocht ar dogus mBuidni [TBDD: 46] – "Многим был поднесен напиток смерти сегодня вечером у входа в Дом" (т.е. многие были убиты).

Мотив смерти как питья, как нам кажется, представляет собой своеобразную реализацию темы "напитка бессмертия", в кельтской традиции в чистом виде не представленной.

Возможно, в данную группу может быть включено и позднее обозначение смерти (преимущественно – животных) – *stiúg* [Dinnen 1927: 1166], восходящее к др.-ирл. *stióg* 'вдох, вдох' (из др.-англ. *stoc* 'труба' [Vendryes 1974: S-191]). Смерть, таким образом, может быть осмыслена как вдыхание вредоносной субстанции и, одновременно, как отсутствие способности к дыханию (ср. русск. *подыхать* в аналогичном значении).

5. СМЕРТЬ КАК УХОД

Данная группа может быть квалифицирована как относительно поздняя, поскольку все, представленные в ней многочисленные обозначения умирания являются даже не эвфемизмами, а своего рода перифрастическими описаниями, практически не нуждающимися в реконструкции. Интересно при этом, что с процесса умирания акцент в ней переносится уже на посмертное существование, видимо, души умершего (но говорить об этом приходится с очень большой осторожностью). Строго говоря, мы не можем утверждать, что сам факт наличия данных выражений предполагает существование в коллективном сознании говорящих конкретно локализуемого ими пространства Иного мира, куда после смерти отправляются умершие, поскольку в отдельных случаях фразы типа "он ушел" могут рассматриваться как синонимичные "его нет (среди нас)" и, таким образом, оказываются соотносенные с концептом смерти как утраты. См., например, в фольклорном рассказе о посещении Ойсином Страны вечной юности: когда он вернулся в Ирландию, все фении уже были мертвы, т.е. их уже не было: *bhí siad ar fad imthighthe* [Bl. 1928: 220] – букв. "все они ушли" (ср. аналогичный эпизод в учебнике ирландского языка для младшей школы – *Bhí na fianna marbh* ("Фении были мертвыми"). Аналогичная идея одновременного отсутствия и ухода соединяется, видимо, и в шотландском эвфемизме *shiu bhail é* 'он путешествует' [Ross 1990: 110]. Мотив "унесения смертью" присутствует и в уже отмеченных нами словосочетаниях с лексемой *bás*.

Большой интерес, с нашей точки зрения, представляют описательные конструкции, в которых не только присутствует соответствующий глагол движения (или перемещения), но и указывается тот или иной локализатор, отсылающий к соответствующим представлениям об Ином мире. Естественно, в поздних текстах мы можем найти большое количество упоминаний о Небесах, Рае и Аде, вторичный характер которых не вызывает сомнений. Например, в Житии св. Молинга: *Luaidh co huasal ocus co honogach docum an tsossaidh ainglecda* (текст XVII в.) [Stokes 1906: 304] – "Ушел он благородно и с честью на место ангельского отдохновения".

Другие выражения, более редкие, очевидно отсылают нас к иной, более архаической традиции локализации Иного мира, однако делать тут какие-либо выводы мы можем лишь с большой долей осторожности.

Так, народный эвфемизм *d'imigh an báid leis* – 'лодка уплыла с ним', явно отсылает нас к представлениям об Ином мире, находящемся на островах за морем (ср. мотив плаваний, *imtragam*, как посещений Иного мира в ирландской мифопоэтической традиции), однако автохтонность данного концепта в настоящее время является предметом дискуссий (см. [Dumvill 1976; Mac Sana 1976]). Впрочем, вторичность мотива не противоречит его укорененности в народной традиции, а также в языковом сознании, то есть на уровне фразеологизма.

То же можно сказать и о ряде выражений, соотносимых с так называемой "традицией Донна" – представлениями об Ином мире, находящемся на маленьком острове у юго-западного побережья Ирландии (*tech Donn*). Например: *go dtí (go drigh) Diúinn!* –

букв.: "к (к дому) Донна!" (т.е. – "чтоб ты умер"). Первое упоминание о Донне, одном из сыновей Миля Испанского, погибшем у берегов Ирландии, и одновременно – божестве смерти, содержится в "Книге захватов Ирландии" (...co go báitte os na Dumachaib os Taig Duind. Duma saha fhir and [LGE: 38] – "...так что они утонули возле Думаха у Дома Донна. Там могила каждого человека"), однако архаичность данной традиции довольно проблематична. Подробнее о "Доме Донна" см. [Müller-Lisowski 1945]. Выражения, отсылающие к "дому Донна", являются перифрастическими и к числу органических номинаций смерти отнесены быть не могут.

6. СМЕРТЬ КАК ПОГРЕБЕНИЕ

По сути, то же можно сказать и о группе слов и устойчивых выражений, перифрастически описывающих умирание как осмысление посмертной судьбы умершего, но не с точки зрения души (или иной внетелесной субстанции), как в предыдущей группе, а с точки зрения – тела. Все, входящие в группу выражения относительно поздние и, что, с одной стороны, затрудняет анализ, а с другой – не требует от него исчерпывающей тщательности, все они представляют собой необычайно живые образования, состав которых постоянно меняется. Так, отметим выражения типа *tá culaith adhmaid air* 'на нем деревянный пиджак', *tá sé faoi chlocha* 'он под камнями', *tá sé ag ceansú ina cré* 'он погружен в землю', *tá sé faoin fhód (sa cré)* 'он под землей (в почве)', *cuireadh sé* – букв. 'он положен' ('похоронен') и проч. Ряд, названный условно "nos habebit humus", оказывается неисчерпаемым.

Однако, вербализация идеи перифрастического описания смерти через погребение, естественно, должна опираться на тафологический тезаурус социума (т.е. сумму знаний о способах обращения с умершим, см. [Смирнов 1985]), которая далеко не всегда может совпадать с реальной погребальной практикой. Так, традиционная ингумация, которая описывается в ирландских сагах и входит в состав клише, как показали археологические данные, не соответствует реально практикуемой в дохристианской Ирландии кремации.

В качестве наиболее распространенного клише, регулярно употребляемого в народной речи в значении "умереть", нами было встречено выражение *dul i dtalamh*, букв. "идти в землю". Например: *Tháinig sé abhaile, agus ón lá sin go dteachaidh sé i dtalamh ní theachaidh sé chun an chnoc ar a aghaidhe féin* [Síscealta... 1977: 76] – "Он пошел домой и с того дня до самой смерти (букв. – до того, как пошел в землю) не ходил больше на холм в одиночку"; или – *Ní chaith an bhaintreach bhocht sin lá gan airgead ón lá sin go dtí an lá a chuaigh sí i dtalamh* [Síscealta... 1977: 40] – "Не было у бедной вдовы с того дня недостатка в деньгах до самой смерти (до дня, когда она пошла в землю)".

Интересно, что глагол *luigh* 'лежать, класть' в ирландском языке также оказывается настолько прочно ассоциирующимся с парадигмой погребения, что воспринимается как один из синонимов умирания. Именно этим, видимо, объясняется последовательная замена евангельского "возлежания" в ирландском переводе "сидением за столом". Так, например, русский перевод: "Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками" – ирландский перевод: *Nuair a bhí sé ina thráthnóna, shuigh sé chun boird* (букв. – "сел к столу") *é féin agus an dá réag disceabal*.

К данной же группе, видимо, следует отнести и др.-ирл. *nás*, 'смерть', достаточно редкое слово, образованное по мнению Ж. Вандриеса из *násad* 'праздник', ("праздник-поминальный обряд-погребение-смерть") [Vendryes 1960: N-3], однако семантическая мотивированность данного перехода кажется нам сомнительной. Лексема встречается только в глоссариях (i. bás).

Итак, рассмотренный нами материал достаточно логично сам распадается на шесть групп-концептов смерти, которые в свою очередь, группируются по две, описывают разные подходы к умиранию: смерть как отсутствие умершего среди живых (1 и 2), умирание как процесс (3 и 4) и последствия смерти для самого умершего (5 – для души и 6 – для тела).

Как можно предположить, лексемы, образующие эту группу и реконструируемые лишь на уровне индоевропейском (или хотя бы – прагойдельском) и уже не осознаваемые как мотивированные семантически в древнеирландский период, также, хотя бы отчасти окажутся соотносимыми с уже выявленными нами концептами смерти. Однако, как мы понимаем, семантическая диффузность архаической основы затрудняет анализ ее "мотивированности". Но все же – попробуем.

Одной из самых распространенных основ, кодирующих идею умирания, причем – как насильственного, так и естественного, в ирландском языке является основа *mar(b)*, как пишет о ней Ж. Вандриес, *usité de tous temps* [Vendryes 1960: M-19]. Действительно, прилагательное *marb* и производные от него встречаются и в древнеирландских текстах, и в современных ирландских и гэльских диалектах, причем ни частотность употребления, ни семантика их ни в синхронии, ни в диахронии практически не меняются. Сохраняются на современном языковом уровне и образования от этой основы – глаг. *marbaid* 'убивает' (совр. *maraionn*), *marbán* (*marbhán*) 'мертвец', *marbna(d)* 'погребальная песнь, элегия' и др., к которым прибавились, например, *marbhlan* 'морг' и *marbhfhaisc* 'омертвление плоти'.

Этимология данной лексемы не составляет, как кажется, проблемы: она имеет соответствия не только в кельтских (валл. *marw* 'смерть', корн. *marow* 'то же', брет. *maro* 'то же'), но и практически во всех индоевропейских языках, причем, как правило, в значении 'умирать; смерть'. Исключение составляет, пожалуй, лишь группа германских языков, в которых эта основа закрепилась за идеей жестокого умышленного убийства (англ. *murder*, нем *Mord*; ср. также западные славянские языки с образованиями типа "umogiti" в аналогичном значении [Buck 1949: 286–289]. Интересно, что гойдельские языки (в отличие от бриттских) сохранили архаическую энантиосемию основы, в которой идея умирания и убивания кодируются одним корнем. Ср. др.-ирл. *marbaid* 'он убивает' при *marb* 'мерть', употребляется в самом широком значении, как при описании естественной, так и насильственной смерти (причем предпочтительнее – первое). Например: *Marb in rí íagum .i. Eterscele* [TBDD: 4] – "Умер тогда король, т.е. Этерскел".

Др.-ирл. *mar(b)* – восходит, без сомнения, к индоевропейской основе **mer-/**mor- с общим значением умирания, которое, как мы понимаем, является в свою очередь также вторичным. В свое время Вяч.Вс. Ивановым была предложена гипотеза, согласно которой исходным значением этой основы является 'исчезать' (ср. хеттск. *merir* 'исчезли' в значении 'умерли' [Иванов 1987: 5], откуда, видимо, и и.-е. **mer-k-* 'тьма' (ср. русск. *мрак*) как "исчезновение света" (ср. выше др.-ирл. *bás* как "угасание"). Однако, как нам кажется, на обозначение умирания в индоевропейских диалектах оказала несомненное влияние основа **mer-/**mor-5 'изнурение, лишение' и проч. (многочисленные примеры индоевропейских соответствий (см. [Топоров 1990: 50]), которая обозначает "процесс деформации материи, плоти, приближающий ее к такому состоянию распада, когда она перестает быть самой собой, прекращает свое существование" [Там же]. И.-е. **mer-* в данном значении, как мы можем добавить, поддерживается и на ностратическом уровне – *m/alr-* 'болеть, умирать; рана, боль, язва, вред' (ср. марийск. *merce-* 'хиреть, быть в болезненном состоянии', самодийск. *mer'u-* 'рана', монг. *mer* 'то же' и др. [Иллич-Свитыч 1976: 59–60]).

Таким образом, как мы видим, др.-ирл. *marb-*, восходящее к и.-е. **mer-* 4 'умирать', реализует в то же время одновременно идеи исчезновения (**mer-* 3) и затемнения (**mer-* 2), а также реконструируемую на уровне ностратическом общую идею материального распада (**mer-* 5). Т.е., пользуясь нашей классификацией, в и.-е. **mer-* одновременно присутствует концепт 1 (утрата, отсутствие), 2 (затемнение как нарушение перцепции) и 3 (деформация материи). Как пишет В.Н. Топоров – "амбивалентность

mer-* сохраняется в сфере знакового -, этим корнем кодируется само обозначение знака, признака, знакового (меризматического) уровня, но царство смерти (mer-*) как бы отменяет все знаковое (**mer-*), опустошает его” [Топоров 1990: 51].

Подобная семантическая контаминация, как можем мы предположить, присутствует и в др.-ирл. *at-bail* ‘он умирает’ – одним из наиболее распространенных глаголов умирания (глагол. основа *bal-n* с инфигированным местоимением 3 sg. и префиксом с общим значением ‘из, от, вне’ -*ess-*; отгл. сущ. *epeltu* [Льюис Педерсен 1954: 400]). Льюис и Педерсен полагают, что исходным значением ирландской глагольной основы *bal-/bel-* является ‘извергнуть, исторгнуть’ (“это”, т.е. жизнь), и соотносят др.-ирл. *at-baill* с санскр. *gala-ti* ‘источается, исчезает’, др.-верх.-нем. *quelan* ‘течь’ (к и.-е. **g^wel-*), что семантически родственно др.-ирл. *tám* как обозначения растекания, вытекания деформированной материи после смерти и одновременно – причине этой деформации (ср. валл. *aballu* ‘погибать’, *ball* ‘чума, мор’, корн. *bal*, брет. *baluent* ‘чума, бедствие’). Аналогичного мнения придерживается и Ж. Вандриес, полагающий, что исходным значением *at-bail* является ‘он испускает, исторгает’ (жизнь, последний вздох и проч. [Vendryes 1959: A-98]). Уже упоминаемое нами выше традиционное сочетание данного глагола со словом *губы*, возможно, может служить косвенным подтверждением данного предположения.

Но в то же время, как пишет и Вандриес, “значения ‘умирать’ и ‘погибать’ у и.-е. основы **g^wel-*, встречающиеся также в германских (и, как мы могли бы добавить – в британских) языках, др.-англ. *swellan* ‘умирать’, др.-верх.-нем. *quâla* ‘страдание’, что заставляет предположить иную семантику базовой основы. Действительно, многочисленные данные германских языков (ср. также прусск. *gallan* ‘смерть’, литов. *géliti* ‘колоть, жалить’, *Giltinê* – персонификация смерти в балтийской мифологии и др.) заставляют предположить, что исходным значением и.-е. **g^wel-*, рефлексом которого является др.-ирл. *at-bail*, могло быть ‘колоть, мучить, причинять страдание’ [Buck 1949: 287].

Последнее предположение не кажется нам достаточно основательным, так как др.-ирл. *at-bail* передает скорее идею смерти ненасильственной (за рядом исключений), однако, строго говоря, как и в предыдущем случае, мы можем квалифицировать семантический путь **g^wel-* – **bel-* – *at-bail* как контаминацию созвучных основ: “исторжение (жизни)” + “страдание” = “смерть” (по нашей классификации – концепты 3 и 4, т.е. умирание как процесс).

Другая др.-ирл. глагольная основа *bá-* (*at-bath* ‘умер’, претерит, *bath* ‘смерть’, *dibath* ‘то же’), несмотря на сложность соотношения друг с другом как различных производных от нее, так и форм *at-bail* и *bás* (см. в словаре Вандриеса [Vendryes 1959: A-98], скорее всего восходит к и.-е. **g^wa-* ‘идти, уходить’). Так, Ж. Вандриес соотносит *atbath* ‘умер’ с санскр. *ágāt* ‘он ушел’ (может быть употреблено и в аналогичном значении), данное соответствие было поддержано и продолжателями этимологического словаря Вандриеса, Э. Башеллери и П.И. Ламбером, которые, отсылая к соответствующим реконструкциям Педерсена и Стоукса, также возводят др.-ирл. *bá* к и.-е. **g^wa-* ‘идти’ (“идти” – “уходить” – “умирать”) [Vendryes 1981: B-1]. Аналогичного мнения придерживается и Бак [Buck 1949: 287], и К. Уоткинс, возводящий форму др.-ирл. претерита *at-bath* к и.-е. **g^wa-to* ‘ушел’ [Watkins 1962: 74]. Таким образом, повторяем, несмотря на сложность взаимоотношений между собой глагольных и именных форм, которую мы осторожно (и малодушно) постарались обойти, сама реконструкция основы не является предметом дискуссий и опять возвращает нас к одной из уже выделенных нами групп-концептов – к осмыслению умирания как ухода.

Однако, забегая вперед, отметим, что две оставшиеся нам широко употребительные лексемы находятся уже вне предложенной нами классификации и образуют совершенно особую группу, осмысляющую смерть с принципиально иной точки зрения.

Так, необычайно распространенное в древнеирландских текстах существительное *aided* (совр. ирл. *oidhe* ‘насильственная смерть, убийство’) традиционно возводится к глагольной основе *eth-* ‘идти, находиться, брать, захватывать’ с префиксом *ad-* с общим значением приступа, нападения, внезапного действия, направленного к объекту [Льюис, Педерсен 1954: 421]. Ж. Вандриес сопоставляет др.-ирл. *aided* с франц. *attaque* в широком значении [Vendryes 1959: A-27]. Ср. также англ. *heart attack* ‘сердечный приступ’.

Традиционно переводимое как “насильственная смерть” (*mort violente, violent death*), др.-ирл. *aided* входит в качестве “опорного слова” в обозначение одного из традиционных эпических жанров (ср. “*Aided Muirchertaig Meic Ercra*”, “*Aided Conchulaind*”, “*Aided Conchobair*” и др.), однако более детальное обращение к самим текстам ясно показывает, что для носителя средневекового сознания понятие *aided* включало в себя не столько идею смерти насильственной, т.е. убийства (как совр. *oidhe*), сколько представление о смерти в первую очередь – внезапной, неожиданной и неестественной. Действительно, с одной стороны, понятие *aided* оказывается синонимичным понятию “насильственная смерть” (например, в саге “Смерть Кухулина” рассказывается о том, как он был убит сыновьями Калатина, а в “Смерти Муйрхертаха сына Эрк” – о так называемой “тройной гибели” короля, который одновременно был ранен, утонул и сгорел). Однако, ряд текстов, в название которых тоже входит *aided*, могут быть включены и рассказы о смерти в результате несчастного случая, внезапного потрясения и др. (например – смерть короля Конхобара наступила, когда он узнал о гибели Христа, а воин Кельтхайр сын Утахайра погиб, когда ему на голову капнула ядовитая кровь пса). Общей для всех повестей жанра *aided* является идея внезапности смерти и ее, отчасти противоположный и случайный характер. Идея внезапности, как нам кажется, поддерживается и семантической мотивированностью лексемы: *ad-eth-*, т.е. то, что происходит, нападает, случается (ср. лат. *advenio* ‘случаться, выпасть на долю’). Для позднего европейского средневекового сознания подобная внезапная смерть считалась нарушением мирового порядка, “она была абсурдным орудием случая, иногда выступающего под видом Божьего гнева. Вот почему *mors repentina* считалась позорной и бесчестила того, кого она постигла” [Арьес 1992: 42]. Ирландское сознание, более архаическое и потому более ориентированное на идею судьбы, выпадающей на долю человека независимо от него самого, не чуждалось идеи о предназначенности смерти, которая будучи для обычного человека неожиданной, на самом деле была результатом некоего предопределения и в ряде случаев могла быть предсказана. Отсюда, как нам кажется, и исходное значение *aided-* ‘(злая) судьба, участь, рок’ [CDIL, A-1: 104]. В современных гойдельских языках это значение оказывается уже полностью утраченным.

В отдельных случаях понятия противоположной смерти и злой судьбы оказываются в контексте настолько слитыми, что точный перевод фразы в целом может вызвать затруднение: Например: *Is fir trá, a ingen, – ol sé, – is focus bás damsá, uair do bhí tairngiri dam comad chosmail m’aidid 7 aidid Loairnd mo shean-athar, uair ní a comlann itir dorochair acht a loscad chena do-rónad* [AMME: 25] – “Это правда, девушка, – сказал он, – что смерть близка ко мне, ибо было мне предсказано, что будут похожи моя гибель (судьба?) и гибель (судьба?) Лоарна моего деда, ибо не в бою он пал, но был сожжен”. Еще больше слитность темы судьбы с темой противоположной смерти просматривается в следующем примере (текст XII в.): *Innis damh-sa cia haidhedh notbéa fadhéin?* [BS: 104] – “Расскажи мне, какая смерть (судьба) унесет тебя самого” (вопрос обращен к существу, называемому *geilt*, безумцу, обладающему пророческим даром; в английском переводе этого фрагмента *aided* переведено как *fate*).

Употребленное в множественном числе *aideda*, как правило, означает ‘судьбы’ (или – судьба). См.: *Is do amseraib 7 do aidedaib na rígh-sain ro chan in senchaid...* [RR: 350] – “И о временах и судьбах этого короля спел сказитель...” (для данного текста формула *do amseraib 7 do aidedaib* представляет собой своего рода клише, вводящее

поэтический фрагмент). Ср. также отождествление смерти и судьбы в [Маковский 1996: 312].

Aided, таким образом, это то, что наступает внезапно, что отличается от некоей стандартной нормы (видимо – смерть от старости и болезней) и что обычно предсказывается, поскольку практически все предсказания смерти относятся всегда к смерти, в той или иной степени противоестественной. Действительно, предсказывать сам факт смерти абсурдно, так как “показатели смертности у живых равны 100 процентам” [Уотсон 1990: 129].

Но идея судьбы, наступающей человека, неизбежно вызывает идею персонификации данной судьбы и, если *aided* – это результат нападения, атаки на человеческую жизнь, то при этом, естественно, должен как-то мыслиться и субъект данного нападения, “рука судьбы”, наносящая удар, что позволяет нам непосредственно подойти к выделению особой группы – концепту: смерть как судьба и, одновременно, смерть как персонификация судьбы.

Однако, как нам кажется, несмотря на обилие глаголов с общим значением ‘унести, забрать’, являющихся предикатами при *aided*, в ирландском коллективном сознании идея персонификации смерти в большей степени связывается с другой основой, широко представленной и в других индоевропейских языках. Как пишут Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванов, в архаическом языковом сознании «*смерть* рассматривается как предопределенное заранее несчастье, постигающее человека. Сама *смерть* в таком понимании это и есть “судьба или рок”, о чем можно заключить по семантике общиндоевропейского слова для *смерти* – **Henk^h*–/**Hnek^h*– ‘смерть, мор, судьба, принуждение’, ср. валл. *angen* ‘необходимость’, тох. *A nāk* ‘исчезать, погибать’, тох. *V nek* ‘погибать’, авест. *nasyeiti* ‘исчезает, погибает’, *nas-* ‘нужда, несчастье’, *nasu-* ‘труп’, греч. *νέκυξ* ‘труп’, лат. *nex* ‘убийство» [Гамкрелидзе, Иванов, 1984: 822]. Ср. также “нектар” – напиток, побеждающий смерть (как неизбежность) при “амброзия”, побеждающий смерть (как ущерб); ср. также, соответственно, “живая” и “мертвая” вода в русских сказках³.

Рефлексы индоевропейского **Hnek*- представлены во всех кельтских языках (валл. *angau*, корн. *ancow*, брет. *ankou* ‘смерть’ при *Ankou* – вестник смерти в бретонском фольклоре, др.-ирл. *éc* ‘смерть’, совр. ирл. *éag* ‘то же’, при гэльск. *eug* ‘смерть’ и *aog* ‘призрак, скелет’). Надо отметить при этом, что древнеирландское *éc* обозначает в первую очередь смерть естественную, наступившую в результате болезни, и при этом противопоставляется *aided* [CDIL, E: 9]. В текстах хроникального типа употребляется своего рода клише – *éc atbath fri adart (ina mur)* – “смерть на подушке (в своих стенах)” – “естественная смерть”.

Интересно употребление множественного числа при *éc* в значении “смерть одного человека”, которое в “Словаре ирландского языка” квалифицируется как “квази-*vn* от гл. *écaid* ‘умирает’ [CDIL, E: 9], например – *ba sáeth móf la Dectiri a dalta do écaib* – “было большим горем для Дехтире умирание ее воспитанника”. Однако, как нам кажется, сопоставление сочетания *do écaib* (особенно – с глаг. *téit* ‘идет’) с также немотивированным мн. числом при *aideda* в значении ‘судьба’ и персонификацией (вестником) смерти в бретонском *Ankou* (при гэльск. *aog*) заставляет предположить, что мн. число в данном случае означает не ‘к смертям’, а скорее – ‘к мертвым’, то есть является “эхом идеи о путешествии в страну смерти” [Falileyev: 6].

Таким образом, группа “*aided-éc*” образует особый концепт смерти как судьбы (с элементом персонификации). При этом данная пара реализует оппозицию “противоестественная смерть–естественная смерть”, что, однако, актуально только для текстов древнеирландских. Со временем *aided* утрачивает частично свою семантику и *éc* автоматически начинает также “сдвигаться” к обозначению смерти вообще. В британских языках *aided* аналогов не имеет, и следовательно, оппозиция двух типов судьбы

³ Последнее наблюдение принадлежит А.В. Дыбо.

могла сформироваться только в период прагойдельской общности. При этом *éc*, восходящее к и.-е. **Hnek-*, изменило, отчасти свою семантику и из неизбежного рока (мора) превратилось в разумную необходимость. Для средневекового ирландца *éc* мыслилось, в отличие от *aided*, как естественное и благое завершение земной жизни (или ее отдельного этапа). Добавим, что бретонский *Ankou* также появляется обычно не на поле сражения (как *валькирия*), а скорее – у постели больного.

Итак, суммируя все сказанное, мы можем прийти к выводу, что анализ группы-концепта, названного нами предварительно “смерть как смерть” показал, с одной стороны, наличие в индоевропейской ментальной общности, по сути, тех же подтипов осмысления умирания, которые были выделены нами для ирландского коллективного сознания (смерть как утрата и исчезновение, смерть как разрушение, смерть как уход, как “духовный”, так и “телесный”). С другой стороны, архаический концепт смерти как судьбы в древнеирландском реализуется при помощи двух лексем, четко противопоставленных друг другу, лишь одна из которых, *éc*, находит соответствие в других индоевропейских языках. В том же, что касается классических индоевропейских основ, кодирующих идею смерти (**mer-*, **g^hel*, **d^heu-*, **Hnek-*, **g^hes-*), то почти все они (кроме ассоциации идеи смерти с темой *корабля* и *луга*), как мы видим, свои рефлексы в гойдельских языках находят и поэтому, как мы полагаем, ментальную специфику средневекового ирландца может в данном случае прояснить не столько сам “реестр” номинаций смерти, сколько особенности его употребления как системы.

Естественно, дать исчерпывающий анализ случаев употребления всех названных лексем просто невозможно. Кроме недостатка материала и его разброса, отметим еще одну трудность, лежащую в самой специфике составления древнеирландского текста – десемантизацию лексем при введении ее в синонимический ряд. Так, нами было только что продемонстрировано, что *aided* и *éc* обозначают понятия несовместимые, но при этом неоднократно встречался ряд “*bás 7 éc 7 aided* (постигла его)”, что может на первый взгляд показаться абсурдным. Так, данная “формула” была нами встречена в Житии св. Молинга в следующих контекстах: мать пытается убить своего новорожденного ребенка; святому угрожает смертью злой дух; воин падает с коня и погибает. Т.е. во всех случаях речь идет скорее о смерти, кодируемой лексемой *aided*, и *éc* оказывается при этом десемантизированным элементом. Как мы полагаем, обратное, т.е. употребление данной формулы при описании смерти от старости, при которой десемантизированной оказалась бы *aided*, скорее маловероятно, так как *aided*, в отличие от *éc*, лексема более мотивированная семантически.

И все же, попытаемся кратко, если не обрисовать полную схему выявленных нами номинаций умирания с точки зрения их употребления, то хотя бы наметить основные оппозиции, релевантные при этом.

Так, традиционная оппозиция “смерть человека–смерть животного”, как кажется, для периода древнеирландского на вербальном уровне не реализуется. *Stiúg* – ‘подыхать’ является скорее новообразованием, тогда как в средневековых текстах смерть животного описывается так же, как и смерть человека. Например: *Coro marb a oendam dam-sa* [ODR: 19] – “Когда умер мой единственный бык”. Намечающаяся оппозиция “смерть человека–смерть животного” присутствует в тексте XVII в. (Житие св. Молинга), автор которого, говоря о людях, воскрешенных святым, использует конструкцию “*No todhuscedh marba*” [Stokes 1906: 302] – букв. “пробуждал мертвых”, тогда как по отношению к оживленной им корове употреблено выражение “*ro thathbeaigh*” [Stokes 1906: 288] – букв. “ввел в жизнь”. Однако, повторяем, для традиционного средневекового сознания данная оппозиция, видимо, еще просто не существовала; в языке народном, напротив, она оказывается особенно релевантной (данными разговорной речи крестьянского населения раннего периода мы, естественно, не располагаем).

В текстах, если можно так выразиться, клерикальной направленности (в житиях и хрониках) достаточно прозрачно просматривается оппозиция “смерть духовного

лица–смерть мирянина”, однако конкретная вербальная реализация может варьировать от текста к тексту. Так, например, в Житии св. Колума Килле XII в. по отношению к духовным лицам последовательно употребляется слово *etsecht* (букв. “отсутствие”), тогда как смерть других лиц описывается при помощи глагола *atbail*, причем – независимо от характера смерти. В “Хронике королей” смерть духовного лица описывается при помощи лат. *quieuti*, тогда как по отношению к королям употребляются разные лексемы, выбор которых зависит уже от обстоятельств смерти.

Интересно при этом, что при выборе лексемы все составители разных рукописей “Хроники” руководствуются обычно бинарной оппозицией “естественная смерть–насильственная смерть”, при помощи которой иногда бывает сложно описать отдельные “пограничные” случаи. Так, убийство в бою традиционно описывается как *torchair* (“пал”), а естественная смерть от болезни или старости – как *atbath* или *éc atbath* (букв. “умер смертью”), реже – *conerbailt*. Однако в отдельных случаях выбор глагола для описания смерти, так сказать, “промежуточной” мог определяться и самим составителем рукописи, который и квалифицировал, таким образом, характер смерти того или иного короля. Например:

R¹: Crimthand mac Fidaig... *co torchair* la Mongfhind, la derfaiar féin [RR: 346] – “Кримтан мак Фидаг... так что *погиб* от Моффинд, своей собственной сестры”; ср. **Min:** Crimthann Mór mac Fidhaig... *conerbailt* do díg thondaigh o shiair – “Кримтанн Великий мак Фидаг... *умер* от напаятка смертельного от сестры”;

L: Cormac hua Cuind... *conerbailt*... tar lenamain cnama bratain ina bragit [RR: 336] – “Кормак О Конн... *умер* после того, как попала кость лосося ему в горло”; ср. **Min:** Cormac... *co rusmarb* snaim bratain – “Кормак... что был *убит* костью лосося”;

L: Nathí... *conerbailt* iar na beim ó thenid shaignén [RR: 350] – “Нати... *умер* после того, как его ударило огнем молнии”; ср. **M:** ...cotáinic soiged gelán do nim tré guidi an firebín cog *marb* in ríg – “...так что вышла молния сверкающая с неба по велению этого честного человека, так что король был *убит*”.

Ср. интересный пример, показывающий отношение самого клирика к описываемому им событию, проявляющееся лишь в выборе глаголов (в наказание за грехи дурных королей была послана тяжелая эпидемия): *Conad don teidm dígla sin do báthadar dá rí sin... mailli re náemaic imda do marbad don mortlaid sin* [RR: 380] – “Так что от этой болезни-возмездия *умерли* эти два короля... со многими святыми людьми, которые *были убиты* этой эпидемией” (т.е. одна и та же смерть квалифицируется как естественная по отношению к греховным королям и как трагическая гибель – по отношению к клирикам).

Ср. в “Безумии Суибне” употребление *éc* по отношению к родителям героя (которые, видимо, должны были умереть от старости) и – *marbh* – по отношению к его брату и детям (смерть которых, видимо, мыслилась составителем текста как насильственная) – “Умерли твой отец и мать и погибли твои сын и дочь” (см. [BS: 52]).

Интересно, что в “Хронике” в отдельных случаях вводится нейтральное *bás*, видимо, как базовое обозначение смерти вообще, когда причина смерти неясна и составитель текста оказывается вынужденным перейти от бинарной оппозиции к градуальной. Например: *Rugraige... conerbailt do thám... no adbearaid araile do lebraib is siabra do imir bás fair* [RR: 292] – “Рудрайге... *умер* от чумы, но говорится в других книгах, что его *смерть* вызвал призрак”. Или: *Slanoll mac Olloman Fotla... ní bai galar ina flaith 7 ní feas ca galar nodruc acht a fagáil marb na imdaid. Ocus ní ro soith dath 7 ní ro lob a chorp; 7 tucad a talman la mac i cind bliadna 7 ní ro lob. Tricha bliadan dó i ríge nÉrenn, sul fuair in bás sin* [RR: 236] – “Сланолл мак Олломан Фотла... не было болезней в его правление и не известно, какая болезнь его *унесла*, но он был найден *мертвым* на своем ложе. И не менялся цвет его лица и не гнило его тело, и вынул его его сын из земли через год, и он так и не сгнил. Тридцать лет правил он Ирландией до того, как *получил такую смерть*”.

Интересные наблюдения над этим текстом, а также над другими можно было бы продолжить, но для более определенных выводов материал надо или сильно расширить, или, напротив, ограничить одним памятником (или группой однородных текстов). К тому же надо вспомнить и о том, что текст художественный подчиняется уже каким-то иным законам, находящимся вне рамок нашего исследования. Так, поэт Даллан Форгал в поэме “Чудо Колума Килле” (конец VI в.), говоря о мирной кончине 76-летнего святого, использует шесть разных номинаций смерти (*bath, dibath, ba, intech* (“уход”), *bás* и *éc*), но ответить на вопрос, чем он каждый раз руководствовался при выборе лексемы, мы не можем. По крайней мере – пока.

*

Но приблизились ли мы к решению проблемы локализации Иного мира в сознании средневекового ирландца? Как кажется – отчасти, да. Выявленная нами оппозиция – *aided-éc* ясно демонстрирует отсутствие страха перед смертью: смерть неизбежна, но в этом нет ничего плохого, если это не внезапная, насильственная или иная противоземная смерть. В то же время необычайная стойкость лексемы *bás*, в современном ирландском являющейся базовым обозначением смерти, осмысляющей умирание как “угасание”, как нам кажется, может отчасти раскрыть и осмысление феномена смерти в целом: умерший “потух”, но, видимо, не исчез совсем. Он перестал быть видимым, его не хватает живым, но он по-прежнему где-то здесь (ср. также отсутствие концепта “смерть как конец”). Может быть именно этим и объясняется особое отношение к смерти у ирландцев, понимающих, что Иной мир не отделен от мира этого и граница между ними лежит лишь в зоне перцепции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект, под рук Ю.Д. Апресяна. М., 1995.
- Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В., Гловинская М.Я., Крылова Т.В. 1997 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997.
- Арбес Ф. 1992 – Человек перед лицом смерти. М., 1992.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 1–2. Тбилиси, 1984.
- Иванов Вяч.Вс. 1987 – Лингвистические материалы к реконструкции погребальных текстов в балтийской традиции // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.
- Иванов Вяч.Вс. 1990 – Реконструкция структуры символики и семантики индоевропейского погребального обряда // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990.
- Иллич-Свитыч В.М. 1976 – Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (1–g). М., 1976.
- Калыгин В.П. 1995 – Кельтский концепт мир в сравнительно исторической перспективе (обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература. РЖ. Сер. 6. Языковедение. М., 1995.
- Льюис Г., Педерсен Х. 1954 – Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954.
- Маковский М.М. 1996 – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.
- Никитина С.Е. 1989 – Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре // Язык и личность. М., 1989.
- Носенко Е.Э. 1987 – Представления кельтов о загробном мире (дохристианская эпоха) // Религиозные представления в первобытном обществе. Материалы конференции. М., 1987.
- Русяцкене А. 1990 – Функционально-семантический анализ лексики связанной с понятиями жизнь и смерть в языке древнеанглийской поэзии. Автореф. канд. дис. М., 1990.
- Смирнов Ю.А. 1985 – Тафология. Попытка системного подхода // Человек и его природное окружение в древности и средневековье. Материалы совещания. М., 1985.
- Топоров В.Н. 1990 – Заметка о двух индоевропейских глаголах умирания // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990.
- Топоров В.Н. 1993 – V. Имена личные в русских заговорах об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы) // Исследования в области балто-славянской культуры. Заговор. М., 1993.
- Топорова Т.В. 1994 – Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 1994.

- Yotson J* 1990 – Ошибка Ромео // Жизнь после смерти М , 1990
- ACC – Amra Choluimb Chille* // *Revue celtique*, 1899, V XX
- AMME – Aided Muirchertaig Meic Erc* / Ed by L Nic Dhonnchada Dublin 1980 (MMIS V XIX)
- BDS – (Togail) Bruidne Da Choca, The destruction of Da Choca Hostel* / Eb by W Stokes // *Revue celtique*, 1900 V XXI
- B I 1928 – Bealoidias The journal of the folklore of Ireland society* Iml 1 1928
- Bhreachnach M* 1982 – The Sovereignty goddess as goddess of death? // *Zeitschrift fur celtische Philologie* Bd 39 1982
- BS 1913 – Buile Suibhne The frenzy of Suibhne* / Ed by J G O'Keefe London 1913
- Buck C D* 1949 – A dictionary of selected synonym in the principal Indo European languages Chicago 1949
- Carey J* 1982 – The location of the otherworld in Irish tradition // *Éigse* 1982–83 N° 19
- Carey J* 1987 – Echtrae Conlai A crux revisited // *Celtica* 1987 V 19
- Carey J* 1989 – Ireland and the antipodes The heterodoxy of Virgile of Salzburg // *Speculum* 1989 N 64
- Carey J* 1993 – Time memory and the Boyne necropolis // *Proceedings of the Harvard Celtic colloquium* – 10 Harvard 1993 (русск пер Н А Николаевой см Атлантика Записки по исторической поэтике № 3)
- CDIL – Contributions to a dictionary of the Irish language* Dublin
- Dimneen P* 1927 – Irish-English dictionary Dublin, 1927
- Dimville D N* 1976 – Echtrae and Imram some problems of definition // *Ériu* V XXII 1976
- Fahleyer A* – The dying Celt Some philological consideration (рукопись)
- FR – Fingal Rónan and other stories* / Ed by D Green Dublin 1993 (MMIS V XVI)
- Herbert M* 1988 – Iona, Kells and Derry Dublin 1988
- Knott E* 1966 – Irish syllabic poetry Dublin 1966
- LGE – Lebor Gabala Erenn The Book of taking of Ireland Pt V* / Ed by R A S Macalister Dublin 1956
- Lewis H* 1960 – Welsh Dictionary London and Glasgow 1960
- Mac Cana Pr* 1976 – The sinless otherworld of Imram Brain // *Ériu* V XXII, 1976
- Maclean M* 1925 – A pronouncing and etymological dictionary of the Gaelic language Aberdeen 1925 (1979)
- Muller Litovski K* 1945 – Contributions to a study in Irish folklore Tradition about Donn // *Béaloidias* Iml 16 1945
- ODR – Orgain Denna Rig // Fingal Rónán, and other stories* / Ed by D Green Dublin 1993 (MMIS V XVI)
- Pokorny J* 1959 – *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch* Bern Munchen Bd 1–2 1959
- Ross A* 1990 – *Folklore of the Scottish Highlands* London 1990
- RR – Reim Rígráide, Rolls of the Kings* // LGE
- Sims Williams P* 1990 – Some Celtic otherworld terms // *Celtic language Celtic culture A Festschrift for Eric P Hamp* / Ed by A T E Matonis D F Melia California 1990
- Siscealta* 1977 – *Siscealta ó Thír Chonailí Fairy legends from Donegal* / Ed by S O'Cathain Dublin 1977
- Stokes W* (Ed) 1906 – *Genemain Molling ocus a Bhethae The Birth of Molling and his life* // *Revue celtique* T XXVII 1906
- TBDD – Togail Bruidne Da Derga* / Ed by E Knott Dublin 1963
- TBF – Táin Bó Fraich* / Ed W Meid Dublin 1967 (MMIS V XXII)
- Thurneysen R A* 1946 – *Grammar of Old Irish* Dublin, 1946 (перизд 1975)
- Vendryes J* 1959 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien – A* Dublin Paris 1959
- Vendryes J* 1960 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien M N O P* Dublin Paris 1960
- Vendryès J* 1978 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien T U* / Ed by par E Bachellery et P-Y Lambert Dublin Paris, 1978
- Vendryès J* 1981 – *Lexique étymologique de l'irlandais ancien B* / Ed by par E Bachellery et P-Y Lambert Dublin Paris, 1981
- Watkins C* 1962 – *Indo-European origins of the Celtic verb* Dublin 1962

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Histoire. Épistémologie. Langage. Revue publiée par la Société du langage avec l'aide de l'Université Paris 7 et du Centre National de la recherche scientifique. T. XVII, fasc. 2 – Une familière étrangeté: La linguistique russe et soviétique. Paris. 1995. 255 p.

Второй номер XVII тома журнала "История. Эпистемология. Язык" за 1995 год, ответственным редактором и одним из авторов которого является известный специалист в области лингвистической историографии и русистики Патрик Серю, посвящен осмыслению основных направлений и этапов развития лингвистической мысли в России. Вплоть до последнего времени русское языкознание было крайне мало известно в Западной Европе. В предисловии к сборнику П. Серю и Н.Ю. Бокадорова очерчивают круг вопросов, ответы на которые постарались дать авторы-участники публикации: Что представляет собой национальная традиция в лингвистике и по каким критериям можно очертить ее границы? Можно ли считать, что русское языкознание является частью так называемой "западной научной мысли" или же следует признать полную обособленность русской лингвистической науки? Авторы предисловия полагают разумным исходить изначально, но ни в коем случае не предвзято, из возможной соизмеримости часто традиционно противопоставляемых русского и западного языкознания, допуская вместе с тем наличие определенных расхождений. Тематика сформулирована проблемно и весьма широко.

Работы, представленные в сборнике, направлены не только на выявление и осмысление закономерностей развития языкознания в России, но и на поиск места русского языкознания в развитии европейской лингвистической мысли.

В кратком, но весьма содержательном предисловии авторы указывают на истоки, к которым восходит идея обособленности русской науки. Формирование сначала в средние века византийской и латинской традиций как вариантов европейской культуры,

затем создание мифа о Москве как "третьем Риме", наконец, возникшая под влиянием романтического мировоззрения абсолютизация национального духа языка способствовали, как полагают авторы, появлению опасного эпистемологического национального изоляционизма, преодоление которого необходимо на исходе XX века и второго тысячелетия.

Вслед за формулировкой проблематики и указанием на основные направления исследований в предисловии кратко излагается основное содержание публикуемых работ. Всего из 12 работ, опубликованных в рецензируемом сборнике, семь отражают историю русского языкознания дореволюционного периода, пять посвящены языкознанию советского периода.

В статье Л. Дюровича "Возникновение грамматической мысли в Древней Руси и создание нормативной грамматики русского языка", содержащей богатый фактический материал и его глубокий обстоятельный анализ, сообщается, что первая грамматика церковнославянского языка появилась на рубеже XVI и XVII веков в польско-литовском государстве, а грамматика русского языка возникла в виде набросков в Гданьске в 1706–1707 годах и получила окончательную редакцию в Санкт-Петербурге в 1731 г. на немецком языке. Автор подчеркивает западноевропейское происхождение первых грамматик как письменно-литературного стандарта (церковнославянского), так и общенародного русского языка в его устной форме.

Здесь можно отметить некоторое сходство с особенностями появления первых грамматик ряда западноевропейских языков. Как известно, первая грамматика французского языка появилась в Англии [Palsg-

gave 1530], а первые грамматики немецкого языка были написаны на латыни.

А. Дюрович полагает, что на развитие русской науки вообще и грамматики в частности, оказали влияние церковный раскол (западный католицизм/восточное православие) и территориальное дробление Руси после татаро-монгольских завоеваний. Гносеология Ветхого Завета, признававшая лишь божественное откровение как источник знания, позиция Стоглава, запретившего в 1551 году изучение античной философии, тормозили развитие просвещения и научной мысли. Между тем Западная Европа была знакома с трудами Аристотеля; произведения Фомы Аквинского, синтезирующие доктрину откровения и эмпирический рационализм, способствовали развитию наук и искусств.

Автор признает указанное его предшественниками (например, Мечковская, 1984; Захарьян 1991 и др.) более раннее (XV век) существование на Руси переложения с греческого грамматического трактата Доната, сделанное новгородцем Дмитрием Герасимовым. Этот трактат основывался на грамматической концепции Дионисия Фракийского (IV в. до н.э.). Однако присоединение Новгорода к Московскому княжеству не позволило, считает автор, распространить грамматическую концепцию Доната, так как в Новгороде воцарились московские взгляды на познание.

Что касается первых трех грамматик церковнославянского, созданных в Литве, то они основывались на учении Дионисия Фракийского, на грамматике Доната и на сербско-болгарском трактате, ошибочно приписываемом в течение длительного времени Иоанну Дамаскину. Автор обстоятельно анализирует эти первые три грамматики, вслед за чем переходит к характеристике первой грамматики русского языка, опубликованной в 1696 г. в Оксфорде на латыни немецким грамматистом Вильгельмом Лудольфом.

Первой грамматикой русского языка, предназначенной для русских, явилась лишь "Российская грамматика" М.В. Ломоносова в 1755 г.

В статье Д. Руденко и В. Прокопенко "Григорий Сковорода и славянская традиция философии языка" указывается, что славянская традиция философии языка не образует непрерывной последовательности и характеризуется плюрализмом концепций. Авторы обнаруживают сходство между системой значений базовых символов, так называемым "алфавитом мира", идея которого принадлежит Гр. Сковороде, и "lingua

mentalis" А. Вежбицкой. По мнению авторов, Гр. Сковорода проявил себя учеником Платона и предвосхитил ряд философских идей Вл. Соловьева, Тютчева, Достоевского.

Сильвия Аршэмбо (Silvie Archaimbault) и Жан-Мари Фурнье (Jean-Marie Fournier) в статье "Время во всеобщих грамматиках русского языка" указывают прежде всего на то, что бурное развитие грамматических штудий в России начала XIX века были закономерным результатом реформы просвещения, проведенной при Александре I. В грамматиках начала XIX века авторы выделяют два основных направления, по которым исследуются глагольные времена. Первому направлению "всеобщих грамматик" присуща преимущественно эмпирическая направленность и ограниченность русским материалом. Таковы грамматики И.С. Рижского (1806) и И. Орнатовского (1810). Второе направление, наиболее отчетливо проявившееся в "Изложении всеобщей грамматики" Л.Г. Якоба (1812), состоит в попытке выявить универсальную схему языкового устройства, применимую ко всевозможным языкам, в том числе и к русскому.

Оба этих типа грамматик основываются на положениях "Всеобщей грамматики" Пор-Рояля (1660) и содержат эксплицитные указания на преестественные связи с трудом А. Арио и Кл. Лансело.

В грамматиках Рижского и Орнатовского так же, как и в грамматике Пор-Рояля, отсутствует противопоставление онтологического и лингвистического времени. В отличие от них Якоб вводит понятие временного референта, т.е. воспринимающего субъекта, который производит членение времени по отношению к своему восприятию действительности. Таким образом, принципиально важной и новой мыслью Якоба было утверждение о том, что трехчленное деление времени производно от воспринимающего субъекта. Среди трех "времен" настоящее, по Якобу, занимает особое положение, поскольку оно является точечным, соответствующим моменту восприятия, и не обладает протяженностью, которая как для прошедшего, так и для будущего может быть неограниченной. Настоящее как временная длительность, по Якобу, существует только в нашем воображении.

В связи с этими высказываниями Якоба следовало бы вспомнить концепцию времен Г. Гийома [Guillaume 1929], который, как известно, выделяет "узкий, точечный" и "неограниченно широкий" презенсы, причем последний является результатом интерпретирующей деятельности воображения. Исследование С. Аршэмбо и Ж.-М. Фурнье

позволяет заключить, что не Г. Гийому принадлежит приоритет дифференциации двух видов настоящего. Однако и Якоб был не первым лингвистом, указавшим на двойственность настоящего времени. Авторы статьи отмечают, что на работу Якоба несомненно большое влияние оказал знаменитый трактат "Гермес" Дж. Харриса. Приведенная цитата из "Гермеса" (с. 62) убеждает в том, что именно Дж. Харрис рассматривал так называемый "широкий презенс" как результат сложения сколь угодно протяженных отрезков прошедшего и будущего, объединенных вокруг точки настоящего — момента отражения. Следовательно, Г. Гийом лишь повторил идею Дж. Харриса точно так же, как, подчеркивая, что глагол, в отличие от других частей речи, выражает время, он повторил слова Аристотеля [Аристотель 1978, 2:94].

В грамматиках Рижского и Орнатовского большое внимание, отмечают авторы, уделено степени отдаленности действия в прошедшем или будущем от момента настоящего. Здесь можно обратить внимание на явное отсутствие морфологических критериев при классификации, поскольку сочетание глагольной формы с наречием времени *бывало* рассматриваются как отдельная временная форма. Как указывают авторы статьи, Рижский и Орнатовский подчеркивали особенность русского глагола, заключающуюся в выраженности или невыраженности законченности действия, что позволяет симметрично противопоставить прошедшее и будущее с помощью суффиксов и префиксов. Подробный анализ у Орнатовского глагольных суффиксов и префиксов в связи с тем, что мы сейчас назвали бы аспектуальным значением, авторы статьи определяют как морфологический анализ, хотя здесь скорее предпочтительнее термин "словообразовательный" анализ.

Грамматика Якоба, построенная по дуктивному принципу, объясняет различия в глагольных временах действием трех принципов, которые были положены в основу концепции времен грамматистов Пор-Рояля: 1) времена делятся на абсолютные и относительные; 2) времена могут быть простыми и сложными; 3) времена могут быть более/менее отдаленными от момента речи.

С. Аршэмбо и Ж.-М. Фурнье обращают внимание на неоднородность принципов классификации времен, поскольку первый и третий относятся к плану содержания, в то время как второй к плану выражения. Авторы отмечают также недостаточное привлечение конкретных фактов языка в грамматике Якоба и непримлемость таблицы

временных форм, составленной Якобом, к русскому языковому материалу.

После глубокого и убедительного анализа "всеобщих грамматик" в России, представленного авторами статьи, кажется несколько неожиданным высказывание о том, что "вследствие наполеоновской агрессии и преследования чужеземных и безбожных идей" (с. 67) грамматика Якоба была исключена из учебных программ, а преподавание всеобщей грамматики отменено. Во-первых, в приводимой цитате из постановления министров народного просвещения (с. 67) указывается на непригодность всеобщих грамматик для постижения законов разных языков. Трудно не согласиться с тем, что "всеобщие грамматики" мало способствуют раскрытию идиотнической специфики конкретных языков. Во-вторых, не совсем ясно, на каком основании всеобщие грамматики стали бы рассматриваться как рассадник мятежных умонастроений? Оставляя за собой право на сомнения относительно причин устранения всеобщих грамматик из школьного обучения, подчеркнем еще раз строгую продуманность рецензируемой статьи, детальный анализ наиболее существенных черт всеобщих грамматик в России начала XIX века.

Пересмотру традиционных, укоренившихся представлений о Казанской лингвистической школе посвящена статья П. Косса (Pierre Causat).

Основываясь на обширной документации, связанной с жизнью и творчеством И.А. Бодуэна де Куртенэ и на исследованиях его научной деятельности, среди которых выделяется как особенно ценный источник сведений труд О. Амстердамской (O. Amsterdamska. *Schools of thought. The Development of linguistics from Bopp to Saussure.* Dordrecht, 1987), автор статьи доказывает, что Казанскую лингвистическую школу сам ее создатель не рассматривал как таковую. Бодуэн де Куртенэ, употребляя слово "школа" применительно к Казанскому периоду своей деятельности (1875–1883), заключал неизменно это слово в кавычки; большей же частью он пользовался словом "кружок", по видимому, потому, что предпочитал более адекватное, с его точки зрения, название. П. Косса сомневается в правомочности определения Р. Якобсоном Казанской школы как "польской". Поляками по происхождению, отмечает он, были только двое: Бодуэн и Крушевский. Но могли ли они, спрашивает автор, чувствовать себя поляками в 1870 г.?

По словам Бодуэна, лишь трое или четверо из участников кружка извлекли пользу из прославленных "субботников" в доме

Бодуэна. К Крушевскому, научная деятельность и жизнь которого трагически рано оборвались, Бодуэн относится критически, не разделяя его чрезмерной склонности к глобальным обобщениям и пренебрежение к сбору реальных фактов, чрезвычайную важность которых постулировал Бодуэн. Наиболее верными учениками Бодуэна являются, как указывает автор, С.К. Булич и В.А. Богородицкий. П. Косса усматривает некоторое сходство судеб Соссюра и Бодуэна, отмечая вместе с тем, что научное наследие Бодуэна де Куртенэ еще не полностью издано, далеко не исчерпывающе исследовано и что посмертное признание пришло к нему с большим опозданием и в более ограниченном пространстве. В заключении статьи П. Косса указывает, что его работа содержит множество предположений, догадок, которые могут послужить толчком к дальнейшим исследованиям.

Яркая научная индивидуальность А.А. Потебни достаточно представлена в статье Ж. Фонтэн (Jacqueline Fontaine) "Потебня, выдающаяся личность в русском языкознании XIX века". Автор сумела в пределах небольшой статьи раскрыть своеобразие этого выдающегося лингвиста-мыслителя, показать широчайший диапазон его научных интересов, сложный комплекс испытанных им влияний, среди которых наиболее отчетливо проявляется воздействие идей В. фон Гумбольдта. Идеи Потебни раскрываются не только в утверждаемых им положениях, но и в его критической оценке положений современников или предшественников, как, например, К. Бекера и А. Шлейхера. Ж. Фонтэн обращает внимание на различные аспекты мировоззрения А.А. Потебни: отношение к теории сознательного изобретения языка и к теории врожденной языковой способности вследствие божественного промысла; размышления о первичности мысли или слова; рассуждения о связи между языком и духом народа; отношение к сравнительно-историческому изучению языков.

Автор справедливо подчеркивает важное значение, с точки зрения А.А. Потебни, психологического, а не логического подхода к изучению языка и пронизательно связывает понятие "внутренней формы" с теорией аперцепции. Вполне убедительны замечания Ж. Фонтэн о некоторой расплывчатости употребления Потебней термина "образ", которым обозначается то внутренняя форма слова, то образ предмета, то сеть представлений, вызываемых словом. Помимо того, отмечает автор, далеко не всегда внутренняя форма является "образной". Закljučая работу, автор высказывает мысль о

целесообразности детального сопоставительного исследования концепций В. Гумбольдта и А.А. Потебни, не исключая возможные также другие влияния на этого ученого.

Основная цель работы А.В. Бондарко "К истории понятия языкового содержания" состоит в том, чтобы показать, насколько общими были некоторые основополагающие проблемы для различных школ и направлений русского языкознания XIX века. При всем несомненном влиянии В. фон Гумбольдта на русских лингвистов, в частности, на К.С. Аксакова и А.А. Потебню, этими последними вырабатывалась собственная, во многом оригинальная, концепция. Так, например, К.С. Аксаков, подчеркивая важность того, что сама языковая структура является отображением мысли, активно противодействовал логическому направлению в грамматике, представленному в учении Ф.И. Буласава.

Как справедливо указывает автор статьи, одна из больших заслуг К.С. Аксакова заключается в последовательном разделении языкового значения форм, классов и категорий, не связанных с контекстом, и значений, возникающих в результате комбинаций разных языковых средств контекста. Хорошо известно, насколько эта идея оказалась плодотворной для лингвистических исследований и сколь значителен вклад, внесенный в разработку и практическое применение данной концепции в работах Н.Н. Амосовой, А.В. Бондарко, Е. Кошмидера, Е. Куриловича и ряда других ученых [Амосова 1962; Бондарко 1973; Курилович 1962; Koschmieder 1962].

Среди глобальных проблем, интересовавших А.А. Потебню, особо выделяется соотношение, которое сейчас мы определяем как соотношение языкового значения и внеязыкового смысла (см., например, [Бондарко 1978]). В статье указывается, что А.А. Потебня подчеркивал наличие связей между отдельными единицами языка, т.е., в современных терминах, системность. Автор статьи останавливается на полемике А.А. Потебни с Гумбольдтом относительно тождественности языкового содержания и мысли. Вместе с тем он указывает, что Потебня возражал А. Шлейхеру, утверждая, что вне языка не существует понятий. Здесь можно отметить некоторую противоречивость концепции Потебни.

А.В. Бондарко подробно анализирует дифференциацию Потебней "ближайших" и "дальнейших" значений не только в сфере лексики, но и грамматики. Он обращает внимание на развитие современными тео-

решениями, особенно С.Д. Кацнельсоном, научного наследия Потемкина, умалчивая при этом о собственном ценном вкладе в данной области.

В статье Б. Гаспарова "Славянофильское языкознание" характеризуются основные особенности философии языка, тесно связанной с идеологией славянофилов. Автор подчеркивает, что представители этого направления (К.С. Аксаков, В.И. Даль, Н.П. Некрасов, Н.И. Богородицкий, А.А. Дмитриевский) занимали не только вопросы теории языка, но и его практического преподавания в школе. Они настаивали на принципиальных отличиях русского языка от "западных" языков в плане как морфологии, так и синтаксиса. В основу преподавания, полагали они, следует положить не грамматические схемы латинских или немецких грамматик, а результаты наблюдений над живым языком. Автор статьи указывает на множество интересных наблюдений, сделанных представителями данного направления, а также на оригинальность и значительность их научных концепций, открывших новые пути для лингвистики XX века. Идеи и дискуссии русских языковедов 2-ой трети XIX века имели большое значение для русской философии и истории русской культуры, так как отразили основные тенденции развития европейской, в особенности романтической, философии.

Автор статьи указывает, что концепции Аксакова, Некрасова и Богородицкого отвергали представления, которые через несколько десятилетий легли в основу учения Соссюра: положение о произвольности языкового знака и тезис о различии между имманентной структурой языка и контекстуальными, ситуативными, культурно специфическими употреблением.

Б. Гаспаров обращает внимание на особый интерес языковедов-славянофилов к русскому глаголу. Так словообразовательное и морфологическое богатство русского глагола, передающее различные аспектуальные характеристики действия, интерпретировалось ими как проявление динамизма и силы народного духа. Б. Гаспаров считает, что языковеды-славянофилы (А.А. Дмитриевский 1877; 1878; 1880) явились создателями вербоцентрической концепции предложения, значительно опередив Л. Теньера.

Следует отметить, что на роль А.А. Дмитриевского в создании вербоцентрической теории указывал также В.С. Храковский [Храковский 1985: 124–180].

Однако приоритет здесь принадлежит Аполонию Дисколу (II век н.э.), синтаксические идеи которого были обстоя-

тельно исследованы и изложены в 1882 г. А.В. Добняшем, ученым, чье имя, по мнению В.В. Виноградова, "незаслуженно забыто в русских грамматиках" [Виноградов 1948: 3–4].

Статья Ф.Д. Ашнина и В.М. Алпатова посвящена трагической научной и человеческой судьбе также забытого Н.Ф. Яковлева (1892–1974), выдающегося советского лингвиста, который вместе с Н.С. Трубецким и Р.О. Якобсоном был одним из создателей современной фонологии. В 20-е и 30-е годы Н.Ф. Яковлев был организатором "языкового строительства" в Советском Союзе, участвовал в создании алфавита более чем для пятидесяти языков СССР. Н.Ф. Яковлев был верным учеником и последователем Марра. Отступить от идей своего учителя он не смог ни под влиянием научной аргументации, ни по соображениям прагматического характера. Поэтому в 1951 г. Н.Ф. Яковлев был отстранен от работы и в связи с тяжелым психическим заболеванием прекратил какую-либо научную деятельность. Благородный замысел авторов статьи, может, вероятно, послужить импульсом к дальнейшим исследованиям сложного и противоречивого советского периода отечественной науки.

Н.Ю. Бокадорова в статье "Теория литературных языков В.В. Виноградова" заострила внимание на том, что само понятие литературного языка существует лишь в русской и советской лингвистике и в Пражской лингвистической школе. Согласно В.В. Виноградову, теория литературного языка неотделима от истории и теории нормализации языка. Ученый полагал, что становление и развитие литературных языков подчиняется определенным внутренним закономерностям и что литературные языки представляют собой объект исследования, отличающийся от объекта общей теории и истории языка. Автор статьи подчеркивает, что В.В. Виноградов сумел остаться в стороне от идеологических дискуссий по вопросам языкознания. В отличие от концепции В.М. Жирмунского, А.В. Десницкой, М.М. Гухман, считавших, что литературный язык является наддиалектной формой бытия языка, характеризующейся полифункциональностью, стилистической дифференциацией и тенденцией к регламентации, берущей свое начало в устной поэзии, В.В. Виноградов полагал, что литературный нормированный язык предполагает прежде всего наличие письменной традиции. Литературный язык, по В.В. Виноградову, – это историкокультурная реальность, чем объясняется распространенность в эпоху феодализма диглос-

сии, основанной на представлении о разных статусах устного и письменного языков. Принципиально важным для литературного языка является, по В.В. Виноградову, наличие сознательной нормирующей деятельности. Автор статьи подчеркивает, что В.В. Виноградов сформулировал закон о различии в отношениях между диалектами и литературным языком в донациональный/национальный периоды его существования.

Возникает вопрос о причинах русского происхождения теории литературного языка. Не явилась ли эта проблематика реакцией на обилие просторечия, диалектизмов, жаргонизмов в русском языке послереволюционного периода и на опасность идеологии пролеткульта?

В глубокой и хорошо документированной статье Н.Ю. Бокадоровой есть досадные неточности. На с. 164 автор указывает, что история литературного языка во Франции началась с многотомного издания "Истории французского языка" Ф. Брюно, датируя это издание 1966–1972 годами. Между тем, как известно, издание труда Ф. Брюно началось в 1905 году. Монография Алексиса Франсуа "Histoire de la langue française cultivée des origines à nos jours" упомянута с ошибками. Фамилия этого ученого – Франсуа, а имя – Алексис, в то время как в тексте статьи и в библиографии это представлено наоборот (с. 164 и 179). Неправильен год издания: 1959, а не 1928.

Статья Р. Конте (Roger Comtet) "Фонологическая школа Ленинграда и фонологическая школа Москвы" направлена на восполнение существенного пробела в представлениях западноевропейских лингвистов (за исключением славистов) о фонологических концепциях в России. Автор указывает, что эта неосведомленность является, с одной стороны, результатом западного европоцентризма, а с другой стороны – того, что именно специфика русского языка вызвала к жизни обе школы и вместе с тем затормозила распространение их идей. Кроме того, подозрительность Запада по отношению к Советской России и отчужденность от нее обусловили отсутствие информации о Ленинградской и Московской фонологических школах. Автор статьи настаивает на естественности дискуссий по вопросам фонологии русского языка, поскольку нейтрализация гласных в безударной позиции особенно затрудняет теоретическую систематизацию фактов. К этому добавляются еще оглушение звонких в исходе слова и ассимиляция согласных. Эти явления привели к формированию концепций "сильных" и "слабых" позиций. Точ-

ное, лаконичное и вместе с тем насыщенное изложение сущности обеих школ сопровождается попыткой выявить степень их популярности и причины различного отношения к ним с позиций официальной советской идеологии. Р. Конте полагает, что более "позитивистская" концепция фонемы как звуковой субстанции позволяла считать Ленинградскую школу материалистическим направлением в фонологии, в то время как морфологическая трактовка фонемы Московской школой, более близкая к идеям Трубецкого, казалась менее приемлемой. Автор статьи считает, что в настоящее время Московская школа возглавляет функциональную фонологию, между тем как Ленинградская школа особенно славится работами в области экспериментальной фонетики.

В библиографию к работе закралась опечатка: Šaranidze (с. 208) вместо Šaradzenidze (Шарадзенидзе Т.С.).

Статья С. Кузнецова "Космическая лингвистика: рождение космической парадигмы" рассказывает о создании первого искусственного космического языка АО Виктором Гординым в 1920 г. Построенный на сугубо априорных основах, язык был задуман как средство космической коммуникации. Детальный анализ "космического языка", его словаря и грамматики сопровождается в статье размышлениями о причинах возникновения столь странного явления. Автор считает, что толчком могли послужить отчасти идеи межпланетного общения К. Циолковского, отчасти дух раскрепощения, освобождения от всех условностей, анархического буйства, типичного для политики, поэзии и языкознания 20-х годов. Статья содержит чрезвычайно любопытный материал, неизвестный до сих пор не только на Западе, но и большинству отечественных языковедов. Автор показывает, в какой степени попытка создания искусственного языка была связана с социально-политической обстановкой и научно-фантастическими идеями эпохи.

П. Серно (Patrick Sériot) в статье "Смена парадигм в советском языкознании 1920–1930 годов" выдвигает ряд принципиально важных положений. Прежде всего, автор указывает на неприменимость концепции Т.С. Куна относительно смены научных парадигм к лингвистической теории. Согласно Куну, смена концептуальной и методологической паридигмы в науке является результатом значительного открытия, отвергающего предшествующую парадигму. Как отмечает П. Серно, ряд исследователей (D. Hymes, W.K. Percival, W. Bahner) дока-

зали, что развитие языкознания представляет собой поступательный непрерывный процесс, использующий тем или иным образом существовавшие ранее теории; это не дает возможности провести четкую границу между разными парадигмами. Автор указывает далее, что Кун не собирался распространять свою концепцию парадигм на языкознание, так как эта наука, по его мысли, находится еще в до-парадигматическом состоянии и не достигла "научной зрелости".

В концепции Куна П. Серю выделяет один постулат, неприменимый, с его точки зрения, к положению в советском языкознании: идея о том, что деятельность научных коллективов определяется лишь научными интересами. В СССР, подчеркивает автор, научная деятельность зависела от официальной идеологии, от отношений между наукой и политической властью. Важной проблемой эпистемологии является, по мнению П. Серю, периодизация русской лингвистики советского времени, вычленение школ, периодов, связей между ними, господствующей проблематики.

Автор статьи обращает внимание на кардинальный переворот в политике Советского Союза, имевший место на рубеже 20-х и 30-х годов и существенно повлиявший на эволюцию лингвистических идей. Другой период он выделяет между 1950 г., т.е. сталинскими статьями о марксизме в языкознании, и "перестройкой". Для 20-х годов, отмеченных духом обостренного интернационализма, множество языков Советского Союза представляются бедствием, которое, по мнению Марра, будет преодолено в будущем. Однако, указывает справедливо П. Серю, такая концепция отражает лишь одну из сосуществующих культур. Вторая же культура в это время признает замкнутость и самобытность каждой языковой системы, имеющей собственные законы развития. П. Серю заключает, что несовместимые, казалось бы, научные теории и даже мировоззрения могут сосуществовать и влиять друг на друга. Развитие научных парадигм

он вполне обоснованно сравнивает с подъемом вверх по спирали.

Из сказанного выше следует заключить, что второй номер XVII тома журнала "Histoire. Epistémologie. Langage" содержит богатые фактами проблемно-аналитические статьи, которые могут не только значительно расширить представления западных ученых о языкознании в России, но и сообщить много ранее неизвестного отечественным лингвистам. В статьях развивается аргументированная интерпретация собранного материала и открываются новые возможные направления исследования. Рецензируемый номер представляет собой важную веху в научном взаимопонимании Запада и России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Амосова Н.Н.* 1962 – О синтаксическом контексте // Лексикографический сборник. М., 1962. Вып. 5.
- Аристотель.* Сочинения в 4-х томах. М., 1988.
- Бондарко А.В.* 1973 – О некоторых аспектах функционального анализа грамматических явлений // Функциональный анализ грамматических категорий. Л., 1973.
- Бондарко А.В.* 1978 – Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
- Виноградов В.В.* 1948 – Синтаксические взгляды профессора А.В. Добиаша // Уч. зап. МГУ. Вып. 137: Труды кафедры русского языка. Книга вторая. 1948.
- Курилович Е.* 1962 – Очерки по лингвистике. М., 1962.
- Храковский В.С.* 1985 – Концепция членов предложения в русском языкознании XIX века // Грамматические концепции в языкознании XIX века. Л., 1985.
- Guillaume G.* Temps et verbe. Paris, 1929 1-me.
- Koschnieder E.* 1962 – Primäre und Sekundäre Funktionen // Die Welt der Slaven. Wiesbaden, 1962. Fg. 7 Hf 4.
- Palsgrave J.* 1530 – L'esclaircissement de la langue française. Londres, 1530.

М.К. Сабанеева

Double case: Agreement by suffixaufnahme / Ed. by Frans Plank. New York etc.: Oxford University Press, 1995.

Рецензируемая коллективная монография посвящена достаточно экзотическому морфологическому явлению, которое можно проиллюстрировать следующими древнегрусинскими примерами:

- (1) *ḡecev-n-ita c'mid-isa sameb-isa-jta*
помощь-ИНСТР святой-ГЕН троица-
ГЕН-ИНСТР
'(с) помощью Святой Троицы'

(2) *asul-n-o Jerusalem-isa-n-o*

дочь-МНОЖ-ВОК Иерусалим-ГЕН-
МНОЖ-ВОК
'о, дочери иерусалимские!'

Как видно из этих примеров, в древнегрузинском языке существительное, подчиненное другому существительному ['Троица' в (1) и 'Иерусалим' в (2)], не только оформляется показателем родительного падежа, но может, кроме того, "копировать" падежный показатель своего синтаксического хозяина. Такое явление (для которого в монографии используется немецкий термин "Suffixaufnahme") мы будем называть субстантивным падежным согласованием, или СПС (ср. предложенный И.А. Мельчуком термин *casus concordatus*).

Книга включает два обзорно-типологических очерка, написанных Ф. Планком (введение) и Э. Моравчик (заключение). В первом очерке обсуждаются, главным образом, различные виды конструкций с СПС и дается представление о функциональной типологии СПС, то есть о его месте среди других способов оформления атрибутивной конструкции. Во втором очерке пристальное внимание уделено формальным аналогам СПС, то есть другим случаям множественного падежного оформления (*multiple case marking*), к обсуждению которых мы вернемся ниже. Из очерков общетипологического характера отметим еще статью Э.Р. Аристарха, в которой на материале австралийских и центрально-кушитских языков рассматриваются возможные пути возникновения СПС; автор предлагает возводить атрибутивный маркер в конструкциях с СПС к согласующемуся с определяемым именем указательному местоимению, основа которого позднее переосмысливается как показатель родительного падежа.

Монография включает материалы как по языкам с СПС в его "каноническом" виде (Г. Вильгельм и И. Вегнер о хурритском и урартском, В. Бёдер о древнегрузинском и других картвельских языках, Р. Хеэрон о центрально-кушитских языках, Ф. Швайгер, П. Остин, А. Денч и Н. Эванс о ряде австралийских языков), так и по языкам, в которых обнаруживаются явления, в той или иной степени соотносимые с каноническим СПС (Дж.Р. Пейн о "склоняемых послелогах" в индоарийских языках и кашмири, М. Копчевская-Тамм о посессивных и соотносительных формах в чукотском языке, А.Е. Кибрик и О.Ю. Богуславская о противопоставлении двух генитивных пока-

зателей в дагестанских языках, Г.Г. Корбетт о посессивах в верхнелужицком и других славянских языках). К последним примыкает статья Ф. Вильяра, в которой автор пытается интерпретировать возникновение индоевропейских основ мужского рода на *-o* и женского рода на *-i*, как процесс, отчасти аналогичный СПС.

В монографии подробно исследованы типологические корреляты явления. Так, установлено, что СПС наблюдается почти исключительно в агглютинативных языках (ср., однако, древнегрузинский). В подавляющем большинстве языков с СПС падежные показатели представляются суффиксами – что оправдывает немецкий термин "Suffixaufnahme", продолжающий употребляться несмотря на то, что как будто бы засвидетельствованы случаи СПС, оперирующего и префиксами (австралийский язык нунгали), и даже тоновыми характеристиками взаимодействующих субстантивных основ (восточно-африканский язык масаи). Падежные суффиксы могут следовать друг за другом непосредственно (древнегрузинское СПС) или разделяться специальными морфемами с (синхронно) нулевым содержанием – лигативами (хуррито-урартское СПС). Атрибутивный падежный суффикс всегда расположен ближе к основе, чем "согласовательный" падежный суффикс, выражающий падеж главного имени (что коррелирует с известным *mitog-principle*, предложенным Б. Блейком). В ряде языков использование СПС может быть запрещено, если в результате возникает последовательность тождественных падежных показателей (альтернативно можно рассматривать такие случаи как морфологическую гапологию).

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, является ли СПС процессом по преимуществу формальным (механический перенос того или иного показателя с главного имени на атрибут) или грамматическим (при зависимой лексеме вторично выражается значение той или иной грамматической категории, уже выраженное при главном имени). Эта важная проблема рассматривается в монографии, может быть, слишком бегло. И Планк, и Моравчик настаивают на том, что СПС копирует именно категориальное значение. Следует отметить, однако, что в целом справедливый тезис о категориальности СПС в какой-то степени теряет типологическую значимость, если принять во внимание тот факт, что СПС свойственно, по преимуществу, агглютинативным языкам, в кото-

рых преобладает одно-однозначное соответствие между категориальным значением и соответствующим ему показателем; иначе говоря, для большинства языков с СПС это утверждение оказывается неверифицируемым. Но, раз отказавшись от противопоставления различных форм СПС по признаку формальности vs. категориальности в пользу второго, авторы уже не возвращаются к обсуждению "формальной" альтернативы. С нашей точки зрения, в этом отношении оказывается релевантной тщательно исследованная в монографии проблема допустимости рекурсивного СПС. Языки с СПС по-разному подходят к задаче оформления имен в конструкциях с "вложенными" атрибутами:

N1-atr → N2-atr → N3
 'дверь дома отца'

Подавляющее большинство оформляет самую нижнюю составляющую ([отец]) лишь двумя (генитивными) показателями – показателем, выражающий атрибутивную связь N2 и N3, и показателем, копирующим категорию N2. Некоторые языки применяют СПС лишь однажды (т.е. либо по стрелке N1→N2, либо по стрелке N2→N3). Существует небольшое число языков, которые практикуют СПС вполне последовательно, так что N3 оформляется тремя показателями:

[N1case[N2gen + case [N3gen + gen + case]]]

К таким языкам относятся, например, некоторые австралийские языки с СПС и древнегрузинский. Возвращаясь к обсуждаемому тезису о формальном vs. категориальном характере СПС, можно отметить, что для языков, копирующих лишь ту категорию определяемого имени (N2), которая связана с его пассивной синтаксической валентностью – в данном случае, показатель генитива – очевиден категориальный характер СПС. Если же копируется все оформление определяемого имени, в том числе и показатели тех категорий, которые копируются с его хозяина (N1), с нашей точки зрения, можно говорить о приближении к формальному СПС. Различие между двумя типами СПС можно сформулировать в следующих двух правилах, подчеркивающих, соответственно, их чисто категориальный или частично категориальный, а частично формальный характер.

а) категориальное СПС – атрибутивное имя, кроме показателя атрибутивной связи, оформляется падежным показателем, выра-

жающим пассивную синтаксическую валентность его непосредственного хозяина;

б) формальное СПС – атрибутивное имя, кроме показателя атрибутивной связи, оформляется всеми падежными показателями, оформляющими его непосредственного хозяина.

Важным типологическим параметром СПС является семантика атрибутивной связи между компонентами именной конструкции. В определении СПС, данном во вводном очерке Планка, фигурирует выражение "падежный показатель генитива". Сам автор подчеркивает, что в конструкциях с СПС может быть задействован любой показатель, которым оформляется имя в примененной (атрибутивной) позиции. Вынос в определение именно показателя родительного падежа оправдывается следующей универсалией: если СПС наблюдается в конструкциях с негенитивным (небазовым) показателем атрибутивной связи, то оно будет наблюдаться и в конструкциях с генитивом. Среди возможных участников конструкций с СПС Планк называет, в частности, партитивные и каритивные показатели. Для австралийских языков автор цитирует также примеры с СПС, в которых зависимое имя оформляется локативными падежами (типа 'сверчок (который) на печи').

Поскольку особое место в использовании локативных падежей в качестве примененных занимают рестриктивные конструкции, можно предположить, что СПС может тем или иным образом коррелировать с рестриктивностью. Действительно, в монографии рассматривается связь СПС с категорией рестриктивности (О.Ю. Богуславская о дагестанских языках); к сожалению, в обзорных статьях Планка и Моравчик этот вопрос специально не поднимается, так что вывод о наличии или отсутствии такой связи должен стать целью дальнейшего исследования.

Во вводном очерке Планк (в плане "почему-типологии") трактует СПС как средство более точной идентификации синтаксического хозяина. Такая трактовка подтверждается материалом языков, в которых СПС не является единственным способом оформления атрибутивной конструкции. В таких языках СПС появляется при нарушении стандартной формы атрибутивного оборота – изменяется порядок следования атрибута и определяемого или атрибут и определяемое имя дистантны. В древнегрузинском, например, при нормальном порядке атрибут-определяемое, где атрибут оформляется только показателем родительного падежа, порядок опреде-

ляемое-атрибут обязательно оформляется СПС. Кроме того, согласно формализму, предложенному В. Бёдером, в древнегрузинских конструкциях с СПС изменяется не только порядок следования, но и степень связности компонентов оборота. Введенное им по независимым от СПС соображениям синтаксическое единство под названием "малая именная группа" (Small Noun Phrase), включающее именной атрибут и определяемое имя (но не прилагательные, определяющие то же главное имя) разрушается, и атрибутивное имя оказывается членом именной группы наравне с прилагательными.

Можно было бы также ожидать, что выбор между конструкциями с СПС и без него в некоторых языках окажется обусловленным семантикой атрибутивного оборота (например, "отчуждаемое vs. неотчуждаемое обладание"; впрочем, примеры на корреляцию СПС с отчуждаемостью достаточно редки, что позволяет Планку сделать заключение о ее несущественности).

Конструктивное своеобразие СПС заключается, очевидно, в наличии в одной и той же словоформе двух граммем одной и той же (по крайней мере, на первый взгляд) грамматической категории. На самом деле, по-видимому, относительно зависимого имени категории различны, и о тождественности этих категорий можно говорить лишь в том смысле, что атрибут согласуется с синтаксическим хозяином по той же категории, по которой он сам маркируется как слуга; именно так понятая тождественность падежных категорий оказывается существенным, на наш взгляд, признаком СПС.

Очевидно, что при рассмотрении конкретно-языкового материала может возникнуть вопрос, имеем ли мы дело с субстантивной основой, оформленной двумя словоизменительными показателями, или же с адъективной основой, содержащей словообразовательный аффикс и оформленной одним словоизменительным аффиксом (такая ситуация не удовлетворяет определению СПС). И действительно, в различных частях монографии авторы то и дело сталкиваются с промежуточными случаями. Как явствует из истории изучения СПС, представленной во вступительном обзоре Планка, такой анализ неоднократно применялся и к фактам классического СПС – так, как они представлены, например, в древнегрузинском. В связи с отсутствием формальных признаков (например, отдельных адъективной и субстантивной серий грамматических показателей), в качестве критериев, отличающих (в атрибутивной позиции) существи-

тельные от прилагательных, в монографии используются следующие признаки:

а) наличие семантической (не согласовательной) категории детерминации (в первую очередь, различие конкретно-референтных и нереферентных атрибутов);

б) наличие семантической категории числа;

в) способность к модификации согласуемыми или несогласуемыми атрибутами;

г) способность к участию в анафорических связях.

Планк подчеркивает, что в языках, являющихся источником традиции изучения СПС, атрибуты несомненно удовлетворяют всем перечисленным критериям, то есть являются полноправными существительными. Проблема возникает при рассмотрении явлений, близких, но не тождественных СПС. Пример такого рода явлений рассматривается в статье Г. Корбетта, описывающего поведение possessивных форм на *-ov/-in* в славянских языках. В частности, верхнелужицкий possessiv, согласуясь с обладаемым, не только сохраняет конкретно-референтный статус, но может сам модифицироваться притяжательным местоимением (ср. примеры типа *go naš-eho nan-owe chěž-i* 'в доме нашего отца').

Несмотря на то, что перечисленные признаки "субстантивности" словоформы сильно влияют на решение вопроса о словообразовательном или словоизменительном статусе показателя атрибутивности, они не всегда оказываются единственным критерием. Так, хотя в чукотском (М. Копчевская-Тамм о possessивных и соотносительных формах в чукотском языке) согласующиеся с синтаксическим хозяином possessivy различают единственное и множественное число обладателя и могут быть конкретно-референтны, имена инкорпорируются вместе с показателями possessивности, что свойственно лишь словообразовательным показателям (словоизменительные показатели не могут быть частью инкорпоративного комплекса).

Вообще говоря, интерпретация СПС как согласовательного процесса, по существу идентичного согласованию у прилагательных (эта интерпретация поддерживается имплицативной универсалией о наличии механизма СПС только в тех языках, где также есть и согласование прилагательных), приводит многих авторов монографии к выводу, что в процессе СПС существительное "дрейфует" в сторону прилагательного. Уже упомянутая статья О.Ю. Богуславской целиком посвящена перечислению тех призна-

ков, которые сближают существительные в атрибутивной позиции с прилагательными **сверх** того факта, что и те, и другие участвуют в прототипически адъективном процессе согласования (СПС для имен). Полностью осознавая весомость приведенных в монографии универсалий и фреквен-таллий, отметим, что, на наш взгляд, такая трактовка несколько отклоняется от предлагаемой Планком интерпретации СПС как собственно субстантивного феномена, и, как нам кажется, в неявной форме содержит установку о прототипически адъективном характере атрибута. Следует отметить, что сфера посессивных конструкций отграничена от сферы конструкций с прилагательными как функционально, так и формально, и СПС как таковое, особенно принимая во внимание перечисленные выше критерии "субстантивности", было бы некорректно считать уподоблением существительных прилагательным. С нашей точки зрения, более точно говорить об обобщении формальных свойств атрибутивной конструкции, при которой определенные характеристики конструкций с прилагательным переходят и на конструкции с именным атрибутом. Впрочем, в языках, где конструкции с СПС являются единственно возможным способом оформления атрибутивной связи, можно, по-видимому, говорить об адъективной репрезентации субстантивных лексем.

Следует отметить еще одну существенную характеристику СПС – граммема атрибутивности должна быть падежной (не должна образовывать независимую грамматическую категорию); в противном случае мы имеем последовательность двух грамматических показателей, которые не имеют между собой вообще ничего общего, как число и род, и о СПС говорить не приходится.

Но как, собственно говоря, можно установить "падежность" конкретного показателя? Рассмотрим несколько конкретных примеров.

Показатели посессива и релятива в чукотском не копируются на зависимые от них атрибуты (если таковые имеются), и даже если признать их словоизменительными, их сходство с падежными маркерами будет лишь частичным. В этой ситуации трактовка конструкций с посессивами как примеров СПС оказывается затруднительной. Еще сложнее обстоит дело в дагестанских языках – ср. примеры из бежтинского языка (А.Е. Кибрик, О.Ю. Богуславская):

- (3) *abo-s is*
отец-РОД;ПРЯМ брат(ИМЕН)
'брат отца'
(4) *abo-la is-t'i-l*
отец-РОД;КОСВ брат-КОСВ-ДАТ
'к брату отца'

Здесь форма показателя родительного падежа зависит от того, в каком падеже стоит главное имя – прямом или косвенном. (Точнее, прямые падежи используют прямую основу, а косвенные – косвенную, что, в свою очередь, определяет форму показателя родительного падежа). Традиционно такие показатели рассматривались как два разных родительных падежа. Авторы монографии, опираясь на аналогию с СПС, предложили трактовать эти показатели как кумулятивно выражающие категорию атрибутивности и прямой vs. косвенный падеж синтаксического хозяина (эта трактовка и отражена в приведенных нами морфемных глоссах).

Книгу завершает обзорная статья Э. Моравчик. Напомним, что Моравчик делает особый акцент на определении места СПС в ряду морфологических явлений, связанных с возникновением последовательности из нескольких падежных показателей (*multiple case marking*). Иначе говоря, автор сближает СПС с конструкциями, в которых:

а) показатель внешней синтаксической связи группы определяемое-а т р и б у т навешивается лишь на атрибут; т.е. слуга оказывается оформлен двумя падежными показателями, в то время как хозяин остается вообще без оформления (как, например, в шумерском языке или австралийском языке аранда);

б) несколько падежных показателей присоединяются к одиночному имени; для таких имен постулируется эллиптированное определяемое (ср. баскское *aita-ren-ari* отец-РОД-ДАТ, букв. 'отцову', ср. англ. *to that of the father*). Это явление в дальнейшем, вслед за авторами монографии, мы будем называть г и п о с т а з и с о м.

Эти обобщения столь же интересны, сколь спорны. Во-первых, в отношении примеров из (а) нет оснований предполагать, что разные показатели относятся к одной и той же синтаксической единице, не говоря уже об одной словоформе – предпочтительнее трактовать атрибутивный показатель как относящийся к атрибуту, а показатель внешней синтаксической связи группы – как относящийся в целом к группе определяемое – атрибут. Отметим, что примеры приводятся из языков, в которых,

по формулировке Планка, грамматические показатели присоединяются к самой правой составляющей той синтаксической группы, которую они характеризуют (phrase marking), причем в этих языках атрибут всегда замыкает именную группу.

Не меньше сомнения вызывает и положение об "эллипсисе главного имени" в случаях гипостазиса, поддерживаемое большинством авторов сборника. Интересно, что в качестве основного довода в пользу такого описания Моравчик приводит тот факт, что СПС встречается в тех и только в тех языках, где встречается гипостазис. Казалось бы, если гипостазис возникает как результат эллипсиса главного имени, имплицативная стрелка должна быть направлена в обратную сторону – именно гипостазис должен встречаться в тех и только в тех языках, где отмечено СПС. Противоречит такой трактовке и то, что использование более чем двух падежных показателей при гипостазисе представляется более или менее характерным, в то время как рекурсивное СПС, судя по материалам монографии, явление достаточно редкое. Кроме того, эллипсис – явление поверхностно-синтаксическое, и должно постулироваться лишь там, где можно восстановить эллиптированную лексему с конкретной семантикой (в разных случаях разной), в то время как для гипостазиса в конструкциях типа 'дом'+МЕСТ+ДАТ со значением 'домочадцам' приходится восстанавливать эллиптированное 'те' или, в лучшем случае, 'люди'. Специального рассмотрения требует также вопрос, является ли набор падежей, допускающих для независимого имени присоединение последующих падежных показателей, типологически тождественным набо-

ру падежей, могущих оформлять примененной атрибут.

Следует отметить, что Э. Моравчик подчеркивает формальный характер этих сближений [(а) и (б)] и отделяет их от сближений, производимых Планком по функциональным критериям. К сожалению, если расширить сферу СПС с тем, чтобы включить в него все случаи множественного падежного оформления, то мы, кроме всего прочего, вынуждены будем отказаться и от объяснительной силы построений Планка, связанных с интерпретацией СПС как морфологического средства упрочения синтаксической связи и однозначного определения синтаксического хозяина. Интересно, что в исчислениях Моравчик и Планка не рассматривается еще одна (гипотетическая) возможность множественного падежного маркирования в атрибутивной группе, которая, с нашей точки зрения, демонстрировала бы большее сходство с прототипическим СПС, чем, например, групповая флексия: определяемое оформляется одновременно показателем "изафета" и показателем внешней синтаксической связи (в качестве неполной аналогии ср. староаккадский, где имя в "статус конструктус" имело падежную парадигму). Впрочем, близость к СПС была бы и в этом случае относительной, так как изафетные показатели традиционно не считаются падежами.

В заключение нам хотелось бы отметить уникальность монографии, впервые собравшей столь обширный материал по Suffixaufnahme и наметившей место этого явления в системе грамматической типологии.

М.А. Даниэль

L.A. Janda. A Geography of case semantics: The Czech dative and the Russian instrumental. B. – N.Y.: Mouton de Gruyter, 1993. 225 p.

Название рецензируемой книги несет в себе глубокую метафору. Славянский падеж знал эпоху больших открытий, блестящих лецманов и был настолько подробно исследован и тщательно картографирован, что для обозрения всего объема данных во внушительном количестве описаний, действительно, понадобился бы хороший путешественник. Однако, оказавшись благодатной почвой для возникновения многих нетривиальных идей, повлиявших также и на развитие общей теории языка, тема категории падежа постепенно исчерпала себя, и

ей была бы уготована судьба немодной ныне описательной географии, если бы не появление работ А. Вежбицкой [Wierzbicka 1980; 1986], доказавших, что даже хорошо известный лингвистический материал может привлечь к себе интерес новым способом его представления.

Автор настоящего исследования, американский славист Лаура Янда, предлагает еще один способ интерпретации падежных значений, основанный на идеях когнитивной семантики. Оговоримся, что это уже вторая попытка автора применить когнитивный

подход к традиционному материалу – в своей предыдущей работе Л. Янда обращалась к семантике русских глагольных приставок [Janda 1986]. На этот раз объект ее исследования – значения дательного и творительного падежей в чешском и русском языках.

Книга состоит из двух частей: теории и анализа языкового материала. Первую, теоретическую часть составляют: 1) короткое введение, в котором автор отмечает основные вехи развития теории падежа в свете общего развития науки в XX веке; 2) изложение основных положений когнитивной семантики и ее возможностей в области описания падежа; и 3) критический обзор литературы, посвященной падежной семантике. Вторая, эмпирическая часть, содержит два больших раздела: описание когнитивной категории дательного падежа в чешском языке и описание когнитивной категории творительного падежа в русском языке, – каждый из которых дополнен небольшим по объему сравнительным очерком значения русского датива и чешского творительного, соответственно.

В основе когнитивного подхода к теории падежного значения лежит представление его как организованной структуры. Опираясь на результаты исследований в области психологии, нейробиологии и искусственного интеллекта, когнитивная семантика уделяет основное внимание выявлению взаимосвязей между семантическими вариантами, т.е. тому, каким образом подзначения организованы в когнитивные категории, если говорить в терминах данной концепции. Представленная в первой части книги теория устройства грамматической категории отражает те идеи когнитивной семантики, которые были развиты в трудах Дж. Лакоффа [Lakoff 1986], Р. Лангакера [Langacker 1986] и их последователей, хотя нельзя не заметить, что она несет также определенный отпечаток традиций пражской лингвистической школы. В центре когнитивной категории находится пототипический член, остальные члены тем или иным образом связаны с прототипом, и этим определяется их место в категории. С этой точки зрения присутствие в названии книги слова "география" приобретает новый и, пожалуй, основной смысл: исследование категории представляется путешествием по сети подзначений. Как подчеркивает автор, теоретическая разработка структуры категории дает возможность не только правильно идентифицировать прототипический случай – отправную точку исследования, но и понять, "куда и как далеко мы можем отсюда направиться" (с. xii).

Как известно, особую трудность в описании семантики падежа представляет сама формулировка значения. Каким образом определить "косвенный объект"? Л. Янда сознательно уходит от этой проблемы, сопровождая абстрактную формулу простой иллюстрацией на конкретно-языковом материале. Не давая абсолютных дефиниций "косвенного объекта", автор, однако, получает возможность объяснить разницу между ним и, скажем, "свободным дативом", сопоставив два корпуса примеров на тот и другой вариант значения, и сформулировать таким образом относительное толкование падежных подзначений.

В принципе, релятивистский подход к описанию значения допускает большую или меньшую степень различия вариантов. Автор не скрывает, что разработанные ею на материале русского и чешского языков инвентари падежных подзначений в основном соответствуют наборам, полученным ее предшественниками, в частности, Р. Мразеком и А. Вежбицкой. Существенно, что, учитывая критику в адрес сетевого строения когнитивной категории, Л. Янда признает возможность градуальных различий употребления единиц – для объяснения тех или иных аспектов употребления когнитивная сеть может быть свернута или развернута. Используя прием наложения сетевой структуры на множество языковых конструкций, она отображает в виде вариантов самые яркие, рельефные особенности употребления; прочие примеры интерпретируются как промежуточные, переходные. Обилие таких примеров в книге, их подробное истолкование, безусловно, следует признать большой удачей автора.

Имеющийся в распоряжении исследователя языковой материал дает также повод для пересмотра таких базисных положений структурной лингвистики, как деление значений на семантические и прагматические, на лексические и грамматические, подчеркивая существование континуума между данными классами. Тем не менее, указанные противопоставления получают новый смысл в данной теории – они обозначают как бы крайние точки, или полюса этого континуума.

В третьем разделе дается обширный обзор подходов к описанию категории падежа, предложенных другими исследователями: Р. Мразеком, А.А. Потемной, Р.О. Якобсоном, К. ван Схуневельдом, А. Вежбицкой, Е. Куриловичем, А.В. Исаченко, Ч. Филлмором, Дж. Андерсоном, Г. Фрейдхофом и другими. Несомненной заслугой автора нужно признать внимательное отношение

ко всему опыту описания падежных значений, накопленному наукой. Не только в рамках этого раздела, но и на протяжении всей книги Л. Янда делает эксплицитный перевод авторских формулировок на язык когнитивной грамматики, при этом совершая как бы наложение выделенных другими исследователями падежных вариантов на собственную схему устройства этой категории. Так, подчеркивая общий для своей концепции и для подхода А. Вежбицкой [Wierzbicka 1980] принцип взаимосвязанности падежных значений, Л. Янда обнаруживает отсутствие у последней эксплицитного представления этих связей и строит схему отношений между падежными значениями, которую можно рассматривать как реконструкцию "когнитивной категории по Вежбицкой", на основе пересечений компонентов в толкованиях частных значений. При этом автор оставляет "за кадром" такие нерелевантные для своего подхода вопросы, как элементарность/неэлементарность устройства членов когнитивной категории и существование семантических примитивов.

В конце обзорного раздела Л. Янда указывает преимущества когнитивного подхода: то, что он эмпирически адекватен; позволяет одновременно показать как различие падежных употреблений, так и их объединение в единое целое; включает достижения предшественников. Примером идеального описания падежа автор считает описание, отвечающее принципам, выдвинутым В. Скаличкой [Skalička 1950]: оно должно показывать связь между падежом и действительностью; описание падежного значения должно быть одновременно полным и пригодным для практического применения; и, наконец, оно должно раскрывать отношение между падежом и другими формами. К сожалению, в дальнейшем Л. Янда недостаточно эксплицирует, насколько полученный результат соответствует идеалу, а вопрос о практическом применении, по-видимому, вообще остается за рамками данного, сугубо теоретического исследования.

Начало второй части книги посвящено представлению средств описания падежных значений. Надо отметить, что в рассматриваемой теории не существует единого приема представления данных (подробное изложение общих идей и частных концепций когнитивной теории на русском языке см. в [Ченки 1996]). В свое время когнитивисты сделали ставку на графические схемы, которые позволяют читателю легче улавливать основные моменты, не путаясь в

дбрях словесного описания. Однако опора на визуальное представление послужила поводом для справедливого обвинения когнитивной семантики в том, что некоторые когнитивные схемы вообще не поддаются языковой интерпретации, а объявленная связь между схемами неочевидна.

Преодолевая данное возражение, Л. Янда предлагает в качестве средств описания сразу две структуры, дублирующие и дополняющие друг друга: графическую схему и словесное описание. Каждый член категории представляется в виде конфигурации простейших единиц, кодирующих основные элементы ситуации, а именно: участников ситуации ("номинатив", "аккузатив" и др.); типа отношений – "воздействовать на (act on)", "сохранять независимый статус", "вместе", "рядом" – и, кроме того, "оправы, фона (setting)", "сферы контроля" и проч. В графике этим элементам соответствуют кружки, соединенные стрелками и линиями и помещенные в разного рода рамки. Необходимые пояснения, преследующие цель однозначной интерпретации схемы, даются в комментарии к схеме. Особо хочется отметить, что стремясь к строгости и изоморфности графического и смыслового представления, автор приводит полный алфавит языков описания значений дательного и творительного падежей с однозначным переводом визуальных средств в словесные, а также составляет элементарную грамматику этого языка, т.е. толкование возможных расположений единиц в схеме.

Именно конфигурация составных частей определяет падежное подзначение. Сходства и различия в конфигурации подзначений позволяют говорить о связи одного варианта с другим. В теоретической части автором разработана классификация типов связей между членами схемы. Здесь различаются парадигматические вариации (изменение роли падежно маркированного элемента), синтагматические вариации (изменение количества и композиции остальных участников ситуации), а также метафорические расширения (extentions). Под ними понимаются, с одной стороны, отношения синонимии, антонимии и метонимии (трактуемые весьма широко: в частности, метонимия включает в себя инкорпорацию объекта в лексическое значение глагола (например, *сигнализировать*, *вредить*), синонимами же признаются глаголы *дать* и *купить*); с другой стороны, метафорические переносы отношений в область субъективного восприятия (например, *dativus ethicus*) или в сферу речевого акта (*дать* – *сказать*). Нельзя

не заметить принципиальную разнородность классифицированных типов. Метафорические расширения представляют собой как бы остаточный случай. Поскольку отраженная в книге концепция не допускает существования изолированных членов категории, в принципе, любой периферийный член, не удовлетворяющий четким критериям синтагматической или парадигматической вариации, должен быть признан связанным с одним из членов категории метафорическим отношением, имеющим сколь угодно широкую и нестрогую трактовку. Впрочем, как показывает автор на конкретных примерах, метафорическое расширение может и накладываться на область парадигматики или синтагматики.

Не имея возможности подробного изложения трактовки Л. Яндой конкретного языкового материала, кратко остановимся на общей процедуре установления падежных вариантов и их взаимосвязей.

Дательный и творительный отличает от прочих падежей большая семантическая сложность и богатство употребления. Автор в первую очередь выделяет среди всех вариантов прототипический. Для дательного падежа — это значение косвенного объекта, который определяется по отношению к другим участникам ситуации (субъекту и объекту), описываемой глаголом "дать" (*give*). Для других случаев "операциональное определение, которое позволяло бы недвусмысленную идентификацию всех косвенных объектов в противопоставлении другим дативным конструкциям, просто не может быть сформулировано" (с. 48). Для творительного падежа прототипическим объявляется употребление "творительный инструмента", как, например, в предложении *Иван резал хлеб ножом*. Разумеется, эти варианты и другими исследователями признаются центральными, первыми; несомненна аналогия между прототипическим значением падежа и инвариантом Р. Якобсона. В рассматриваемой книге делается попытка обоснования прототипичности, и эта задача решается автором в полном соответствии с постулатами когнитивной теории. Так, например, прототип дательного падежа имеет следующие преимущества: (1) косвенный падеж — это роль реципиента, которая полагается более "основной", чем роль бенефактива и др.; (2) ситуация по глаголу "give" — одна из основных в человеческом опыте; (3) прототипической признается конкретная ситуация в противоположность абстрактной; (4) в прототипической ситуации прототип не должен замещаться пред-

ложно-падежной формой или опускаться. Последний признак, ориентированный, в отличие от предыдущих, более на языковую структуру, по замечанию самого автора, не является универсальным, т.к. опровергается, в частности, примером творительного падежа.

Далее Л. Янда прослеживает переходы от прототипа к частным значениям. Непрототипические варианты зависимы от лексического значения, под которым автор подразумевает обычно довольно грубую признаковую идентификацию, например, отношение существительного к классу типа "Инструмент", "Агент" или "Часть тела". Наряду с этим в отдельную группу, имеющую статус частного значения, выделяются так называемые синтаксические употребления, т.е. случаи, когда существительное управляется глаголом, существительным, прилагательным или же предлогом. Полемизируя с исследователями, которые не включают такие употребления в сферу семантики падежа, Л. Янда трактует, по сути дела, лексикографическую информацию типа "быть логическим объектом глагола" тоже как особый вид лексического значения существительного. Но, поскольку в работе никак не сформулирован принцип определения, насколько характерно для той или лексемы быть логическим объектом или другой управляемой единицей (вместо этого каждая группа снабжается исчерпывающими списками управляющих слов), данная идея автора не кажется логически завершенной.

Несомненный интерес вызывает включение в общую схему "застывших форм" — адвербиализованных значений и употреблений в устойчивых идеоматических конструкциях. Доказывая целесообразность трактовки форм типа *ночью* и *днем* как существительных, автор приходит к выводу, что "возможно, самый сильный аргумент в пользу признания этих форм творительным падежом, а не наречиями — парадигматический. Эти слова... очевидным образом связаны с парадигмой творительного места и времени, и их искусственное удаление из парадигмы могло бы привести к отрицанию связи с другими членами парадигмы и оставить в ней существительный пробел" (с. 169). Конечно же, адвербиализованные формы, которые могут считаться падежными исключительно с исторической точки зрения (*дважды*), уже не охватываются схемой, однако автор и для таких случаев готов указать, из какой точки схемы развивалось их значение.

Различие в значении, вытекающее из энциклопедического знания или вызываемое специфическим контекстом, напротив, нерелевантно для схемы падежного значения (в отличие от известных классификаций, выделяющих, в частности, для творительного падежа значения инструмента и средства). Несмотря на это различие, все примеры объявляются представителями одного варианта значения. Также подчеркивается, что "экстралингвистические сведения важны в некоторых случаях" для той или иной трактовки неоднозначных примеров (с. 151). С другой стороны, Л. Янда также признает, что и лексическое значение существительного не всегда мотивирует выделение частного падежного значения. Так, в схеме отражаются как одно значение "творительный падеж места (или: времени)" три категории: 1) единичное пространство/время, противопоставленное множественному, которое различает 2) дискретное и 3) протяженное. Таким образом, в зависимости от лексического значения находится понимание формы творительного падежа множественного числа существительных, обозначающих время, как дискретной (*вечерами, ночами* – часть суток) или же недискретной (*веками*). Однако, непонятно, как соотносится с авторской схемой исключительно наречное употребление инструментальной формы существительного *день* ('скоро': *он придет днями*).

Столь же неоднозначно решается вопрос о влиянии на семантическое различие синтаксической структуры. С одной стороны, синтаксис существенно меняет роль имени в дативе, хотя, с другой стороны, "не влечет за собой сколь-нибудь существенного изменения в инструментальной роли" (с. 143). Если рассмотреть связи между полученными членами категории в соответствии с приведенной выше теоретической классификацией, можно обнаружить, что большинство значений связано с признаком синтагматической вариации, т.е., иными словами, основным критерием выделения падежных вариантов является формальный принцип семантической структуры предложения (*clouse*) (число участников ситуации), который, в свою очередь, соответствует синтаксической структуре.

В ряде случаев роль синтаксиса представляется настолько значительной, что трудно понять, что же является предметом семантического описания: падежное употребление или синтаксическая структура, включающая в себя падежное маркирование. На практике это ведет к тому, что

синтаксис не только разделяет падежные значения, но и отождествляет синтаксически схожие типы. Например, как один и тот же тип значения трактуются все случаи "управляемого датива" (представляется сомнительным, чтобы объединение падежных употреблений при глаголах *грубить* и *опостылять* (с. 120) отвечало бы постулату об отождествлении концептов на основе общности восприятия ситуации). По тому же формальному признаку в один класс включаются все структуры, в которых падеж управляется предлогом, не говоря уже о выделении разницы в значениях предложно-падежных сочетаний. Иногда подобное объединение недостаточно аргументировано. Сравнивая предложения *Дети шли по тропинке* и *Воспитательница дала детям по яблоку* (с. 126), Л. Янда утверждает, что в последнем случае значение предлога *по* ("àrises, sach") является вариантом значения, представленного в первом предложении, "обусловленным контекстом". Предлагая интерпретацию того, каким образом распределяются значения предлога ("дистрибуцию при необходимости определяет несогласованность между единичным [косвенным] объектом и множеством реципиентов"), автор все же не объясняет, каким образом данные употребления сводятся друг к другу.

Оценивая в общем полученные автором результаты, следует сказать, что работа впечатляет тонким и в большинстве своем убедительным семантическим анализом примеров, представленным в комментарии. Традиционная для данного направления семантики когнитивная схема значения, в которую обобщаются результаты, бесспорно, придает исследованию стройность и логичность, составляя как бы его каркас. В то же время нельзя не заметить, что она гораздо менее информативна, чем вся та картина значения, которая обрисовывается в ходе поиска оптимальной композиции вариантов. Если считать когнитивную схему конечным продуктом описания, то ее символичность вызывает вопрос об эмпирической адекватности данного представления проделанному анализу. То же самое можно сказать и в отношении схематического характера связей между вариантами значения. Какова бы ни была трактовка этих отношений в комментарии, в схеме все связи равноценны, например, употребление творительного падежа с предлогом *с* находится в таком же отношении к прототипу, как и употребление с пространственными предлогами (*за, под, между* и др.).

Недостаточную адекватность схематического представления демонстрирует, на наш взгляд, также сравнительное описание падежного значения в двух разных, хотя и родственных, языках. Автор представляет значение падежа в одном языке как трансформацию семантической сети другого языка. При этом обнаруживается, что полученные схемы недостаточны для представления всех различий. В частности, автор вынужден вносить в схемы поправки, касающиеся взаимодействия отдельных подзначений с лексической информацией (например, чтобы показать, что глаголы типа "брать" в русском языке, в отличие от чешского, не имеют косвенного дополнения в дативе), а также дополнительно подчеркивать важность того или иного участка для всей схемы падежного значения.

Последнее замечание касается опечаток и языковых ошибок. Так, например, на стр. 127 в списке предлогов, управляющих в русском языке дательным падежом, вместо предлогов *согласно* и *сообразно* приведены составные предлоги *согласно с* и *сообразно с*, управляющие творительным падежом. Тем не менее, надо признать, что количество неточностей, вполне естественных в издании такого рода, в данном случае неожиданно мало, и приятно удивляет тщательная выверенность примеров (насколько об этом можно судить по русской их части). Особо хочется отметить тонкое чувство языка, который не является для автора родным.

В предисловии к своей книге Л. Янда акцентирует внимание читателя на том, что лингвисты часто используют основополагающие лингвистические термины, не имея их операционального определения. В самом

деле, рецензируемое издание показывает, как можно строить грамматическое описание, опирающееся на известные теоретические принципы, но не дающее при этом ни одного привычного определения терминов, которые оно использует. Не навязывая собственных дефиниций, автор апеллирует к имеющимся в голове у читателя-лингвиста представлениям о том, что такое участник ситуации, 'конструкция', сфера контроля, какая именно ситуация, описываемая глаголом "дать", является канонической и др. Задача автора – непротиворечиво связать эти концепты друг с другом, искусно вплетая их в сеть, которая и объявляется искомым значением. И здесь нельзя не признать, что Л. Янда достойно решила эту задачу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ченки А. 1996 – Современные когнитивные подходы к семантике сходства и различия в теориях и целях // ВЯ. 1996. № 2.
- Janda L. 1986 – A semantic analysis of the Russian verbal prefixes *za-*, *pere-*, *do-* and *ot-*. Munchen, 1986.
- Lakoff G. 1986 – Cognitive semantics. Berkeley. Cognitive Science Report № 36. 1986.
- Langacker R W. 1986 - Foundations of cognitive grammar. V. 1. Theoretical prerequisites. Stanford. 1986.
- Skalička V. 1950 – Poznámky k teorií padu // Slovo a slovesnost. 1950. № 12.
- Wierzbicka A. 1980 – The case for surface case (Linguistica Extranea Studia 9). Ann Arbor, 1980.
- Wierzbicka A. 1986 – The meaning of a case. A study of the Polish dative. In: Case in Slavic / Ed. by Brecht R D and Levine J D. Columbus. Slavica, 1986.

О. Н. Ляшевская

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 9 по 12 апреля 1997 года в Стамбуле в Шведском Исследовательском Институте проходил коллоквиум "Типы эвиденциальности в тюркских и иранских языках и в языках сопредельных стран". Его организаторами были Л. Юхансон (Германия) и Бу Утас (Швеция). В настоящее время исследования категории эвиденциальности привлекают внимание многих лингвистов, свидетельством чему являются посвященные этой тематике монографии [Chafe, Nichols 1986, Guentchéva 1996]. В Институте лингвистических исследований РАН при поддержке РГНФ ведется работа над проектом "Категория засвидетельствованности в языках различных типов" (руководитель – Н.А. Козинцева).

К задачам, которые пытались решить участники коллоквиума в Стамбуле, относятся следующие: экспликация понятия эвиденциальности в рамках более широкой категории эпистемической модальности, установление номенклатуры эвиденциальных значений, иерархий и универсалий, типологизация языков в этой области. Другим центральным аспектом коллоквиума было ареальное изучение языков, что обусловило интерес к лингвогеографической проблематике. В коллоквиуме приняли участие 23 специалиста.

Обсуждение было открыто докладом Б. Коумри (США) "Эвиденциальность и ареальная типология", вводящим в научный оборот новый материал языков хуруай (папуасская группа), цезский (нахско-дагестанские языки) и тарма кечуа. Были выделены три системы эвиденциальности в зависимости от маркировки эвиденциальности. Докладчик обратил внимание на историческую связь косвенно-эвиденциальной формы с нефинитной (деепричастной) формой в цезском языке, а также в ряде других языков.

Г. Грен-Эклунд (Швеция) рассмотрела вопрос о частицах, некоторые из

которых передают значения, которые можно трактовать как эвиденциальные, в трех древних языках (древнегреческий, ведический санскрит, классический бирманский).

Л. Юхансон, известный своими работами по тюркской и общей аспектологии, представил классификацию эвиденциальных значений в рамках своей теории аспектуальности. Были выделены следующие типы аспектуальных операторов, интерпретирующих событие с различных перспектив: интра терминальный, адтерминальный, посттерминальный. Оператор последнего типа (перфект), как известно, развивает в тюркских языках эвиденциальные (индирективные) значения: пересказывательное, инференциальное, перцептивное (адмиративное). Отмечалось, что отдельные тюркские языки различаются степенью формальной дифференциации эвиденциальных значений, так, например, в туркменском они более дифференцированы, чем в турецком.

Бу Утас в докладе "Следы эвиденциальности в классическом новоперсидском", охарактеризовав систему видо-временных форм, пришел к выводу, что в персидском языке X–XII вв. нельзя говорить о грамматикализации категории эвиденциальности в формах перфекта. В частности, в текстах отмечены случаи, когда в придаточном, выражающем косвенную речь, употреблялась форма аориста, а не перфекта. Развитие эвиденциальности связано с эволюцией вторичного (сложного) перфекта.

Ж. Лазар (Франция) предложил следующую типологию языков в отношении эвиденциальных систем: 1) языки, не имеющие грамматикализованной категории эвиденциальности, 2) языки, в которых неза-свидетельствованная (медиативная) форма противопоставлена нейтральной, 3) языки, в которых осуществляется обязательный выбор одной из форм, охарактеризованных по источнику информации. Рассмотрен материал трех иранских языков персидского,

белуджского (диалект рахшани) и таджикского, где формы простого перфекта выражают медиативное значение. Примечательно, что в иранских языках в формах длительных времен наблюдается нейтрализация противопоставления настоящего и прошедшего времени в медиативных формах (что также характерно для перфекта в болгарском, турецком и др.).

Д. П е р р и (США) рассмотрел эвиденциальность в ряду других эпистемических значений и выделил ряд субкатегорий в зависимости от степени уверенности говорящего в достоверности сообщения: квотатив, инференция, предположение, сомнение, адмиративность. На обширном материале иранских языков и диалектов были выделены две серии эпистемических форм глагола: 1) гипотетическое прошедшее и настоящее (формы перфектного ряда) и 2) гипотетическое настоящее и будущее (формы субъюнктивного ряда). Формы первого ряда передают весь спектр эпистемических значений, формы второго ряда – инференциальность, предположение или сомнение.

Б у И с а к с о н (Швеция), проанализировав выражение эвиденциальности в семитских языках, пришел к выводу, что категория эвиденциальности не была грамматикализована в классическом арабском и древнееврейском, а соответствующие значения выражались при помощи модальных частиц.

К. Д ж а х а н и (Швеция) рассмотрела способы выражения эвиденциального значения в современном разговорном персидском. Материалы были получены экспериментальным путем, на основе опроса информантов по разработанным фреймам. Выбор формы (простого прошедшего и медиативного перфекта) зависит от наличия зримых результатов незасвидетельствованного действия. Если результаты налицо, то возможен только перфект, если же нет ("съеден"), то возможны обе формы.

К. Б у л у т (Германия) посвятила свой доклад сопоставительному изучению эвиденциальности в курманджи и турецком. В курманджи в отличие от персидского развивается формальное обособление эвиденциальных форм от перфекта, в частности за счет использования копулятивной частицы.

В. Ф р и д м а н (США) проанализировал противопоставление конфирмативности / неконфирмативности на Балканах в лингвогеографическом аспекте на материале многих языков (балкано-славянских и балкано-романских языков, албанского, турецких и цыганских диалектов) и исполь-

зовал разные исследовательские методики (экспериментальные данные, анализ параллельных текстов, статистические подсчеты). Многообещающей представляется общая лингвогеографическая ориентация данной работы, нацеливающая на установление семантических и структурных изоглосс в данном ареале.

А. А к с у - К о ч (Турция), известная своими работами в области психолингвистики и детской речи, посвятила свой доклад проблеме усвоения турецкими детьми (возраст 1.3–2.6 года) временных форм с эвиденциальным значением. Форма на *-мыш* первоначально употребляется со стативным значением, образуясь от предикатов состояния и местоположения. Инференциальное значение усваивается позже, еще позже появляются употребления формы на *-мыш* в пересказывательной функции. Таким образом, налицо замечательный параллелизм между данными исследования детской речи и универсалиями диахронического развития.

Е. Ч а т о (Германия) рассмотрела семантику эвиденциальных форм на материале турецкого языка, проведя фронтальный анализ всех форм с аффиксальным и энклитическим *-мыш* в различных режимах употребления (диалогическом и нарративном), в различных синтаксических позициях и в различных комбинациях с другими энклитиками.

В докладе К. Ш р е д е р а (Германия) особый интерес представила демонстрация неоднородности группы турецких причастий, среди которых выделяется группа временных (типа на *-мыш*) и "эксплицитных" (типа субъектного причастия на *-ан*). Проведен анализ морфосинтаксических различий между ними: диатезные характеристики, употребление в аппозитивных и свободных причастных оборотах и т.д.

Б. Б р е н д е м о е н (Норвегия) представил анализ формы на *-мыш* в турецких диалектах Восточного Причерноморья. Отмечено, что инференциальное употребление для этой формы нехарактерно. Обсуждается вопрос о том, в какой мере подобные особенности могут быть следствием контактного влияния греческого или архаизмом.

Тема изучения эвиденциальности в тюркских языках и диалектах была продолжена в докладах, посвященных гагузскому языку А. М е н ц (Германия), халаджскому диалекту Ф. К и р а л ь (Германия), анатолийским говорам Н. Д е м и р а (Германия).

А. Двайер (Германия) представила результаты экспедиционного исследования саларского и некоторых ареально близких северокавказских и уйгурских диалектов. В саларском языке под влиянием китайского и тибетского языков утрачено глагольное согласование, однако сохранено противопоставление прошедшего определенного и неопределенного, а вместе с ним и противопоставление в выражении эвиденциальности. Выявлены интересные особенности употребления форм эвиденциальности в речи мужчин и женщин.

В. Боедер (Германия) в докладе "Эвиденциальность в грузинском языке" рассмотрел гипотетическое употребление будущего времени, квотативные клитики, более подробно остановившись на функциях перфекта. В частности, разграничиваются две группы употреблений перфектных форм: 1) совместимые с эвиденциальной частицей *turme* "видимо" и 2) не сочетающиеся с нею.

В докладе А.Л. Мальчукова (Санкт-Петербург) рассматривалась эволюция тунгусских перфектов и внутренние и внешние факторы, обуславливающие появление эвиденциальных значений у перфектных форм. К внутренним факторам относится наличие претерита в момент развития результатива в перфект, а к внешним – влияние якутского языка на северные тунгусские говоры. Показано, что эволюция глагольного прошедшего в форму (прямой) засвидетельствованности и далее в конфирмативную форму, как это наблюдается в отдельных южнотунгусских языках, является частью процесса вытеснения глагольных форм причастными.

Н.А. Козинцева (Санкт-Петербург) представила материал древнеармянского и современного восточноармянского языков,

на основе которого можно было проследить предпосылки развития эвиденциального значения перфекта и сверхсложных перфектных форм в современном языке. Была показана связь эвиденциального значения со значением отдаленного прошлого.

А. Саксена (Швеция) проанализировала эвиденциальность в киннаури (один из тибето-бирманских языков). В этом языке эвиденциальные значения передаются связками, семантика которых сложным образом взаимодействует с категорией лица, дейксисом, респективностью и одушевленностью.

В докладе М. Лейнонена (Финляндия) "Второе прошедшее в коми-зырянском языке" были рассмотрены значения перфекта (абсентива), которые сходны с набором функций, известных в других языках. Варианты эвиденциального значения разграничиваются путем употребления частиц с квотативным, инференциальным и адмиративным значениями. Последнее значение выражается также рефлексивными формами, обозначающими спонтанное действие.

Коллоквиум завершился круглым столом, во время которого были обсуждены методические и отчасти терминологические вопросы. В целом обсуждение докладов, представленных на коллоквиуме, прошло с высокой степенью заинтересованности и с несомненной пользой для его участников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Chafe W., Nichols J.* 1986 – Evidentiality: the linguistic coding of epistemology. Norwood–New Jersey, 1986.
Guentchéva Zl. (ed.). 1996 – L'Énonciation médiatisée. Louvain; Paris, 1996.

Н.А. Козинцева, А.Л. Мальчуков
(С.–Петербург)

CONTENTS

N.V. P e r c o v (Moscow) On the problem of invariant grammatical meaning (J Verbal tense in Russian), V V. G u r e v i ě (Moscow). The 'subjective' component in language semantics, A V Z i m m e r l i n g (Moscow). Old Icelandic predicatives and the hypothesis of the category of state; S.G T a t e v o s o v, T.A M a i s a k (Moscow) Coding the epistemic status by means of morphosyntax (founded on the materials of the Tsaxur language), K. L e r n e r, V K u p e r m a n (Jerusalem) The category of 'comparison and evaluation' from the point of view of the hypothesis of "types of language movement", Yu.V M o n i ě (Moscow). Problems of etymology and the semantics of ritualized actions; T.A. M i x a i l o v a, N.A. N i k o l a e v a (Moscow) The denomination of death in the Goidel languages on the reconstructions of Celtic eschatology, *Reviews*. M.K S a b a n e e v a (St.-Petersburg). Histoire Épistémologie. Langage; M A D a n i e l (Moscow) Double case: Agreement by Suffixaufnahme O N L j a š e v s k a j a (Moscow) L A J a n d a A geography of case semantics The Czech dative and the Russian instrumental; *Scientific life*.

Технический редактор *О Н Никитина*

Сдано в набор 29 10 97 Подписано к печати 05 12 97 Формат бумаги 70 × 100 ¹/₁₆
Офсетная печать Усл печ л 13,0 Усл кр -отг 21,4 Уч -изд л 15,5 Бум л 5,0
Тираж 1615 экз Зак 2786

Адрес редакции 121019 Москва, Г-19, ул Остоженка 18/2 Институт русского языка,
телефон 201-74-42

ППП типография "Наука" Академиздатцентра РАН, 121099 Москва, Г-99, Шубинский пер, 6